

«ДН» — 2015

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Существо. Роман**Заир АСИМ.** Книга дней. Повесть**Резо ГАБРИАДЗЕ.** Доктор и больной. Повесть**Хамид ИСМАЙЛОВ.** Пляска бесов, или Большая игра. Роман**Елена КЛЕПИКОВА.** Из жизни Марты. Повесть в рассказах**Афанасий МАМЕДОВ.** Перегрузка в Тунисе. Короткий роман**Марина МОСКВИНА.** КРИО. Роман. Книга вторая**Гурам ОДИШАРИЯ.** Очкастая бомба. Повесть. С грузинского**Захар ПРИЛЕПИН.** Новое произведение**Елена РЖЕВСКАЯ.** Бремя выбора. Воспоминания**Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ.** Новая повесть**Александр СНЕГИРЁВ.** Вера. Роман**Дмитрий СТАХОВ.** Свет ночи. Роман**Андрей СТОЛЯРОВ.** Дайте миру шанс. Повесть по мотивам реальности**Алексей УСТИМЕНКО.** Хмарь стеклянной Бухары. Повесть**Сергей УТКИН.** История болезни. Повесть в рассказах**Левон ХЕЧОЯН.** Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского**Леонид ЮЗЕФОВИЧ.** Филэллин. Повесть

Рассказы: Евгения АЛЁХИНА, Андрея ВОЛОСА, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Юрия ОСИПОВА, Мариам ПЕТРОСЯН, Владимира ТОРЧИЛИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов.

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля и наши собственные открытия

Новые сочинения: Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ (с азербайджанского), Анатолия КОРОЛЁВА, Ицхока МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Дины РУБИНОЙ, Левона ХЕЧОЯНА (с армянского), Владимира ХОЛОВОДА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА

Новые стихи и переводы: Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Георгия КУБАТЬЯНА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Айгерим ТАЖИ, Александра ТИМОФЕЕВСКОГО, Олега ХЛЕБНИКОВА и других авторов.



ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 12/2014



12'2014

- **Геннадий Русаков**
Уже уход листвы
совсем не за горами...
Стихи
- **Фарид Нагим**
Мужчины Рождества
Повесть в рассказах
- **Андрей Белозёров**
Мой Аурел
Маленькая ополченская повесть
- **Мамед Исмаил**
В смене настроений
Стихи
- **Вячеслав Никонов**
Российская матрица
Обсуждение книги

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhiba/
LiVEJOURNAL: http://druzhiba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.10.2014.
Подписано в печать 25.11.2014.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7432. Цена свободная.

Дружба народов 12'2014

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Проза и поэзия

Геннадий РУСАКОВ. Уже уход листвы совсем не за горами... Стихи.	
Из «Книги дождей»	3
Фарид НАГИМ. Мужчины Рождества. Повесть в рассказах	9
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Чем ближе друг к другу. Стихи	51
Сергей КОСТЫРКО. Дом. Повесть	55
Мамед ИСМАИЛ. В смене настроений. Стихи. С азербайджанского.	
Перевод и вступительное слово М. Синельникова	106
Андрей БЕЛОЗЁРОВ. Мой Аурел. Маленькая ополченская повесть	110
«Этот остров полон звуков...». Голоса современной британской поэзии.	
Переводы А. Сорокиной, М. Фаликман, В. Сергеевой, С. Лихачевой,	
А. Круглова, Г. Курячего. Вступительная статья Саши Дагдейл	130
Гелий КОВАЛЕВИЧ. Рассказы. Вступительное слово Александра Эбаноидзе	150

Золотые страницы «ДН»

Семён ЛИПКИН. Стихи и переводы	171
Аскад МУХТАР. Стихи. С узбекского. Перевод Семёна Липкина	176
Адам ШОГЕНЦУКОВ. Стихи. С кабардинского. Перевод Семёна Липкина	176
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА. Небо над Ла-Маншем. (Гайто Газданов. «Полёт»)	177

Про (& contra) кино

Второе небо Алексея Германа. О фильме «Трудно быть богом»	
Виктор БОРИСОВ. Трудно быть богом на Майдане... ..	182
Алла БОССАРТ. Кино в России больше, чем кино?	185

Публицистика

Особенности русской судьбы. Обсуждение книги Вячеслава НИКОНОВА	
«Российская матрица»	187

Подробное чтение

Даниил ЧКОНИЯ. Возвращение к себе. (А. Волос. «Возвращение в Панджруд»)	224
---	------------

Книжный развал

Ирина ВАСИЛЬКОВА. «Это дело уже кружевное — характер пера...»	231
Ольга БАЛЛА. Соработник творения	234
Николай АНАСТАСЬЕВ. О пользе цитирования	238

Культурная хроника

«Моя большая страна». III Межрегиональный телевизионный фестиваль	243
---	------------

Эхо

Баланс беспредела. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	247
Содержание журнала «Дружба народов» за 2014 год	249
Summary	256

Геннадий Русаков

Уже уход листвы совсем не за горами...

Из «Книги дождей»

Виктору Саприцкому

1

Ах, белобрысым утром, с первым светом,
на холоду, под млечный звук ведра,
стоять счастливым и полуодетым...
И двадцать лет на кончике пера!
А лупоглазый воздух неподвижен.
И жизни не разучены слова.
(Я как-то крупно это время вижу,
хотя детали помнятся едва.)
И нежность боли обметала губы.
Под низким ветром ворохнулся сад.
И медные восторженные трубы
по небесам и яблоням висят.
Сейчас начнётся. Я опять услышу,
как разнесётся их лебяжий звук
и горний хор обрушится на крышу,
и я опять приму из первых рук
весь этот день немыслимого роста,
и все смещения окрестных сфер —
как и положено по нормам ГОСТа,
который действовал в СССР.

2

Уже уход листвы совсем не за горами.
И отощал комар, и задубел анис.
И стало широко светлеть в оконной раме —
уже не разберёшь, где нынче верх и низ.
Уже пора, мой друг, готовиться к меленью
скудеющих проток и к замедлению рек.
Похолодали дни — сезонное явление.
Стихает по дворам петуший кукарек.
И хочется стихов протяжного распева,
где про «уход листвы, удачам вышел срок»,
хоть это всё не так, а справа и налево
протянуто рядно дичающих дорог,
скукожены рябин беспомощные гроздья.
И снова посреди хозяйственных забот
у Шаховых дрожмя-дрожит борода козья —
мочалка на столбе уже который год.

3

Что-то начато... Может, судьба
детский рот округлила для зова?
Или снова плывут ястреба
от Перми до сухого Азова?
Эй, страна, осевое перо!
Честный хлеб и бессмертная влага!
Я поставил года за ребро,
но держусь от тебя на полшага:
чем нахлебником быть у родни,
лучше мыть у соседей посуду.
Ты меня без вины не вини.
Я тебя не винил и не буду.
Трудно, мати, с большими детьми.
Но, забыв про семейные счёты,
хоть однажды меня обними —
просто так, без причин, от заботы...

4

Давайте не равняться на служивых —
на ангелов, на клерков, мусоров...
У нас другое время ходит в жилах,
своим дыханьем губит комаров.
Давайте к жизни относиться просто.
Глядеть на вещи пусть не глубоко,
но чтоб остались перспективы роста
и продолжалось жизни рококо

со всем её немислимым раздраем,
бесстыдством дел и кутерьмою лет.
Но мы своей судьбы не выбираем,
сказал однажды питерский поэт.
Верней, страны... По мне, одно и то же,
хотя об этом спор наперебой.
Лишь та страна, что всех тебе дороже,
за это называется судьбой.

5

В Париж, в Париж!
...С чего такая спешка?
Ну, вот подпёрло — больше не могу!
Пусть не отель — последняя ночлежка...
Я всё равно ко вторнику сбегу.
Есть что-то в этом городе белёсом,
в его небрежной галльской суете...
Нас там не тянет к мировым вопросам.
Да и они становятся не те.
И жизнь моя мне почему-то ближе,
и вроде бы понятнее всего
в благословенном воздухе Парижа
и на греховных улицах его:
вот в этом дне, таком спокойно-сером,
на том бульваре, где кафешантан.
Где так привычно пахнет адюльтером
и дозревает жареный каштан.

6

Дымился луг под яростной грозой.
Варёным паром ельник исходил.
Творенье возвращалось к мезозою
и я его за это не судил.
В нём открывались странные просторы,
забытые на карте города,
с большим селеньем под названьем Горы,
придуманным неведомо когда.
Меня в ту пору не было в наличьи.
Я где-то был, но через тыщи дней:
через леса, через станицы птичьи...
И постепенно делался видней:
наметились отдельные детали —
вот я один, а вот уже вдвоём.
И лица постепенно обретали
положенный живущему объём.

Велась уборка к моему приходу.
Звучали отдалённые басы.
И я пришёл к тридцать восьмому году
в деревню чернозёмной полосы.

7

Я мальчик с книжкой на затёртом снимке.
...Детдом затих, ему пора — отбой.
И сны летают в инфантильной дымке,
пока что тихо заняты собой.
Оставим их ребяческим занятиям.
Я сам засну и без казённых снов:
ко мне, гордясь своим цивильным платьем,
приходит ангел Колька Иванов.
Он плохо спрыгнул на рязанском спуске.
(Мы с ним всё лето были кореша.)
Я видел, как, избавясь от нагрузки,
всплывала в небеса его душа.
Мы курим шмаль и просто шутим шутки,
и вспоминаем, как его несли...
И наши неумелые закрутки
опять смердят на целых пол-земли.
Он свой окурок подбирает с пола:
— Ты, шкет, того... держись, не помирай.
У нас там вся детдомовская школа...
Но если что — рассчитывай на рай.

8

Разлука моя до надломленных плеч!
И поле моё, вполсудьбы, ледяное.
И эта, так поздно пришедшая речь
про то, а потом, погода, про иное:
к примеру, про нас — про меня и тебя.
Про наши с тобою высокие годы.
Чего же ты смотришь, платок теребя,
у самого края нелётной погоды?
Любимая, кто тебе глянет в лицо
с моим невесёлым прищуром,
платок вологодский проденет в кольцо,
попробует стать балагуром,
за плечи возьмёт и притянет к себе,
вбирая тебя по шерстине,
по родинке, по пустякам, по судьбе...
По этой испуганной сини.

9

Тихий дождик пришлёпал низами
в пелеринке из серого дня.
Подошёл, ворохнулся и замер,
потому как увидел меня.
Ничего, не тушуйся, сопливый.
Я не страшный, я сам по себе —
как вот эта промокшая слива
с чем-то белым на нижней губе.
Просто нынче у нас воскресенье,
мелкий торг на Озёрском толчке.
Помидоры да лука висенье,
да соленья в армейском бачке.
Просто баня полощется в шайке,
пахнет веником, счастьем, судьбой.
Да вот эти дожди-попрошайки
от Коломны приходят гурьбой.

10

...И всё же есть у нас такое право —
достойно кушать белое вино.
Как любит нас высокая держава,
раз это нам ещё разрешено!
Раз мы хотим — пожалуйста к разливу!
Нам хорошо — и всем вокруг светло.
У нас и детство выдалось счастливым,
лишь после в балаган переросло.
Зудит и длится время средней стати.
Как не запить от боли бытия
в компании запутавшихся братьев,
которым нет спокойного житья?
Как развязаться с непонятным веком,
с похабщиной, с мелением души,
с его осточертелым саундтреком,
записанным на сушие гроши?

11

Век закончен. И мелким дыханьем ребёнка
дышит день, задремав у меня на плече.
Тихо крутится жизни моей киноплёнка —
ничего в ней, чтоб вспомнить товарища Че.
Там ни подвигов нет, ни хотя б героизма.
Даже лирики, в сущности, скудный запас.
Да и день на плече хоть лежит, но не признан
и прописан в Голутвине, а не у нас.

Мне, признаться, в герои вовек не хотелось,
потому как публичность и прочая блажь.
И к тому же в герое важна крупнотелость...
Ну, а я не тяну на такой антураж.
Не тяну — и не надо. Простите меня, репортёры.
Папарацци, проныры, акулы пера!
Я в деревне с дурацким названием Горы
отгеройствовал в пятницу, позавчера.

12

Как ангел на ветру, душа моя трепещет:
просчитано число, пришла её пора.
Так доживают срок подержанные вещи
и души-летуны непрочного пера.
Нет крова на земле идущему без цели.
Нет памяти для тех, кого никто не ждёт.
Мелкопосевный дождь стоит среди недели
и штопальную нить без усталости прядёт.
Я позову его — нежней не будет зова.
Но мне ещё нельзя — ведь я покуда тут.
Как всё-таки проста моя первооснова!
Её уже вот-вот генетики прочтут.
Один из них себе на грудь положит руку,
услышит крови ток и мускулов игру...
И, забыв свою серьёзную науку,
прошепчет невзначай: «Как ангел на ветру»...

Фарид Нагим

Мужчины Рождества

Повесть в рассказах

«Говорят, лягушка, упав в кувшин со сметаной, сбила лапками масло — тем и спаслась. Я пытался сбить масло из сметаны "Домик в деревне" — бесполезно — что можно сбить из порошковой жидкости?»

(Рассказ гастарбайтера)

Вадим

Вадим украл краник от самовара и снова попал сюда. Он недоумевал и всю ночь бредил, как ему объясниться за это. «Повезло еще, что не сто тридцать первая!» — пожалел его кто-то, будто статьи выдавали, как белье в бане. Но краник, немой, нелепым укором жег ладонь — рецидив! В отчаянии Вадим вздрогнул и счастливо расслабил закаменевшие мышцы, проснулся. До освобождения оставалось несколько часов.

В жизни бывают моменты, когда даже волевой и психически устойчивый человек не может контролировать себя. Сердце kloкотало, руки вздрагивали от переизбытка адреналина. Ему казалось, что все происходит во сне и не с ним. Своей рассеянностью, торможением он напоминал себе беременную жену. Его уже не было в этой реальности. В тюрьме такое состояние называют «шалаш надел». Он хотел и даже старался запомнить все-все, приглядывался к своим «семейникам» — надоевшие их рожи казались теперь по-своему красивыми, родными. Совершая обычные рутинные дела, общаясь с мужиками, он замирал, наблюдая как бы со стороны: «Что делают эти странные люди, для чего-то собранные вместе? а это кто? неужели, это я? да, это ты среди них». Весь процесс освобождения он уже до мельчайших деталей пережил в мечтах: поставят ведро

Фарид Нагим — прозаик, драматург. Родился в селе Буранном Оренбургской области. Его пьесы шли в Германии, Швейцарии, Польше. Печатался в журналах «Дружба народов», «Литературная учеба», «Октябрь». Финалист премии И.П.Белкина (2009), лауреат премии журнала «Дружба народов» (2010), премии «Москва—Пенне» (2012). Автор романов «Земные одежды» (2010), «Tanger» (2011). Живет и работает в Москве.

цифира, будут прощания, напутственные слова, кто-нибудь попросит выпить «там» за подзамочных, кто-то обязательно скажет про зубную щетку и другие приметы... вот приходят младшие инспекторы, «пехотинцы», называют его фамилию и выводят из локалки, ведут по жилке, все смотрят с завистью, представляют свое освобождение и боятся неизвестности... Как же долго Вадим ждал этого! Но самым поразительным и мучительным было то, что все как-то буднично, как будто и не было потерянных лет, тягот и лишений арестантской жизни.

Он «сидел на изжоге», переживал и боялся за свободу, стал мнительным, до фантазий, что начнутся какие-нибудь мутки со стороны администрации лагеря; или что произошла обычная процедурная ошибка, в результате которой его фамилию перепутали. Он не мог спать и ждал, когда у него, как и у многих перед освобождением, заведутся вши, которые возникали на нервной почве, даже у самых чистоплотных, словно из воздуха, как мошка из разрезанного яблока. Нет, не появились. А время тянулось, и стрелки прилипли к циферблату.

Задремал и тут же проснулся. Уже пять утра. Начал сборы. Помылся, побрился, почистил зубы и с особой силой осознал, что делает это здесь в последний раз.

Потом заварили «коня». Присели в проходняке. Серые, какие-то войлочные лица «коллег» были напряженны, будто они тоже освобождаются. Смеются, говорят что-то, но Вадим их не слышал — снова отъехал туда, где Алла, Савка и Фома. Савку он помнит. Алла тоже приезжала на свиданки. А вот «второго», Фомку, который родился без него, он еще ни разу не видел. Три годика уже пацану! Как же он обнимет это маленькое, родное тельце и будет нюхать за ушком, будет отодвигать пальцем маленький обшлаг рукава и сжимать ладошку.

— Ну, что, давайте, братцы, крепитесь тут без меня, — сказал он семейникам.

Уважительно выслушивал наставления, пожелания и благодарственные слова, а сам томился и ждал, когда они уже все свалят на просчет.

Наконец-то остался один. Придирчиво осмотрел вещи и самого себя.

«Ну, вот и все, Вадим. Да — все!»

Все так и было — пришли «пехотинцы», назвали фамилию, барак. И он подумал, что это неправда, это не с ним, что документы и фамилию перепутали. В дежурке стояли сотрудники спецчасти, и ему показалось, что они смотрят с завистью — они-то знают, какие чувства он сейчас переживает и представляется им, наверное, что на воле его ожидает более комфортная, богатая и свободная жизнь, чем у них, рядовых тюремщиков, которые остаются здесь. Дежурный сверял фото, спрашивал статью, задавал вопросы личного характера, проверяя, тот ли освобождается, кто указан в бумаге. Вадим поворачивался в профиль и анфас, отвечал, путался, не мог вспомнить девичью фамилию матери, слышал свой голос со стороны. Выдали справку об освобождении, удивительно длинную, сантиметров двадцать. В здании администрации женщина бухгалтер отсчитала деньги. Удивительно, но бумажки эти не изменились с тех пор. Этажом ниже ему повстречался лагерный психолог. На радостях Вадим приготовился сказать ей: «До свидания»... Но она приставила палец к губам и сказала: «Прощай».

Во дворе он достал свою зубную щетку, торжественно сломал ее и выбросил в мусорку. Вадим вышел, увидел свободный мир и почувствовал себя астронав-

том в открытом космосе. Там тоже валил снег. Крупные, густые хлопья. Снег свободы. Казалось, природа торжествует. Сам воздух, точно такой же, как и в тюрьме, здесь был другим. И только теперь он вздохнул полной грудью. Только теперь понял, что все это время не мог дышать свободно, словно легкие что-то стискивало.

Он не надеялся, что его будут встречать. Выкурил первую «вольную» сигарету, осторожно перешел дорогу и поднял руку, не веря, что делает это, и что кто-то остановится. Почти сразу остановилась советская машинка. Молодой паренек, услышав адрес, охотно кивнул головой. Еще за сто рублей Вадим попросил телефон позвонить. Тот отказался от денег и сам набрал названный номер.

— Это не дорого, у нас один оператор, — и радостно протянул телефон. — Взяли, говорите!

У Вадима задрожали руки.

— Привет, родная, — в горле что-то щелкнуло, дыхание перехватило. — Я освободился.

— Здравствуй, Вадим. Поздравляю.

Его имя в ее устах прозвучало официально, и голос был испуганный и деланно равнодушный. Когда женщина, начиная телефонный разговор, называет тебя по имени — это плохой знак. Она хотела сказать еще что-то, но замолчала.

— Я еду... к вам.

— Не знаю... ну, приезжай.

— Что-то случилось, Алла?

— Я не хотела тебе говорить... Второй — не твой.

Вадим продолжал говорить с нею так, словно бы ничего не произошло, мол, подумаешь, ну и что такого, ничего страшного. А когда она положила трубку, он все еще продолжал держать телефон возле уха.

— — сказал водитель.

— Что?

— Ну, в смысле, куда теперь?

— Туда же.

— Вы курите, если хотите.

Вот и началось то, что мучило и томило его. Чего-то подобного он и ждал. Может быть, это еще не самое страшное... А город не изменился совсем. И во дворе все, как обычно. Соседки сидят так же, как будто все было вчера. Лощеные, розовые, загорелые. Набрал на домофоне знакомый код. Тот же писк. Прервали домашней кнопкой... Двери в тамбур и квартиру приоткрыты. Неожиданно, неприятно поразили крохотные размеры квартиры, мешанская обстановка прихожей, эти засаленные обои, та же люстра-фонарь чуть выше его головы, запахи какие-то... Едва он вошел, из зала выскочил маленький мальчик.

— Папа! Папа! — поскальзываясь, чуть не падая, он бежал по коридору.

Вадим скинул рюкзак и присел.

— Папука мой пиехал! — мальчик бросился ему на шею.

Вадим замер, зажмурился. Это и был тот самый «второй». Он прижимался к нему всем тельцем и похлопывал ладошкой полопатке. Живой мини-человек — всю спину можно разом закрыть ладонью.

Это тюрьма, наверное, что-то сделала с ним — обиды не было. Вадим

примерно представлял, как все могло произойти. Алла не любила и не умела пить. Но иногда, очень редко, могла напиться. И тогда она отключалась так, словно бы умирала — с ней можно было делать что угодно — она ничего не чувствовала и не помнила. Впервые это случилось в Кацивели, на отдыхе. Наутро, после пьянки, она спросила: почему я голая? А в итоге родился Савва. Он назвал его так в честь Морозова. Теперь этот вот малыш. И Алла не делает аборт. Понятно, она же «зеленый патруль», «Гринпис».

На кухне, в напряженной позе, сидел большой уже мальчик. Он, не отрываясь, смотрел мультфильм.

«Савка!»

— Привет, Савва!

Мальчик дернулся и что-то прошептал под нос.

— Савва, сделай потише! — Алла выглянула.

Показалась. В халате, взъерошенная какая-то. Наверное, спала.

Через минуту вышла. Хорошо, что ребенок висел на шее, Вадим не знал, что с ней делать.

— Привет, — сказала она ему.

— Привет.

Как с работы пришел. Она была серьезная, ее лицо ничего не выражало. Вадим чувствовал смущение и скованность, как перед незнакомой женщиной, к которой равнодушен. Он понимал, что сближение произойдет не сразу, что все нужно начинать заново, может быть, как в юности, когда напиваешься, чтобы преодолеть робость.

— Ты есть хочешь?

— Нет, Алла. Кусок в горло не лезет.

Он заметил, что она избегает оставаться с ним в комнате один на один. В ванной конурке едва мог двигаться: вошел, прикрыл дверку и уронил детские полотенца с низких крючочков, повесил, повернулся в другую сторону, смахнул какие-то женские пластиковые бутылочки. Посмотрел на себя в зеркало и будто заново увидел — худое, землистого цвета лицо, вот почему все люди казались такими лошеными и загорелыми. Погладил короткий ежик, понес руку обратно и сбил со стеклянной полочки стакан с детскими зубными щетками. Нагнулся собирать и крепко стукнулся лбом о край раковины.

Он думал, что выйдет и найдет новый, совсем уже западный мир, а вернулся в Советский Союз. Та же площадка за окном, команда каких-то восточных людей скребет ее лопатами. Та же громоздкая «стенка» в большой комнате, тот же ковер на стене. У входа — шифоньер, у которого если открыть двери, в «залу» уже не пройдешь.

— А вы елку не поставили? — вежливо поинтересовался он.

— Да нет, — задумчиво пожала плечами Алла. — Так, гирлянды повесим на стену — и все. Елка сохнет, осыпается, для ребенка опасно.

Алла ходила с потерянным видом, совершая какие-то хаотические движения. Все в ней и в квартире говорило о том, что она давно привыкла жить без мужчины. И словно бы до конца не верила, что он вернется.

— Мы в «Ашан» собирались сходить с Савкой.

— Куда?

— А, это сеть французских гипермаркетов... — Он вспомнил, что когда Алла произносила какие-то непривычные для себя пафосные слова, у нее немели

и неестественно кривились губы. — Фомку к маме отведем. Ты пока располагайся, отдыхай.

— Да я с вами схожу. Тяжело, наверное?

— Уа, уа! — это Фомка так кричал «ура».

— Ну да, надо закупиться на Новый год. Много всего надо.

Вадим заметил, что его возвращение озадачило всех и внесло в их жизнь новую идею. И они потихоньку открывают это для себя, — с удивлением, надеждой и радостью, скорее всего.

— И скотч надо купить! — вспомнил он. — Валеркину коробку обмотать, — он должен за ней прийти.

— Коробка на антресолях, так и лежит с тех пор, никто не трогал.

Алла пронесла охапку своей одежды и закрылась в ванной. Вадим видел в зеркало как одевается Савва и помогает своему брату — натянуть сапожки, розовую куртку, а малыш торопится захватить пальчиками рукавчики кофты, чтобы они не задирались в рукавах куртки... Вспомнил, что сам так делал в садике, и сердце защемило, зануло.

«Почему он в девчончье куртке?»

Куртка была велика Фомке, а у Саввы наоборот — из рукавов нелепо торчали руки, и теплые штаны были тоже коротки, как у подстреленного.

Алла нарядилась в ванной. Глаза ее засверкали, и Вадим с ревностью оценил ее красоту, восхитился даже. Вышли все вместе, довольно большой компанией. Вадим придерживал Фомку. Смеркалось. Яркие огни квартир радостно окружали двор.

«Надо же, — удивлялся Вадим, — были только мы с Аллой и вот уже целый квартет». И еще он вдруг заметил, что на Алле старая куртка, японская, с перламутровым переливом, когда-то писк моды. Он помнил эту куртку из другой жизни. Так ходят начинающие наркоманки — красивые еще девчонки, но одежда старая, из дискотечного прошлого.

В подъезде тетиного дома их обогнала деловая, фигуристая, приятно пахнущая тетка.

— Девочка, пропусти меня, пожалуйста, — вежливо обратилась она к Фомке. — Вот спасибо, милая...

Звеня ключами, взбежала на второй этаж.

Зашли все в невероятно тесный лифт. Поднимались в тишине.

— Я не девоська! — угрюмо сказал Фомка. — Не девоська!

Вадим смотрел на него и видел, что он похож на Аллу. И Фомой его Алла назвала специально, зная о любви Вадима к старорусским именам.

— Мальчишки так быстро вырастают из одежды, — сказала она. — Купишь, а через год выбрасывать. Зачем тратить? Вот я и беру у подруг, а у них, как назло, одни девочки — у всех... У Наськи, — ты ее, наверное, не помнишь — аж двойня. А Фомка маленький, ему пока все равно, в чем ходить. Да, Фомка?

Вадим и Фомка кивали головой.

Теща изучала Вадима с насмешливым женским интересом. В общем, еще вполне себе молодая, ухоженная особа.

— Ну что, командировка прошла успешно? — спросила она.

— Не переживайте, Зинаида Егоровна, все было по фэн-шую.

— Ну, мы пошли, — сказала Алла.

Фомка вдруг понял подставу — его не берут с собой, — и заревел.

— Да они ненадолго, скоро придут, — привычно успокаивала его теща. — И папа твой придет. Куда он денется с подводной лодки!

Фомка плакал и тянулся к Вадиму.

— Может, взять его с собой? А чего? — он смотрел на это личико, носик, крупные слезы на щеках и недоумевал: неужели все взрослые были такими — депутаты, менты и даже воры в законе.

— Он сейчас успокоится. А там мы за ним гоняться замучаемся, от игрушек не оторвем, — видно было, что Алла привыкла оставлять его вот так и уходить куда-нибудь.

Матери всегда жестче отцов.

Втроем дошли до остановки. Савва понуро плелся сзади. Они даже останавливались, чтобы подождать его. Алла понукала. А Вадим прислушался, обернулся и увидел, что сын останавливается, чтобы хрустеть замерзшими краями лужиц, как и он сам обожал в детстве. Мог днями ходить и выискивать эти бельма на лужах. Вадим придержал Аллу и закурил. Больше всего он боялся сейчас, что его кто-то узнает, подойдет поздравлять и общаться, и своими вопросами возвращать в ту жизнь, которую он отринул. Ему никого, кроме самых близких, не хотелось видеть.

— А давайте на такси! — радостно предложил он. — Мы же на маршрутку больше потратим. И обратно так же, чтобы не париться с пакетами.

Алла с Саввой переглянулись, как сообщники, в команду к которым неожиданно затесался третий.

По прежним его меркам денег оставалось немного, и радостно было их тратить.

— Ехали! — засмеялся он. — Пять минут, господа, и карета будет подана!

Вадим никогда не был в гипермаркете. Когда его «закрыли», только начали появляться супермаркеты, но он предпочитал затариваться в крутых магазинах в центре.

Он испытал шок. На самом деле гипермаркет — был гигантский ангар, внутри которого тепло, невероятно яркий свет и очень красиво. Музыка, писк каких-то автоматов, шум и гомон сотен людей, экзотические ресторанчики, кафе всемирно известных брендов и еще много всего такого, о чем он только слышал. Здесь было невероятное изобилие продуктов, одежды, того, что нужно для дома и дачи, и еще много всего к чему тянулась рука, что интересно было бы открывать для себя, пользоваться и применять в жизни. Ассортимент потрясал и все-все это он, Вадим, в общем-то, мог себе позволить приобрести.

— А вискаря сколько! — в восхищении он едва не выругался. — А-бал-деть! Я и марок-то таких не знаю.

Удивлялся и, как ребенок, призывал Аллу с сыном удивляться вместе с ним. Особенно радовали всякие новогодние дела. Душа замирала в предвкушении новогоднего таинства, того, что завтра утром ему никуда не надо вставать, что он будет у себя дома... На людей, суетящихся вокруг, даже самых солидных, он смотрел с умилением, воспринимая их как «белолобых», тех, кто впервые переступает порог камеры. Ликовал, глядя на их наивные, незамутненные лица, и казалось, что он может им все «разжевать», подрассказать, как оно должно быть по жизни. Хотелось позвонить своим и поделиться своей радостью и открытиями, узнать какие изменения в бараке и по лагерю.

Нерусский парень из краника разливал пиво по таре. Вадим удивился его трезвости, он бы уже на ногах не стоял к концу смены.

Савва немного отставал, догонял их и снова сутулился за полками.

— А чего сын-то мой грустит? — спросил он у Аллы.

Она посмотрела на него и промолчала. Вадим понял по ее глазам, что она раздумывала: сообщать ему некую информацию или нет. Непривычно ей было, наверное, делиться с близким человеком... Решительно отложила какую-то банку и улыбнулась Вадиму.

— Он влюблен в девочку-часы, — сказала она. — У них в школе девочка играет часы в спектакле «Золушка». Тоненькая, красивая, на стрелки похожа.

Савва будто ждал, пока Алла закончит рассказывать. Постоял возле полки с игрушками и вернулся к ним.

— Что там? Понравилось что-то? — спросил у него Вадим. — Пойдем, посмотрим.

Пошли вместе. Ему вдруг легче с ним стало.

— Вот это? — Вадим взял коробку «Лего». — Чего ты молчишь, сынок?

— Да я уже посмотрел...

— Ты скажи — нравится?

— Да, очень! — шепотом ответил Савва.

— Бери, носи в корзину.

Савва посмотрел на мать. Алла пожала плечами.

— Спасибо, папа.

— Выбери и Фоме что-нибудь. Ты же лучше знаешь, что ему нравится.

— Оптимус Прайм.

«Хорошо, что есть "второй"! — убежденно подумал Вадим. — Он нам веса прибавляет и семейности. Считаю, что расквитались с Аллой. Она же "Скорпион" по гороскопу, а они не могут, чтоб не расквитаться. Хорошо, что так получилось».

— Берем Оптимуса.

Вадим и к Алле присматривался, пытаясь подглядеть, что ей понравится, на что чисто женское она обратит внимание. Но Алла, будто специально, не подавала вида, и Вадим выбрал для нее новогоднюю маску-бабочку, небесно-голубую, — этот цвет так шел к ее глазам.

— Я с вами так и про скотч забуду! — пошутил он.

— Да есть дома немного, Вадим.

— Мне надо много! — он выбрал крепкое полупрозрачное кольцо.

Ему хотелось не Валеркину коробку обмотать, а запаковать намертво все свое прошлое, похоронить, как мумию.

Долго стояли в очереди. Вадим удивлялся, как много стало толстых людей, ведь на зоне он созерцал одни «велосипеды». Наконец, выгрузили все на ленту. Вадим провез пустую телегу. Алла пробивала на кассе, Савва старательно передавал продукты отцу.

Вадим уже почти забил пакеты, когда заметил в телеге скотч, видимо, не уследил, — Савва, показываясь перед ним, передавал покупки быстро, как чемпион. Могли бы так и забыть. Вадим упрятал скотч в отдельный карман. Они едва тронулись от кассы, как к ним подошел охранник. Вадим уже давно обратил на него внимание, уж очень он глаза мозолил.

— Извините! — сказал он. — Одну минуту, уважаемый.

— Я не понял, вы мне? — Вадим перевел на него взгляд. — В чем дело, служивый?

— Можно посмотреть ваш чек?

Алла протянула длинную белую ленту.

И вдруг Вадим кожей почувствовал, что охранник обрадовался.

— Извините, — с волнением сказал он. — Вы скотч не пробили!

— Ты щас с кем вообще разговариваешь? — спросил Вадим.

Алла напряженно и подслеповато изучала чек.

— Вы скотч в карман убрали, но по кассе он не проходил.

— Слышь, охрана ты там, случаем, целлофан не курил?

«Как же могло такое произойти?! — лихорадочно соображал Вадим. — Алла пробилла скотч, Савка положил в корзину, я в карман... Или Алла не успела его пробить, а Савка передал мне?»

Алла зачем-то вынула из пакета и медленно натянула на лицо маску-бабочку. Ее голубые глаза смотрели на Вадима с осуждением и такой болью, что ему захотелось заорать.

— Вы провезли скотч в телеге мимо кассы.

Вокруг стал собираться народ.

— Он у вас в кармане.

Вадим вдруг увидел, что Савва плачет. Он стоял, наступив одной ступней на другую, и отирал свои ручонки.

— Разбирайтесь тут сами, — Алла психанула и отдала охраннику чек. — Пойдем, Савва!

Вадим смотрел, как они удаляются... Жена склонилась под весом тяжелых пакетов, а другой рукой держала сына, у которого вздрагивали плечи. Он обернулся к отцу, чтобы сказать что-то, но мать тянула его от этого позора.

— Пройдемте в кабинет, — предложил ему охранник.

И Вадим подчинился только потому, что знал — это скоро закончится. Весь гипермаркет смотрел на него.

Охранник специальной магнитной карточкой открыл дверь. Прошли по коридорам в комнату охраны.

— Ну что, паренек, опять прилип?! —

Вадим вздрогнул, услышав голос лагерного «кума». Обернувшись, увидел начальника магазинной охраны.

— Я вашего брата за версту чую. Давай, расчехляйся. Всем миром смотреть будем.

— Старшой, давай подвязывай, жути на меня не гони, — сказал Вадим, не замечая, что переходит на «феню».

— Ладно-ладно, жути никто не гонит, пока давай-ка сначала досмотрим.

Охранник хлопал Вадима по карманам.

— Мы тебя сейчас сфотографируем на память, адрес запишем. Паспорт при себе?

Вадим протянул справку об освобождении.

— О-о, да ты паренек бывалый! — обрадовался начальник. — Я же говорю, за версту вас чую.

— Слышь, ты дуру не гони. Ты же прекрасно видишь весь расклад! Я только сегодня вывалился.

— Понял... Что же это вы, Вадим Николаевич, на такую мелочь разменялись?

«Ладно, хоть лед тронулся», — с надеждой подумал Вадим.

— Ты сам, как думаешь, стал бы я красть этот скотч?

И вдруг Вадима осенило.

— Он же прозрачный, скотч! Я его не увидел на дне тележки, а уже за кассой подумал, что жена передала сыну, а тот — в тележку, на упаковку мне.

— Охранник, тем не менее, увидел сразу!

— Слышь, старшой, ну если твой соглядатай просек поляну. Почему сразу не пресек?

— За что угрелся-то? — уже с улыбкой спросил начальник охраны.

— По сто шестьдесят второй...

— Ну, давай тогда, бомби, соловей-разбойник, как дело-то было?

— «БурГазБанк» помните?

— Помните.

— Я там менеджером работал и знал всю кухню. И вот в один момент решился нагреть свой банк по-крупному, время такое было, на кону стояло три ляма зелени.

Начальник сидел, опустив голову, словно сожалел, что прошли те времена. Блистеры его черные с проседью волосы.

— Колотнули движуху — друг мой самбист и один охранник. Я подготовил почву, когда можно выдернуть налик. Ты хоть представляешь, сколько это денег — это вот такая неполная тележка, как у вас в магазине, весом около тридцати килограммов. Да... На «майские» самбо зашел в банк под видом курьера, придушил и связал охранника... Но самбист не учел своих внутренних переживаний, дрищ-то обнял его, ну, так всегда, когда волнуешься. А в банке, оказывается, еще и уборщица была. Она тоже пошла в туалет, а в женском бумаге не оказалось, она — в мужской, а там мужик в маске на унитаза сидит.

— Ну вы и отморозки! — с доброй усмешкой отозвался начальник охраны. — А дальше-то че?

— Дальше-то чё... Бабульку закрыл в кабинке, шваброй подпер. Без штанов выбежал... В общем, деньги он все-таки взял и вынес в спортивной сумке. Мы их даже разделить успели. И надо было нам всем валить в тот же день за границу.

— А смысл? Интерпол работает как надо.

— Дальше все было как в сказке. Банк под ментовской крышей. Следовательно собрали охранников. Всех подряд начали одинаково обрабатывать: «Мол, мы все знаем! Кто был еще в деле и где деньги?!» Естественно, те бедолаги, кто «ни при чем», молчали. А тот, кто был в теме, тот не вывез и поплыл. Забирали меня с юбилея жены. Всех гостей положили на пол.

— Ну, потешил ты меня, бродяга! — вздохнул начальник. — Давай, иди с миром.

И тут Вадим «полетел»: встал, похлопал по плечу начальника и сказал: «Да, это тебе не мелочь по карманам тырить у пьяных покупателей».

— Я смотрю, орел, ты доброту за слабость принял? Может, тебя заземлить?! — начальник смотрел с безразличностью и ярко выраженной неприязнью, как обычно начальники смотрят на жулье. — А теперь, животное, иди своих ищи!

И Вадим посмотрел на него с бессильным презрением. Опустил взгляд и вышел.

Кружилась голова, во рту пересохло. Прислонился к колонне и стоял, чувствуя чужеродность свою среди оживленной праздничной толпы. А потом увидел Алту с сыном. Они сидели за столиком, там, на площади, где располагались кафе и рестораны. Савва ел какую-то булку. Алла смотрела на него. Ждали. Вадим представлял свой убитый вид и не знал, какую маску надеть, каким сейчас должно быть его лицо. Он не мог подойти к своим. Пошел за узбеком с каталкой, в которой были швабры и щетки. Пришел в пустынный и чистый туалет. Ряды кабинок. Закрылся в крайней, прижался лбом к двери. У него только в детстве и ранней юности были такие жесткие приступы безысходной тоски, когда воспринимаешь жизнь и всех людей, как враждебную ловушку, в которой ты — несчастная, нелепая мошка.

И вдруг рядом, за тонкой перегородкой, заиграла приятная, давно забытая мелодия, звуки из другой жизни.

«Белые розы, белые розы, беззащитны шипы.

Что с вами сделали снег и морозы,

Лед витрин голубых».

Пел мальчик с доверчивой, хриплой и немного хулиганской интонацией. О, как много разбудила в его душе эта песня!

— Вот же, нашли время звонить! — закричал и выругался мужик в соседней кабинке.

А мальчик пел и пел.

«Чтоб вы все были прокляты, суки!» — Вадим зарыдал, слезы полились из глаз без его ведома.

Музыка оборвалась.

— Что ты звонишь?! Где?! В Караганде! — выругался мужик. — Даже здесь посидеть спокойно не дают. Ты же слышишь, что трубку не берут, значит — не берут! Давай, до свидания...

Вадим содрогался, стискивал кулаки, но ему становилось легче.

И правда — пора возвращаться к своим.

Виктор

Виктор курил, потому что жалел себя. Приятно было, сняв бейджик, выйти на улицу, глубоко затянуться, зная, что сигарета вредит здоровью, и жалеть себя за это и вообще, что жизнь как-то не так складывается. Даже если он стоял в толпе, сигарета создавала вокруг него шалаш уюта. Он затягивался, и красота мира воспринималась острее, разгорающийся огонек на кончике давал надежду на что-то лучшее впереди, и дым плотно выходил, как продолжение Виктора в пространстве мира.

Многие друзья Виктора хорошо устроились, у них уже были свои квартиры и машины, они ездили с семьями отдыхать за границу и, наверное, удивлялись про себя, почему их коллега оказался таким неудачником. Виктор работал охранником в торговом центре на «Соколе», в большом павильоне шуб «Снежная леди». Особенно нервно было зимой, находились умельцы, которые срезали или «гасили» сенсоры и выносили товар под толстой верхней одеждой. Конечно, был учтен процент на воровство, но какую-то часть приходилось доплачивать

охранникам. Павильон и сотни меховых изделий — шубы, манто, куртки, гламурные безрукавки — принадлежали одному человеку — горскому еврею Майру Аксанову, холеному и капризному мужчине средних лет. Да-а...

С утра Виктора неприятно поразил один случай. У дорожки к метро «Бабушкинская», напротив часовни, в инвалидной коляске дремал мужик в камуфляже — правильный дядька, а не случайная размазня-бедолага в военной форме: жесткое, колючее лицо с накачанными желваками, лицо человека, которому выпало по судьбе взять на душу тяжелый грех. Виктор всегда подавал ему, если было что. То есть склонялся, говорил что-нибудь ободряющее и незаметно оставлял в развязленном пакете деньги.

— Ты! Черный! Возьми свои бабки! — вдруг услышал он в спину.

Мужик в камуфляже, несмотря на то, что рядом была церковь, почти к каждому слову добавлял нехорошее выражение. Виктор обернулся и увидел за собой растерянного брюнета, скорее всего, азербайджанца. Инвалид с перекрученным лицом и пеной у рта швырял в него деньги из пакета.

— Н-н-а! На! — дергался он всем туловищем.

Услужливые, жеманные бомжи с паперти бросились их собирать...

Да-а, жизнь. Виктор достал вторую сигарету. С болезненным вниманием изучал он тех, кто подъезжал к павильону. Его раздражало, что роскошные автомобили принадлежат совершенно незначущим людям, — каким-то хлипким паренькам, пронирыливым лысым мужичонкам, молодым девушкам, которые, судя по глазам, были способны только на исполнение каких-то простейших функций. Виктор представлял, как бы повели себя все эти люди в экстремальных ситуациях, и усмехался иронично. Ему хотелось воскликнуть удивленно, обратиться к кому-то всезнающему: почему все так? Он заломал сигарету, выдохнул остатки дыма и нацепил бейдж. В павильоне пахло, как в детстве, когда к родителям приходили гости, — холодом, снегом, мокрыми шубами, обувью. Всюду гирлянды. Скоро Новый год. Виктору показалось, что в толпе скользнуло знакомое лицо. Всегда так: вспоминаешь разные события, и то там то сям начинают мелькать лица из прошлого. Вообще, лица людей похожи, бог не особо заморачивается, выдает целыми партиями. Да-а... На работе время тянется долго, а дома враз пролетает. Тяжелее всего стоять на мраморном полу, под конец смены кажется, что стоишь на позвоночнике. На деревянном полу было бы легче, конечно. Некоторые охранники прятали маленькие табуреточки под шубами. Но шеф иногда наблюдал в камеры и мог засечь. Можно было поприсесть, зарядочку сделать. Виктор часто думал о бывших коллегах. Кого-то из них ему бы очень хотелось встретить. Он думал о том, кто из них и как бы себя повел: одни бы поддержали, одобрили, мол, стойко переносишь тяготы мирной жизни; другие стали бы надуваться, радоваться собственной значимости и похлопывать его по плечу; а от некоторых, точно, пришлось бы прятаться, не дай божок на глаза попасться. Виктор даже покраснел, скривился и, чтобы скрыть душевную боль и стыд, пропел какую-то чепуховую популярную песенку, одновременно решая про себя, в который уже раз, что надо завязывать, это не для тебя, это для «сапогов» работа. Быстро пошел со «стыдного» участка, завернул за угол и встретил одного из бывших. Даже глаза и веки защипало от прыгнувшего давления. Значит, не показалось. Это был один из тех давних чуваков, кого он очень хотел увидеть. Уж было рванулся радостно, но приостановился и с умилением наблюдал, как его ровесник с унылой сонливостью

перетирает пальцами полу дорогушей норковой шубы, — ну, настоящий «Кузьмич». Он, как многие люди толпы, спал в анабиозе, а все движения и вроде бы осмысленные действия совершала зомбическая улитка тела. Виктор подкрался и хлопнул его по плечу.

— Что, мужик, шубу хочешь стащить?! — получилось неожиданно громко, даже грубовато.

Мужчина шарахнулся от него, глаза сонно выпучились, лицо исказилось от страха.

— Кефир, ты чего?! Это же я! — растерялся Виктор.

Мужик втянул голову в плечи, окрысился, изготавившись к агрессивной защите или же бегству. Виктор вспомнил, как играл с сыном в прятки в парке. Уже смеркалось. Сын шел по тропинке, а он, не дождавшись, радостно ломанулся к нему сквозь кусты... И вдруг сын, глядя прямо на него, побледнел, отшатнулся и заверещал в ужасе. «Саша, это же я! Папа, папа!», — глотая смех, кричал Виктор и обирал себя руками, будто сдирая какую-то пленку, что скрывала от сына его облик.

— Кефир, рад тебя видеть, чувак! — Виктор так крепко его обнял, что выдавил из грудной клетки всхлип.

— Тыфу ты, Ви-витек?! — Кефир отстранялся, и запоздало, как-то по-женски, замахивался. — Я тоже рад... Но я же могтебя очень крепко стукнуть! — он еще не отошел от страха и потому употреблял много крепких и нехороших слов. — Так тебя стукнуть, что ты бы тоже испугался, понимаешь?!

— Извини, извини, брат! — засмеялся Виктор. — Идем сюда, а то там камеры секут.

— Камеры?

— Да, вот здесь не увидят, — Виктор поднял брови. — Там, там и там — слепая зона. Но ты делай вид, будто шубы рассматриваешь, — нам нельзя с клиентами общаться.

Кефиром его прозвали вот почему: на стене, напротив их части в городе N. было написано: «Смерть кяфирам»! Днем надпись замазывали «робсовцы», а утром она опять появлялась.

— Задолбали! — возмутился он однажды. — Сами вы кефиры долбаные, а я православный!

Так его и прозвали Кефиром. А к надписи привыкли.

— Кефир, рад тебя видеть! А ты изменился — возмужал!

— А ты, я вижу, чужое добро сторожишь? — Кефир немного фамильярно щелкнул по бейджику.

— Как видишь.

— А что, неужели воруют? Тут же вон защитка стоит.

— Да че защитка, ты к этому сенсору мобильник прижимаешь, и он на выходе не срабатывает на сенсорматиках...

— Да ты что?

— А то! — Виктору приятно было удивлять Кефира, открывать ему что-то новое. — А некоторые вообще эту защитку в пачку из-под сигарет засовывают, прикинь!

— Зачем?

— А там же фольга, она экранирует.

— Надо же, удивительно.

- Да-а уж, приколов много. Как сам-то? Семья, дети?
- Ну, скажем так, — все на месте. Жена красотка, а теща еще красивее, хе-хе.
- Молодец, Кефир! Да-а... А мне с тещей не так повезло. Какое-то новое поколение бабушек — в Египет ездит отдыхать. Жену мою пугает, мол, квартира моя, вот продам и домик в Черногории куплю... Ну и конечно — сериалы! Внучка, мокрая, босиком по холодному полу бегают, на балконе на табурет встает, а она от голубого экрана оторваться не может. Типа, вы родили, вы и смотрите. Гасите свет, короче... Ночью эротику смотрит, прикинь! Я в ахуе! Извини, что так много болтаю. Тоска здесь! Поговорить не с кем.
- Мужчина должен быть немногословным, — важно заметил Кефир. — Три слова достаточно, хе-хе — люблю, куплю, поехали.
- Понял тебя. А ты тут чего?
- Ну, шубу жене смотрю, прицениваюсь.
- О как, разбогател!
- Громко сказано, но шубу родной жене могу позволить, хе-хе. Отдых на море. Не в Египте, конечно. Там сервис, скажем так, арабский, что ли. Это чисто мое субъективное мнение. Ну и быдло наше рашкинское...
- Согласен, Кефир. А тут тоже нормально башляют. Иногда шефа пасем на выездах, — тоже приплачивают. Скидку могу у Танюхи на кассе попросить для тебя, если че.
- Спасибо, Витек. Подумаю.
- А вообще, скучаю, Кефир. Правда. Особенно по комендатуре. Порой вернуться хочется.
- Да, там хорошо было.
- Помнишь, Кеф, как все в аule прятались? А потом девчонка выходит с расспросами... и кричит: «Они из комендатуры!» И тут же народ на улице.
- Да, комендатуры не боялись. А у меня, веришь-нет, Витек, до сих пор руки трясутся, особенно когда вилку с ножом беру.
- Да, понятно, понятно, — наконец-то Виктор разглядел в этом маленьком пафосном москвиче того, прежнего Кефира.
- Я тут недавно Сергеича встретил.
- Да?! И как он?!
- А ты что, не знаешь? По вагонам метро на коляске ездит, подавание просит. Девчонка-молдаванка возит его. Я газеткой закрылся от стыда, прикинь!
- Хреново! Что же он не позвонит?!
- Гордость, типа. Сергеича, что ли, не знаешь? Чурки разные ему деньги подают. А я думаю, может, кто из их братьев ту мину и поставил...
- Да-а, жизнь... Вот такое вот новогоднее настроение. А ты че на Новый год делаешь, Кеф?
- Ну, планировали с женой и друзьями шале снять на Рублевке, но опоздали. Придется дома, в кругу семьи, типа. Теща там, оливье и так далее.
- И мы. Давайте к нам в гости, ё-маё! Вам же недалеко, на самом деле.
- Верный движ предлагаешь. Давно уже не сидели. А помнишь, как мы сидели?!
- У-у... пельмени по всей палатке!
- И видик у каждого на тумбочке, а там порно или Земфира...
- Договорились, Кефир! Обещал! Я Дедом Морозом наряжусь! Сергеичу вместе позвоним! Ну, лады, пока. Я на обед — время!

— Понятно, служба. Пока, Витек. Мы придем! Рад встрече.

Кефир давно затерялся в толпе, а Виктор все улыбался, не чуя ног и усталости, словно гелием наполненный. Шел на обед в подсобку охранников и надеялся, что встретит там кого-нибудь, с кем можно поделиться радостью, что в толпе многомиллионного города друга встретил, сослуживца. Заварил «Доширак», «доктора» нарезал, запоганил чайку и со счастливой улыбкой вспоминал прошлое — страшное, в общем-то.

По коридору, едва не сбив уборщицу, пробежали охранники. Один из них заскочил в подсобку.

— Приятного, Витек... Сигареты мои не видел? Вроде здесь оставлял.

— Нет, а че за кипеш?

— Вора крутого поймали, на! — радостно засмеялся коллега. — Прикинь, шубу хотел стащить. Даже на сенсорах не запикал, на! Защитку в пустую пачку от сигарет запыхал, прикинь?!

— Надо же...

— А весь прикол в том, что пояс шубы из-под куртки вывалился, типа хвост, на...

— Ментов вызвали?

— Да, на, менты?! Шубу на вещдок отдавать? Шеф сказал сфоткать и фотографию отрихтовать... Ща мы на нем разомнемся! — охранник смачно ударил кулаком в ладонь.

Виктор криво ухмыльнулся, отложил ложку, вышел в коридор и заглянул в рубку.

— Сигареты где-то здесь забыл, не видели? — делая вид, что ищет сигареты, он смотрел на многочисленные мониторы.

— Как же я его не просек, блин?! — недоумевал оператор. — Он у меня ни по одной из камер не проходит!

Виктор выскочил в павильон. По соседнему проходу вели послушного, бледного Кефира с полосатым меховым комом в руках. Виктор отшатнулся и задвинулся длинной шубой. Разгоряченная толпа прошла мимо. Шуба качалась перед носом и вздрагивала.

Виктор сидел в подсобке. Нетронутый, остывший «Доширак» стоял перед ним.

— Пидор, а ведь он тебе жизнь спас! — громко сказал он самому себе.

— Что говоришь? — в подсобку заглянул тот же охранник. — Ты еще не поел? Там шеф тебя требует.

«Доложил кто-то, или камеры посмотрели, — понял Виктор. — Ну, вот и все. Само собой разрешилось».

— Он к итальянцам каким-то собрался, — продолжал охранник. — Свозите его с Маретткой. Ты и Сан Саныч.

Лимузин шефа был продолжением его дома. В багажнике — зонт и саквояж, аптечка, забитая презиками и «Мирамистином», замшевые двухкамерные сумки для обуви, пакеты с подарками и бакшишем. В салоне — кофр с костюмом.

Виктор, сидя рядом с Сан Санычем, водителем-телохранителем, заметил в зеркале, что шеф с Мареттой открыли бар, разлили что-то, виски по запаху, шеф закурил сигару.

— Майр, ва-а! У тебя кровь на пальце, — вдруг сказала Маретта.

— А-а, блин, влупил тут одному.

— Перчатки бы надел, родной.

— Ты что, у меня «Труссарди»? Они кожу янтарными валиками прокатывают. Марать еще...

Виктор был как в тумане, он не чувствовал времени: пролетали городские виды, потом замирали в пробке, доносились голоса.

— Констэлэйшн закрывается, слышал?

— Да, «Минком» накрывается. А они им принадлежали.

— А как же Вера теперь? Может, к себе ее пригласим?

— Ее Миша к себе взял.

Виктор вдруг вспомнил рассказ Кефира. Однажды, в детстве, тот заметил на толстой ветке гнездо. Залез, — а там птенчики копошатся, — клювы желтые, большие, на всю голову. Взял одного в ладонь и так прибалдел от счастья, что забыл где находится... и шагнул вместе с ним, побежать, ребятам показать. Грохнулся. Сам-то ничего, а когда кулак разжал, — увидел... То есть во время падения так кулак стиснул, что... Да-а, жизнь.

— Че вздыхаешь, Витек? — Майр похлопал его по плечу.

«Еще раз хлопнет — сломаю палец», — подумал Виктор.

— Самый лучший мой «телок»! — шептал Майр Маретте. — Спецназовец.

У Майра было мягкое лицо, красный нос и причудливо изогнутые, капризные губы, всегда влажные, будто он только что поел. У таких мужиков, как правило, пальцы с короткими и некрасивыми ногтями. Странно устроена жизнь, подумал Виктор про самого себя, воин, атлет, а подчиняется какому-то прыщу, и девки породистые вокруг этого грибка вьются.

Они приехали в большой выставочный комплекс, где проходила международная меховая ярмарка. Майр для солидности взял с собой и Сан Саныча. Так и шли — Виктор нес портфель Майра, а Сан Саныч какой-то пакетик Маретты. Слышалась английская и итальянская речь. Остановились в салоне итальянских шуб. Девушка-консультант, наслаждаясь знанием материала, представляла итальянские изделия, рассказывала о достоинствах. Майр помог Маретте снять шубку. Виктор знал, что это надолго. Жаль, что и здесь негде присесть. Маретта, как и все женщины, наслаждалась уже от одного процесса примерки. Виктор даже заметил сквозь тонкую ткань платья, что у нее возбудились и затвердели соски. Она примеряла модели одну за другой, а Майр не уставал восхищаться, советовать — и все по делу. Виктор завидовал его терпению и умению. Давно уже наблюдая за богатыми мужиками, он сделал для себя одну заметку — они очень терпеливы. Девушка-консультант радостно хлопотала вокруг, поняла, что пришли платежеспособные люди. Майр и Маретта, и правда, выглядели очень представительно. Хотя и тут Виктор уже знал, что если человек очень представительный, то, скорее всего, — аферист.

— Будьте добры, а в том отделе что? — спросила Маретта у девушки.

— Норка, нутрия, бобер.

— А это чей мех? — Маретта погладила на себе очередную шубу.

— Норка. Вы уже спрашивали.

— Девушка! — противно вскрикнула Маретта. — Я что, норку не знаю?! Я имела в виду, это был самец или самка?

— Господи, какая разница?

— Ва! Понимаете, девушка, у зимнего самца густой подшерсток, ость длиннее и мех больше лоснится.

— Посмотрите на мех — стопроцентный зимний самец!

— А сшито из кусочков, или это целиковые шкурки?

— Целиковые.

— Уверены?

— Я сейчас уточню.

Виктору показалось, что девушка ушла специально, иначе бы у нее нервы не выдержали.

— Эта шуба без защиты, на ней ни одного сенсора! — Маретта через зеркало смотрела на Майра.

— Хоп, Мара, хоп. Снимаем-снимаем...

Маретта грациозно скинула итальянскую шубу. Майр передал ее Сан Санычу.

— Подожди нас в машине.

— Что? — до Сан Саныча еще не дошло.

— Не мни шубу! — дружелюбно засмеялся Майр. — Просто иди на выход. Как будто хозяйскую шубу в машину понес, типа перепутал...

— А-а, ну да, ну да, — ослабилась Сан Саныч и медленно побрел к выходу.

Охранник на выходе болтал по телефону и не обратил на него никакого внимания. Виктор пожал плечами. Все. Выход.

Появились девушка с менеджером.

— Все шубы из целиковых шкур! — женственно изогнулся и всплеснул руками менеджер. — Все — самцы. Вот эту примерьте, пожалуйста. Она словно на вас была скроена руками итальянских дизайнеров.

— Точно самцы? — сурово переспросил Майр.

— Уверяю вас!

— А может быть, они педики были?

Все громко захохотали.

Маретта примерила шубу, которую предложил менеджер.

— Я же говорил! — всплеснул руками менеджер. — Ну что, я выписываю?

— Да, хорошо, берем! — с деловитой энергией подтвердил Майр. — А вы доллары принимаете?

— К сожалению, только рубли.

— А черную карточку «Америкэн экспресс»?

— Только Виза, Маэстро, Голд...

— Хорошо. Отвесьте ее для нас — мы поменяем деньги и вернемся, — Майр помог Маретте надеть ее шубу. — До свидания.

Менеджер и девушка-консультант едва не плясали от радости.

«Как же ловко они людей разводят... Просто шаблоны рвут!» — с некоторой завистью подумал Виктор.

Сан Саныч имел бледный вид. Заметно было, что мозги его кипят.

Шеф и Маретта ввалились в салон с истеричным хохотом.

— Возвращайтесь! Обязательно! — вскрикивала и захлебывалась Маретта. — Типа, будем рады вас видеть! Пипон!

— А вот и шуба! — Майр суетливо и хищно осматривал добычу.

Виктор брезгливо следил, как он ищет ценник, который в таких салонах обычно глубоко прячут.

— Прикинь, Мара, она пятнашку грина стоит! — тонко пропел шеф. — Ана-мана!

— Ну, лохи! Вот это лохи, пипон, в натуре!

— Что за пипон?!

— Пипон! В смысле — пипец!

Они захохотали так, что прохожие на улице обернулись.

— Это надо обмыть, Мара!

— В натуре — пятнашка грина, как с куста!

— Ну, реально, наш день!

— Просто ты — харизматичная личность, Майр!

— Да, пипон, какая личность! А тебе не Мара имя...

— А какое, родной?

— Маза!

Они радовались, как дети.

— А ты видела, как мой телок перетрухал?

Они снова засмеялись.

— Что-о, перетрухали, вэдэвз? — громко спросил шеф. — Не бздите, я вам премию в квартал выпишу.

Он хлопнул Виктора по плечу и вдруг заорал так, что машина вильнула. Виктор и сам до конца не понял, как это произошло — он сломал шефу палец.

Машина встала. Вокруг громко сигналили.

— Простите, шеф, простите! — насмешливо причитал Виктор. — Да что ж у меня за реакция такая дебильная, господи?

Через неделю Виктор получил полный расчет. Ходил по павильону в гражданской одежде. Коллеги-охранники сторонились, делали вид, что чем-то заняты. Он нашел ту самую полосатую шубу, принес и бросил на кассу.

— Берем? — хмуро спросила Танька.

— Берем.

— Однако!

— Что?

— Заворачиваем?

— Заворачиваем!

— Виктор-Виктор... Ну и куда ты теперь?

— В Чехию, Таня-Таня.

— Все прикалываешься. Уволиться легко, а вот место хорошее найти непросто в наше время.

— Да там курорт, Таня, реально — горы, воздух свежий, аниматоры веселые...

Вышел из магазина и поднял руку. После большой покупки не жалко было денег на такси. Так всегда.

Ехали долго. Водитель что-то спросил у него.

— Что?

— Не против, если закурю? Я окно открою.

— О чем разговор? — по суетной радости водителя Виктор понял, как тот мучился без сигареты. — Много курите?

— Две пачки в день!

— Многовато.

— А я ведь четыре года не курил. Потом решил выкурить сигарету. Ну, думаю, выкурю одну, что будет? Что! Вот — две пачки в день!

— А я бросил. Будете смеяться — электронную сигарету курю.

Водитель хихикнул.

— Вот и я. Мне говорили — онанизм. А я до этого просто пробовал электронки с добавками. Мне не везло, вкус вишни, кофе — фигня. Но как-то случайно, во время гулянки, у знакомого одного взял попробовать. Там чистый никотин, без всяких добавок. Ну, все пацаны выпили и покурить, выпили и покурить, а я сижу — эту сосу. Противно, а сосу. А потом забыл, что перекурить хотел. И обалдел к вечеру — почти полная пачка сигарет.

— Попробовать, что ли? — засомневался водитель.

— И я вот так же помню, стоял возле киоска и, дай, думаю, возьму себе на пробу, пусть будет электронка: где обычную выкурю, а где и эту сососу. Как сейчас помню этот день — 29 декабря! Две недели уже не курю!

Водитель тепло засмеялся.

— Мне сигарета чем нравилась, — дым горло сжимает. И электронка никотиновая тоже сжимает, и огонек горит, и дым изо рта, то есть пар. Ее же так и называют — парогенератор. Кайф!

Водитель счастливо засмеялся.

— Там же нет самого вредного — смол и дыма, — Виктор видел хорошую реакцию водителя, и ему было очень приятно помочь человеку, спасти его здоровье.

— Слушайте, вы не очень спешите? Я сейчас возле торгового центра остановлюсь и куплю себе.

— Да на вот, мою возьми, на пробу, — Виктор достал из кармана и протянул палочку водителю. — Я не заразный.

— Зараза к заразе не пристаёт! — водитель бережно взял, притих, осторожно затаился и с удовольствием выдохнул пар.

— Ну?

— Сжимает... Горло... — с выдохом произнес он. — Терпкая. Кайф. И огонек прикольно горит. А я думал, что включать надо что-то, типо, кнопку.

— Просто затягиваешься — и все.

— Спасибо, брат! А ты сам как же?

— А у меня еще есть...

Так они и не заметили как приехали.

— Ну, где-то здесь ваш сослуживец живет.

— Найду. Спасибо, — Виктор протянул деньги.

— Не, друг, не возьму! — засмеялся водитель, он, видимо, загодя уже готовился к этому моменту. — За счет заведения!

— Вот как, значит. Хорошо. Счастливо тебе! С наступившими!

— Взаимно.

Виктор стоял у подъезда. На душе было тревожно. Конечно, немного сожалел, что потратил столько денег. Очень хотелось курить... И он с наслаждением закурил реальную сигарету. Он жертвовал своим здоровьем и наслаждался. Видимо, нормальный чел и впрямь так устроен, что должен жертвовать хоть чем-то. По кайфу ему это.

Павел

С годами начинаешь чувствовать, как бог играет с тобой в поддавки, тянет за угол жизни дешевыми приманками. В детстве еще не понимаешь, куда попал. В юности уверен, что никогда не умрешь. В молодости ты даже не сомневаешься, что талантлив во всем и именно у тебя все будет хорошо, лучше, чем у других. Дальше живешь по инерции, и когда она иссякает, сам уж как-нибудь тянешь себя, пробавляешься мелким кайфом и длишь свою историю, словно бы издеваясь над идеалами юности.

Где-то к сорока годам у Павла кончилась энергия. Появилась обида на судьбу и негодование своей природой. Хотелось исчезнуть, вычеркнуть себя из этой нескладной, трудной и местами некрасивой жизни.

В детдоме, куда его на полтора года вынужденно сдала мама, он считался самым умным. Воспитатели уважали его, ставили всем в пример и предоставляли различные льготы. В это же время началась и печально закончилась история Хрюхи — некрасивого мальчика-грязнули, который мочился в постель. Пацаны чморили его, заклевывали, как это делают цыплята бройлеры со своим больным собратом, придумывали для него всякие муки. По ночам, типа чтоб не ссался, делали «велосипед» или «гитару», — это когда спящему человеку меж пальцев ног или рук вставляют бумажку и поджигают. Как-то в столовой Паша пожалел его и скрытно от всех отдал ему, всегда голодному, свою котлету. С тех пор Хрюха тянулся к нему. А Паша избегал общения, — всем нормальным пацанам было запаadlo общаться с ним.

Однажды, после отбоя, эти юные отморозки приказали Хрюхе сосать член у толстого и добродушного мальчика-киргиза. Тот чертыхался, уходил в отказ, да и всем другим было стыдно, они даже зароптали. И тогда заводи́ла со своей шоблой поставил условие, что спасти Хрюху может рукопожатие. Но тот, кто пожмет ему руку, сам станет таким же опущенным чуханом. Конечно, никто не протянул ему руки. Последним Хрюха подошел к Паше. Несчастный мальчишка в растянутой майке и грязных «семейниках», он надеялся на спасение. Паша до сих пор помнил его глаза. Он так и не смог пересилить себя. Пацаны в предвкушении прикольного, захватывающего дух события уже надвигались на Хрюху. А он рванул к окну, распахнул его и предупредил, что выпрыгнет. Никто не поверил, конечно. Тогда Хрюха разбежался и сиганул с вытянутыми вперед руками.

— Мы с вами где-то встречались?

— Прикурить не найдется?

— Ну что, сестра, пойдем?

В институте Павел сторонился студентов и усиленно занимался. Он считал, что его гомосексуализм — это отметка свыше, некая избранность, божественный умысел. Изучал Ницше, видел себя «сверхчеловеком», будто бы странный сбой природы давал ему превосходство над «нормальными» людьми, маркировал его выигрышным цветом и заведомо награждал всяческими талантами. Он, например, считал себя более волевым и решительным, чем обычные мужчины. Он считал себя более утонченным и изощренным, чем обычные женщины.

Павел искал друга, такого же, как он. Мечтал о нем. Каждую весну надеялся на счастливую любовную встречу. Казалось, вот теперь, вот именно в

этом марте-апреле нарисуеться нечто и сгустится в голубой прозрачности воздуха. Павел действительно верил в это. Все проходит. Остается прозрачная пустота бытия.

Теперь он ненавидел самого себя, страдал от одиночества, проклинал судьбу и бога за то, что создал его таким.

«Чтоб я сдох, мудила грешный!» — Павел часто так высказывался о себе.

— Отвисни! Пидовку нашел, что ли?! Я работаю только со своим материалом.

— Вот только не надо ссать мне в уши...

Москва была красива, как она бывает красива на Новый год. Ожидание счастья затаилось в воздухе. Только холодно. Павел стоял у памятника Героям Плевны, известного еще с советских времен места гей-тусовки. Просто курил, типа. Смеялся над собой, злился, но все же ждал чего-то. В сумерках слышались только мужские голоса.

— Ну что, может, запутанить тебя?

— Что вы все хотите? Могу я своего знакомого хотя бы пять минут подождать спокойно?

— А ты не по теме, что ли?

Саша ушел полгода назад. Не отвечал на звонки, эсэмэски и письма. А потом Павел узнал, что у Саши СПИД. Странно, как сам не заразился. Болезнь отвратила Сашу от всех. Павел ездил к нему домой, видел его родителей. Сашка сильно похудел. Павел уверял, что хочет быть с ним, что любит его душу и тело, что ему уже насрать на ВИЧ. Они ругались под ночным дождем, два гая в «спальном» районе Москвы. Саша рванул от него. Он бежал прямо по дороге, в потоке машин, серебрился под дождем и в отчаянии хлопал ладонями по крышам автомобилей. Потом Павел узнал, что Саша работает мальчиком по вызову.

— С каким Славиком?

— С таким: двадцать лет и двадцать сантиметров.

— Пошла нахер!

— Только что оттуда. А вот ты, видно, давно там не была!

Голоса были манерные. Зачем они так? Зачем демонстрировать всем, что ты не такой? Они словно бы наслаждались этим. Это от слабости, это истерика. А Паша решил для себя, что он — последний. Последняя, самая высокая веточка на их родовом дереве, от которой уже ничего не будет. Выше — только небо. Мать спилась и умерла. В деревне осталась сестра. Вика была равнодушна к мужчинам и тоже пила. Он посылал ей деньги, когда удавалось скопить. После ухода Саши хотел все бросить и уехать в деревню. Послал сестре эсэмэску, что приедет навсегда. «Приезжай, — ответила она. — Будем помирать вместе».

Покраснели огоньки машин, углубились окна кафе, стали видны праздничные люди в них, счастливые пары. Надо было уходить, а уходить не хотелось — такая тоска в сердце и боль от того, что ты одинок. Представить, что возвращаешься один, в пустую съемную квартиру, было страшно. В праздники чувство одиночества неимоверно обостряется. Павел достал сигарету, размял ее, и вдруг рядом шелкнула зажигалка, задрожал и сорвался во тьму огонек. Снова вспыхнул. Павел поднял очки, близоруко прищурился и прикурил.

— Спасибо.

— Замерзли?

Это был большой улыбчивый парень с бутылкой пива в руке.

- Нет, не успел, — соврал Павел. — Недавно из метро.
- А я замерз. Такой дубак в Москве!
- Да уж.
- Здесь холоднее, чем у нас! Повышенная влажность.
- Да-да, — Павел отводил глаза. — А вы не москвич? Откуда вы?
- Из Братска.
- Это там, где Братская ГЭС?
- Еще в нашем городе живут единственные за всю историю России чемпионы Европы по бобслею.
- А бобслей это что?
- Это когда на санках.
- Павел посмотрел на часы. Рука дрожала.
- Да, в Москве очень быстро темнеет, — вздохнул парень. — Раз и все.
- А вы давно в Москве?
- Скоро год.
- А кем работаете?
- Карщиком.
- Кем?
- Блин! Все спрашивают, — парень засмеялся. — Кар — это маленький погрузчик, я тяжелые товары развожу в гипермаркете.
- А я не люблю гипермаркеты, они оправдывают фашизм, — зачем-то начал умничать Павел.
- Ну да, — согласился парень. — Строго, как в концлагере, и надсмотрщики — иностранцы.
- Карщик, надо же, — Павел посмотрел на часы.
- Вы кого-то ждете?
- Да-а, вот еще пять минут покурю с вами и пойду уже.
- Ага. И у меня выходной кончается. Я два через два работаю.
- Они переминались с ноги на ногу и смотрели по сторонам, будто ждали кого-то. О, этот первый момент знакомства. В первые минуты всегда неприятно, возникает какое-то чувство отторжения. Неизбежно появляется фамилльярность и какая-то насмешка, что ли. Парень отпил из бутылки. Крупные, сырые мальчишеские губы казались холодными. «Надо было надеть линзы вместо очков!» — пожалел Павел. Просто когда собирался сюда, заведомо был уверен, что все равно никого не встретит. Отсюда эти очки и дурацкое студенческое пальто.
- Представляете, я грузу товары, а по ним воробьи скачут, выклевывают разные там крупы.
- Да вы что?
- Ага, настоящее бедствие, блин. Но так весело, когда в этом огромном ангаре воробьи. Им хорошо, тепло, чирикают.
- Слушайте, а что вы делаете на этом бульваре молодых дарований?
- «Ну вот зачем я умничаю и взрослеть?» — все удивлялся Павел.
- Как сказать... Одиноко как-то. Ненавижу этот бомонд, а ноги сами сюда пришли.
- И друзей, что ли, нет?
- В Братске были... был один.
- Понятно.

— А здесь нет и не будет, похоже, — с жалостной обидой сказал парень. — Москва — такой город, и я сюда же, некультипистый.

— Ясно, сочувствую... Ну, что ж, извини, мне пора, приятно было познакомиться.

— Саша.

— Что?

— И мне приятно было познакомиться. Меня зовут Саша.

— Тоже Саша?

— В смысле?

— Да, я ждал Сашу. В смысле вообще жду его, давно уже.

— А может быть я и есть он? Только немного замаскированный.

Засмеялись грустно, как старинные друзья.

— Ну, до свидания, замаскированный Саша.

— До свидания, — он смотрел вопросительно.

— Павел.

— До свидания, Павел. А вы в метро?

— Да.

— И я. Пройдусь с вами. Вы до Китай-города?

— Ага... Но я могу и до «Чистых» прогуляться, — вырвалось у Павла.

— И я. Хоть куда. Сейчас приду, там, блин, хозяйка занудная. Смотрит «Огонек». Ни на кухню, ни в ванную нормально не пройдешь. И все удивляется, что ко мне девушки не ходят. А сама только и ждет, чтоб скандал устроить. Тошно так, скорее бы работа.

Вдруг остановились, словно вспомнили что-то.

— А вы где работаете, Павел?

— В турфирме.

— Вы — путешественник?

«Нет, он все же подозрительный! — твердо подумал Павел. — Что-то не то».

— Нет, делаю литературную обработку текстов... Ну пока, Саша.

— Вы горите, по-моему.

— Что?

И, правда, все это время припахивало паленым, будто где-то урна горела. И вдруг Павел увидел, что из кармана его пальто идет дым. Он растерянно посмотрел по сторонам и стал быстро хлопать себя по ноге, а потом вскрикнул от боли. Саша резко схватил его за пояс и вылил остатки пива прямо ему в карман. Повалили клубы дыма. Горячее потекло по ноге.

— Самовозгорание какое-то! — хлопотал Саша. — Надо бы брюки снять, посмотреть.

— Это не самовозгорание! — Павел морщился и улыбался. — Это я зажигалкой в кармане щелкал. Щелкал-щелкал, потом вы подошли... А там, видать, салфетка затлела, вот я и загорелся.

— А мне казалось, у вас нет зажигалки.

— Да нет же, Саш, все это время я ее сжимал в кулаке и даже щелкал, но рецепторы пальцев не передавали голове сигнал, что это зажигалка — и мне казалось, что карман пустой.

— Вы странный такой.

— Ну хватит «выкать»! Давай на «ты» уже! Что мы, как...

— Как пидоры какие-то.

Засмеялись весело, словно родные люди.

— Больно? — Саша присел и погладил его по ноге. — Надо посмотреть, чтобы ткань к ноге не прилипла.

— Нет, уже не больно. Только липко.

— Вы... ты, наверное, больше испугался, чем обжегся. Все хорошо, слава богу, — Саша вдруг стиснул его ногу и прижался лбом к колену.

— У тебя большой? — сморщившись, спросил Павел.

— Что?

— Просто когда большой, мне больно.

— А-а... вон ты о чем... не больше пятнадцати сантиметров, не бойсь!

Саша вдруг громко рассмеялся.

— Чего ты?

— Я представил, какая была бы паника, если б ты в метро загорелся. Надымил бы, как самовар!

— Ох, и не говори!

В метро Павел рассмотрел этого мальчишку — открытый миру, наивный, приезжий человек. Он и сам был таким когда-то. «Мне дураку его надо было сначала в "Макдональдс" сводить», — подумал он.

Пассажиры метро — серые, уставшие и сонные. У ног корпоративные подарочные пакеты. Только по ним и можно было понять, что сегодня праздник, Новый год. Ехали долго, молча, будто чужие друг другу. Мелькали вместе лицами в черном окне электрички. В своем воображении Павел уже очень далеко уехал с этим мальчиком, в такую счастливую даль, что даже смешно. Какое же все-таки наивное существо — человек, — особенно в своем стремлении к счастью. Саша начал икать, крупно вздрагивая.

— Вспоминает кто-то, — сказал он.

«Ну, кто? Мама, наверное», — подумал Павел.

Хорошо, уютно и как-то спокойно было ехать вместе с ним. Просто ехать, просто встретить Новый год, просто заснуть. Павел с радостью вспомнил примету: с кем встретишь Новый год, с тем и проведешь. Он даже удивился, что едет с кем-то и обрадовался.

«А, может быть, Саша-каршик и есть тот самый, кого я всю жизнь ищу?!»

И ему захотелось встать посреди вагона и станцевать вприсядку — сегодня его бы все, наверное, поняли.

На выходе из метро какая-то нищая старуха протянула Саше руку.

— Извини, мать. Я — студент! — добродушно пошутил он.

— Какой ты студент?! — окрысилась она. — Ты — убийца!

— Не обращай внимания — сумасшедшая, — успокоил его Павел.

Он уже давно заметил, что когда тебе очень хорошо, — обязательно дерьмо случается — или нахамит кто-то, или другой какой-то косяк.

«А это его мечта, наверное, — студент. И матери в Братске врет, скорее всего, что учится здесь на каком-нибудь факультете турбизнеса».

Они уже подошли к подъезду, когда у Саши зазвонил мобильник. Он как-то странно сжал его, затаился и отошел, чтобы не было слышно. Павел стоял под лампочкой и смотрел на его большую, сгорбившуюся фигуру. На секунду ему стало тоскливо и страшно, захотелось вдруг быстро набрать код на домофоне и захлопнуть за собой дверь. Как когда-то в детстве, в деревне, когда бежишь по ночному двору к дому и кажется, что за тобой тянутся щупальца чудовища.

— Девчонка знакомая позвонила с работы. Похоже, влюбилась! — радостно и удивленно сказал Саша. — Звала вместе встречать... Вот же, господа, недоразумение природы.

— Давай, проходи, недоразумение.

В прихожей увалень замер, оробел. И Павел, в несвойственной для себя манере, панибратски хлопнул его по плечу.

— Ну, не кукся. Осваивайся. Ванна, туалет. Вон то полотенце можно взять. Обувь можно не снимать.

— Не, я сниму, ноги сопрели.

— Да не стесняйся ты.

— О! О! — крикнул парень.

— Что такое? — насмешливо спросил Павел.

— Эхо.

Павел закрыл дверь на ключ. Гость странно посмотрел на него.

— А она без ключа не открывается?

— Нет, — буднично ответил Павел, а потом понял и снова усмехнулся. —

Ты что думаешь: дверь закрыл, теперь расчленять тебя буду, как людоед.

— Ну, типо, да.

Саша прошел в большую комнату, смущенно сжался и робко посмотрел на Павла.

— Что такое, Саш?

— У тебя балкон.

— Ну да, само собой. А что?

— Понимаешь, — Саша почти скривился. — Я боюсь балконов.

— Странная фобия. Он закрыт.

— Мне всегда кажется, что оттуда кто-то придет. Это с детства. Потом расскажу.

У Павла екнуло сердце.

— Не вопрос, Сашок. Хочешь, я креслом задвину?

— Задвинь, — махнул он рукой.

Павел понимал Сашу, и ему было так жалко его. А жалость, это же первая ступенька любви. Двигал кресло и морщился от смущения и удовольствия.

— Какая у тебя майка красивая! Тебе идет, — похвалил Саша.

— Это поло, Лакоста.

— Ты богатый, да?

— Да не, ты что! — смутился Павел. — Это уже не тот Рене Лакоста. Марку давно турки перекупили. Ты знаешь, наверное?

— Конечно, знаю, — усмехнулся Саша и прошел на кухню.

Павел нацепил очки, поспешил следом и, как это бывает, до жути знакомые предметы показались ему немного чужими, будто бы он тоже пришел к самому себе в гости. Не знал, с чего начать, стеснялся. Смущался бы еще больше, наверное, но спасало, что квартира съемная, и лично его вещей, его устоявшегося мира, тут не было.

— Ну вот, как-то так, — развел он руками.

— Неплохо! — Саша повернулся к нему.

Какая-то странная ухмылка. Статно выправился. Он вдруг так переменялся, что Павлу захотелось спросить у этого человека: «А где же Саша? Он же только что стоял здесь!»

— Слышь, может, чайку замутим?

— Что? — Павел снял и протер очки.

— Слышь, ты! — парень приблизился к нему.

«Надо же — какой ясный, холодный и твердый взгляд».

— Что?

— Чайку завари. Раскумариться надо.

— Да-да. Ты прав, надо согреться, — Павел начал суетиться. Он видел теперь только фрагментами. Вещи метались, уползали, выпрыгивали из рук. — Эх, Саша, если б ты знал, сколько я уже за свою дурацкую жизнь сменил квартир, сколько разных ключей хранилось в моих карманах и телефонных номеров в голове.

— Слышь, не мельтеши.

— Извини, что это у тебя за тон такой, приказной? Что-то не так?

— Слышь, ты осади! Я чаю попросил, а ты хлебальником торгуешь.

— Конечно. Просто чайник еще не закипел, — Павел все понял. — Он шелкнуть должен... Вот, шелкнул.

Почти ничего не видя в куриной слепоте, на автомате, достал заварку и, недоуменно хмурия брови, стал засыпать ее в чайник.

— Сыпь еще. Че ты сыпешь, как украл. Стопэ, стопэ! Это ж не чай, а дрова!

— Столько?

— Убери на свои корявки! — он твердо и нервно отстранил Павла, высыпал чай прямо в ладонь и начал перетирать. — Кружка есть железная?

— Нет. Вон турку можно взять.

— Турку. Кикоз. Раскумариться хочу чифирком, чтоб «яд» прямо... Ты как?

— Нет-нет, спасибо, пейте сами, — Павел снова протер очки. — Это горько, а у меня сахара нет. Как же я про сахар забыл, растяпа. Может, пойду куплю, здесь, в ночном киоске на углу.

Чувствуя себя мальчишкой в темном дворе, пошел в коридор. Саша нагнал его, схватил за запястье и с удивительной ловкостью вывернул руку так, что Павел согнулся, а ключи упали на пол.

— Ты что, совсем дурак, что ли? — вскрикнул он.

— Обойдемся без сладкого. Подними ключи.

Павел стоял в унижительной позе. Сколько раз его предупреждали, сколько он слышал о страшных убийствах. «Здравствуй, жопа, Новый год, называется!» Парень снова сдавил ему запястье и потянул заломленную руку вверх. Павел вскрикивал, стонал и охал, будто исполняя странную песню. Застыдился и разозлился на себя.

— Не буду. Поднимай сам. Унижаться — не входит в мои понятия об...

— Меня на понятия сажать не надо!

Павел увидел у своего носа длинный тонкий нож.

— Вот они — мои 15 сантиметров, пидармон, длиннее никак, в связи со статьей 6 ФЭЗэ «Об оружии»... Поднял ключи!

Павел встал на колени, очки перекосились. Линолеум намок и скользил под ладонью.

— Знаешь, как называется этот стилет? Укол милосердия, на. Я его тебе сейчас в тухлую вену всажу и до глотки подниму!

Жуткое, хищное лезвие. Из-за сияющих бликов казалось, что оно извивается. Павел закряхтел, прижал свое «нищестанство» и поднял ключи.

— Положи в мой карман. И — вперед, составишь компанию.

На кухне сидели молча. Павел сгорбился, сжал руки меж колен. Саша громко хлопал и чертыхался.

— Фраернулся я — «смолу» запоганил, пить невозможно!

Павел смотрел на это мясистое лицо и мучился — в нем чего-то не доставало. Но чего, чего?

— У меня есть тридцать пять тысяч, — спокойно сказал он. — Квартплата хозяйке.

— Тридцать пять?! Вафлерщику своему будешь загонять. Вы, пидоры, все богатые.

«Сам, главное — сам привел сюда это чудовище!»

— Короче, отгружаешь мне все свое бабло. А я решу, как с тобой дальше быть.

Павел понял, что жить ему осталось недолго. До утра он точно не доживет. Перед ним сидел и пил свой чифир человеческий механизм, биоробот, и спасти Павла ничто уже не могло. Сестру стало жалко. «А, может, это игра такая, садо-мазо типа? — обрадовался он. — Такой талантливый актер не может быть убийцей. Сейчас Саша рассмеется и потреплет по плечу... Нет, конечно. Господи, глупо как».

— Пей! Че не пьешь?

— Я пью. Только горько очень.

— Неужели?

Руки у него были, что называется «покоцанные», подушечки пальцев темные, будто подгоревшие, как у наркоманов, которые ханку готовят.

«Господи, если б я раньше их рассмотрел... Это все близорукость моя!»

Приятная выемка под горлом, свежая кожа, красная с мелкими пупырышками. От выемки мощно выпирали ключицы. Крепкий, тяжелый подбородок. А выше Павел не смел посмотреть. Стыдно было увидеть его голубые глаза, презрительные, насмешливые — какие они еще могут быть у человека в такой ситуации. Повернулся к окну и увидел в отражении, что на лице застыло брезгливое выражение. Он так на все теперь смотрел. Это был женский взгляд, как у слабой, похотливой тетки, доверившейся до потрохов и жестоко обманутой. Павел вздрогнул — так сильно ему захотелось сказать: «Саша, хватит, вы очень талантливо сыграли, но уж очень страшно!»

— Фу-ух, не люблю жесткого прихода...

— Может, заесть чем-нибудь? — Павел спросил автоматически, на долю секунды забыв, что перед ним убийца.

— Кто же чифир заедает?! Я что — кишкоблуд? Музон поставь какой-нибудь. Напрягает тишина.

Павел пожал плечами. Все правильно — таким людям необходим фон, они боятся внутренней тишины. Нашел на шкафу запылившийся пульт, потыкал какие-то кнопки. Так лениво было делать все это, пульт едва не выпал из вялой руки. Магнитофон, между тем, зашелестел и вдруг запел детским голосом:

«Кто с доброй сказкой входит в дом?

Кто с детства каждому знаком?

Кто не ученый, не поэт,

А покори́л весь белый свет?

Кого повсюду узнают?

Скажите, как его зовут?

Бу-ра-ти-но, Бу-ра-ти-но».

— Что за хрень?

— Наверное, диск дочки хозяев. Своей музыки у меня нет, — Павел вдруг засмеялся.

— В чем прикол?

— А я подумал, что мы с тобой могли бы быть в одном пионерлагере и танцевать под эту песню... Ты разве не смотрел этот фильм в детстве?

— Разные, видать, у нас были лагеря.

Павлу и вправду стало весело, наверное, от чифира. Он вдруг почувствовал силу в себе. Вот сейчас соберет энергию и выдохнет этому человеку всю свою правду, свою горечь и боль. Он тронет сердце Саши. Отстоит и спасет себя. Он всегда умел хорошо говорить, особенно, когда волновался.

— Саша, зачем ты сейчас механически злишь себя, накручиваешь. Я ведь ничего плохого тебе не сделал.

— Не толкай порожняк.

— Нет, Саша, я хочу сказать... Ты что думаешь, и все так думают, что я сам такой стал — пидор? Вот, мол-де, жил-жил нормально и вдруг решил стать другим? Извращенец эдакий! Как бы назло себе решил все наоборот делать. Да поймите вы: это бог меня таким сделал или природа изначальная, если угодно. Вот тебя же никак не заставишь и не переделаешь? Что вы все к нам пристали, а? Да я сам себя, и природу свою проклиная! Ведь это не то, что... это даже стыдно на себя со стороны смотреть! Это приговор к одиночеству! Я бы тоже хотел ребенка за ручку в садик вести. Думаешь, нет? Ощущать тепло родной ладошки. Я бы тоже хотел дочери платица и кукол покупать, добрые сказки ей рассказывать. Пойми, что я тоже человек!

— Все? — спокойно перебил его Саша. — Ну вот и хватит пузыри пускать в тазик.

В его странном лице ничего не поменялось, словно бы Павел все это время говорил на иностранном языке.

— Помыться хочу, — буднично продолжал он. — Пошли, дядя, душ примем.

«Чего же все-таки не хватает в его лице?!»

Парень по-хозяйски осматривался. Павел стоял сзади, уныло свесив руки.

— Слышь, озабоченный, ванну надо помыть. Возьми средство и помой.

Павел живо представил себе, как помытая им ванна окрасится его же кровью. Или он будет лежать в ней утопленником.

— Мне без разницы, в какой ванне умирать. Сам помой.

— Помою, мне не в падлу, — парень разделся по пояс, бросил рубаху прямо на голову Павлу, взял первую попавшуюся губку. — Ты грязь, Паша. От таких, как ты, надо очищать страну.

— До боли знакомые речи.

— А знаешь, как менты называют расчлененный труп? Самовар! Приколисты, ну... А сам я, знаешь, как называю голову, замотанную скотчем?

— Как?

— Чупа-чупс, гы!

Убийца болтал и смеялся на чифирной волне, активно драил ванну, потом споласкивал. Павел тоже увлекся этим процессом и на какое-то время забылся. Даже хотел подсказать что-то, как женщина иногда подсказывает мужчине

какую-нибудь смешную глупость по хозяйству. Спина парня приятно залоснилась.

— Раздевайся и залезай, — дружелюбно сказал красиво вспотевший Саша. Мышцы рук и груди тоже увлажнились, приятно и холодно посырели.

— Что?

— Раздевайся и лезь в ванну, потрешь мне спину, — парень без доли смущения стянул с себя брюки и трусы. — Ну!

Павел пожал плечами, разделся.

— Носки тоже сними. Че, в носках будешь? Типа — и носки заодно постираю, да?

Павел залез в ванну к парню, прикрыл низ руками. Тот пустил воду.

— Ох, горячая!

— Ну а кто ж, Паша, холодной моется?

— Но это же кипяток!

— Потри. Вот и под лопаткой, и здесь... Ну, кто ж так трет?!

Саша густо намылил все тело Павла и быстро, энергично натер его спину.

— Че шатаешься? Стой нормально, не выскальзывай! Понял теперь, как надо?

— Понял, — Павел растерянно тер мощную спину.

«Господи, как странно все это. У всех убитых тоже так было? Или это у меня только такой эксклюзив?»

— Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем, — напевал парень. — Тебя я сам к себе ревную. Да просто мы с тобой кайфуем, не вспоминая ни о чем.

Пел, намыливал голову и с наслаждением мочился себе под ноги.

Павел вылез первым, натянул одежду прямо на мокрое тело. Ему было уже все равно. Хотелось быстрее отдалиться от этого человека. Смущала обоюдная нагота, вводила в дурацкое заблуждение. Издевательство какое-то. Очки запотели. Он начал протирать их, замирая и утишая глупый, вздрагивающий член. Ему до слез стало жаль себя. Прошел в большую комнату, взял из серванта деньги. «Что ж я теперь делать-то буду без денег»?! — подумал и усмехнулся этим наивным сожалениям.

Саша выскочил из ванной. Он опасался, как бы хозяин чего не выкинул. Павел прилежно и торжественно протянул ему сложенные купюры. Парень сжал их, и видно было — пальцами проверяет толщину. Затем прошлепал в коридор, взял свою туфлю и спрятал деньги под стельку. Павел от удивления снова снял и начал протирать очки.

— Дай сюда! — Саша переломил очки и скомкал.

Звякнуло выскочившее стекло. Долго катилось куда-то под шифоньер.

— Ну, зря, на самом деле, зачем? — Павел дернул уголком губ. — За что ты так поступаешь со мной?

Вдруг что-то слегка укололо его. Павел согнулся и не поверил своим глазам — из его ляжки торчит стилет.

— Ой! — вскрикнул он.

Сильной боли не было, но Павел страшно скривил лицо, показывая, что ему очень и очень больно. Отскочил от парня. Странно было видеть, как покачивается торчащий из ноги нож.

— Сейчас я поверну его вправо, а потом влево! А дальше, если понравится, по ручке пробью артерию...

И тут на улице загрохотало, и окно расцвело — сюда, на уровень десятого этажа, поднимались пышные салютные снопы.

— С Новым годом тебя, дядя! Стилет верни.

Павел сморщился и осторожно вытянул ножик из ноги. Он был в крови, которая показалась ему черной. Протягивая нож Саше, испытал странное чувство притяжения и какой-то натуральной благодарности этому зверю, словно он ему лечебный укол сделал.

Вопли радости доносились снизу, крики из соседних квартир и топот сверху. На лестничной площадке смеялись и слышно было, как кто-то провел рукой по двери или плечом прислонился.

Саша взял нож и бережно отер его о подол Пашиной рубахи.

«Надо бы рану продезинфицировать! — подумал Павел и снова спохватился — ни к чему это все теперь. — Что же мне делать? Ведь надо же что-то делать?!»

У Саши зазвонил мобильник. Он ушел на кухню и закрыл дверь.

«Кто ему может звонить? Что делать? Кричать? Сегодня бесполезно. Надо же, как неудачно. В окно сигануть? Высоко. Господи, что же делать?!»

Он вспомнил летящего с пятого этажа Хрюху. Вспомнил, как увидел его однажды в туалете голого, забившегося в крайней кабинке, между стеной и унитазом.

«Почему меня никто не любит?» — плакал он.

Павел смотрел на сервант, качал головой. Советская индианка из семидесятых кокетливо подмигивала ему оттуда. Чуть поодаль иконки святых — безучастные, суровые, вечно осуждающие за что-то. На шифоньере старинный нелепый самовар, который Павел так и не успел запрятать куда-нибудь. Снова веселая индианка. Казалось, что своим подмигиванием она хочет ему подсказать что-то или издевается, типа: «Ну что, мудака, классно повеселился?»

«И спрятаться-то негде».

Сел на диван. Брючина прилипала к ноге. Вспотел, а во рту пересохло. Подташнивало. Тени нависали над ним, совсем как в доме у бабушки с дедушкой, когда мама оставляла его на них.

Павел не боялся смерти. У него уже бывало такое, что легче было бы умереть, чем ехать лечить простатит или удалять зуб мудрости. Апатия ко всему. Смерть освободила бы его от бессмысленной муки такой вот одинокой жизни. Но этот отморозок, похоже, будет пытаться — вся новогодняя ночь впереди. Павел отчетливо, до спазмов в желудке, представил, как Саша залепит ему скотчем рот и начнет... И совершенно напрасно — все что было, он уже отдал. «Правда, отдал! — кивнул он кому-то. — А, может быть, есть еще средства, про которые я просто не знаю». Он стал вспоминать, нет ли у него еще каких-то денег, и не мог остановить себя в этом навязчивом бреде. Воображаемый поиск перебивался газетными снимками его окровавленного, распростертого тела. Ему вдруг захотелось покончить с собой прямо сейчас — быстро и безболезненно.

— Так! Но что же я скажу хозяйке?! — снова обратился он в пустоту. — Да ничего ты ей уже не скажешь, Павел!

«Господи, бредить уже начал... Господи, мало ты мучил меня, так вот еще что решил напоследок устроить!»

И тут он увидел, как Саша, стоя в коридоре, любуется своим обнаженным торсом. Смотрит в зеркало: и то живот подтянет, то руку в локте сожмет... а морда тупая, самодовольная.

— Эй! А у тебя че, и выпить, что ли нет ничего?

«Какая отвратительная рожа, господи!»

— Я не пью, — виновато улыбнулся Паша. — Но там в шкафу, за подсолнечным маслом, есть коньяк.

— Ни разу, что ль, не пил?

— Пил. Мне плохо становится. Дрожать начинаю.

— Каких только тварей нет на земле.

«А ведь он, наверное, и за червяка меня не считает».

Саша пошел на кухню и снова на секунду задержался перед зеркалом, набычился, сделал лицо еще тупее, чем оно есть. И видно было, что именно это — самое тупое выражение — нравится ему больше всего.

— А как, бывает, выпить хорошо. Особенно на природе, с шашлычком... — Он сел на кресло и закинул ногу на ногу. — Я на зоне в углежогам работал, прикинь. Мы уголь для шашлыков делали. Ну, который у вас в супермаркетах продается. Слышь?

— Да-да, я слушаю.

— Однажды фуфела одного прямо в яме и сожгли... Тебе черные косточки в этих бумажных пакетах ни разу не попадались? Не обращал внимания?

Его лицо было именно вылеплено из мяса. Павел однажды видел у знакомой девушки подправленное пластическим хирургом ухо — было явно, что бога подправлял человек: край был подлеплен как у деревенского пельменя. И у Саши было такое же, грубо слепленное лицо.

— Саша, я отдал вам все свои сбережения. Больше у меня ничего нет. Уходите, пожалуйста.

— Повремени. Я сам решу! Да и метро еще не работает! — засмеялся он. — А потом, ты мой фейс срисовал. Это первое. А самое главное, петушиная голова, ты меня зашкварил, и не дай бог порядочный люд прознает об этом!

— Господи, сколько пафоса.

— Давай-ка, дядя, лежанку раскидай мне. Кемарну чуток, а ты рядышком поскучай.

Павел встал и тут же вскрикнул от боли, — штанина прилипла к ране. Он едва не заплакал, настолько ему все было неинтересно. Такая лень в мышцах, ломота в костях, что упал бы в угол и заснул. Кое-как разложил старый советский диван, который он сам никогда не раскладывал.

Саша лег, вытянулся и даже застонал от удовольствия. Вдруг закричал, поднялся, ушел в коридор и вернулся со скотчем. Паша отскочил к стене.

— Давай грабли, дядя! Гранки вперед!.. Я нежно, — парень с хозяйской заботливостью туго запеленал протянутые Павлом руки. А потом долго прима- тывал их к трубе батареи отопления. — Вот так! Видишь, какой я гуманный.

Видно было, что Саша очень доволен своей сообразительностью. Лег на диван, закинул руки за голову.

— Слышь, а у пидоров дети бывают?

— У настоящих, думаю, не бывает.

— Значит, тот не настоящий был. Втирал мне, что у него дети. Знаешь, не убивай, типа, у меня де-ети. Какие на, дети?! Я у него потом в морозилке лям нашел. Прикидай! Полдня бумажки оттаивали и мясом пахли, — он сладко зевнул, до треска в челюсти. — А в «МК» потом написали, что гомосексуалиста убили на почве ревности. По приколу, знаешь, в газете про себя читать.

Саша говорил с располагающей, умиротворенной интонацией. И у Павла возникло чувство, что это такие разговоры, которые после секса бывают; что именно его-то Саша и не убьет, что он проникся к нему. И Паше захотелось рассказать какую-то свою веселую историю.

Догромыхивали салюты по округе, слышался веселый, дурашливый крик какого-то пьяного человека. Павел примостился на полу. Пахло пылью и старым деревом плинтуса. Подложил под голову связанные, скрипящие руки и вдруг понял, что очень хочет жить, что зря он так пренебрежительно относился к самому себе. Хотя бы еще годик, ну, два. Пять — в идеале.

— Кайф, в натуре! — с сонным наслаждением протянул парень и заскрипел диваном, поворачиваясь на другой бок. — Спокойной ночи, прекрасный незнакомец!

Наверное, жизнь казалась ему особенно прекрасной потому, что рядом страдал другой человек, такой же, как он, и что человек этот умрет раньше.

«Господи, спаси и сохрани Вику, сестренку мою. Ну и меня, может быть...»

Светало. Угол шифоньера был не виден, но бок самовара сиял с деревенским самодовольством. Кто-то тихо разговаривал на кухне. Павел улыбнулся. Он давно заметил, что рассвет дарит радость. Особенно это чувствуешь, если всю ночь не спал... И вот, где-то между пятью и шестью утра, к человеку, какой бы уставший он ни был, приходит радость неожиданная, беспричинная. Он потянулся, почувствовал резкую боль в ноге и вспомнил все. Затошнило. Хорошо, что не ел ничего.

«Нет, не может быть! Я жив, сплю или мертв уже? Какой ужасный до реальности сон!»

— Спит, прикидай! — снова услышал голос Саши. — Похоже, нет ничего у этого обсоска...

Рукам было свободно, — они вспотели, скотч отсырел и утратил свою липкость. Растянувшаяся пластиковая шкурка болталась на запястьях. Павел легко снял ее.

«Не сон! Этого не может быть, господи! Этого не может быть! У-у-у... Когда же кончится этот кошмар?!»

— Везде посмотрел. Нет. Как у корейца, все в подушке. Всего пятьсот грина и — голяк. Втирает, типа, хозяйке за квартиру отдал. Такой вот обломись на праздничек...

«Какие пятьсот, скотина?! Тысячу грина!» — устало возмутился Павел.

Его поразило, что такой здоровяк оказался мелким обманщиком. И эта мелкая сошка, фуфел этот, как он сам говорит, всю ночь над ним измывался. Да и не зэк он, ни фига! У них лица другие, сухие и жесткие. Наблатыкался щенок и пугает лохов! Да что ж это такое, в натуре?! Как так получилось, что он сковал его волю? Кто он такой? Психолог, физиогномист, диктатор? Отчего он так уверен, что здесь ему не окажут ни малейшего сопротивления? Только потому, что я гомосексуалист? Даже если я опущенный — здесь не лагерь! Здесь все равны! Нет, так не пойдет! Забрал последние деньги. А родная сестра спит с богатым фермером за полмешка картошки. Павел ясно представил себе, как бабушка гневно стучит своим бадиком в пол. «Твой дед был комендантом Кремля, Павел! — сказала бы она. — Я таскала на себе раненных красавцев-испанцев. А ты поддался какому-то негодяю, мрази последней?! Ты — наша последняя веточка. Да я бы ему глотку перегрызла!»

Все его родовое дерево зашевелилось. Павел встал и еще не очень хорошо понимая, что будет делать, схватил за ножку табурет с тяжелой круглой сидухой.

«Сколько беззащитных и без вины виноватых гомосексуалистов замучил этот гондон?!»

— Давай, короче... Валю его — и «ноги», — с кем-то договорился Саша и заскрипел столом на кухне.

— Давай, короче! — тихо сказал Павел, задрожал от переполнявшей его силы, и занес над головой табурет.

Саша так и замер от неожиданности, выставив перед собой руку, зачем-то обмотанную полотенцем. Павел метил в голову, но парень успел отклониться, и табурет обрушился ему на руку.

— Получи, сукаблять! — заорал Павел.

Он заметил, как в глазах парня мелькнул страх. И в тот же миг Паша отлетел и ударился спиной о шифоньер. Саша схватил его за горло и стал бить головой о полированную стенку. В груди что-то рвалось и хрюкало. Павел непроизвольно дернул коленом... потом уже вскинул с целенаправленным возмущением и попал куда-то. Саша охнул, согнулся, но рук не разжал, и всей своей массой потянул его на пол, перекатился и начал душить. Павел сдерживал мощные руки, как если бы пытался удержать бегущую резиновую ленту эскалатора. Запыхтел, напрягся из последних сил, надулся и уже хотел закричать, как, наверное, каждое живое существо кричит перед смертью. И в эту секунду он понял, что вместе с криком и плачем из него выдохнется оставшееся живое, и не будет уже ничего. Сдержал себя, яростно дернул головой, пытаясь освободиться от удушающего железа на глотке. Потом попробовал ударить его в спину коленями, но лишь шифоньер толкнул ногами. Хотел еще раз, напоследок. Но тут Саша боднул его лбом в переносицу, и в глазах потемнело...

Первое, что увидел Павел, был самовар, — он почти касался своим краником его носа. Паша с трудом выбрался из-под странно обездвиженной туши, оттолкнулся от нее ногами. Отер мокрое лицо, горло и увидел кровь на своих ладонях. Мощный, светловолосый затылок Саши тоже был в красных пятнах.

«Так это же самовар на него упал! — Павел засмеялся и закашлялся. — Когда я шифоньер толкнул напоследок».

Он дернул парня за ворот майки, но тот не подавал признаков жизни.

— Я его убил, что ли? Нет, правда...

На подгибающихся и трясущихся ногах Павел вышел в коридор и достал свой мобильник из нагрудного кармана Сашиной куртки, — тот еще с вечера его туда упрятал. Включил, стал ждать, когда тот загрузится, и вдруг понял, что не помнит номера «скорой».

— Не убивай, братишка... Ээ, м-мужчина, не вызывайте милицию. Извините. Я сам уйду.

Павел вздрогнул и выронил телефон.

— Сам... без кипеша.

Саша уже поднялся. Глаза мутные и удивленные, будто его резко разбудили. На лице подобие виноватой улыбки.

Павла поразило, что этот человек, находясь практически в бессознательном

состоянии, снова «включил» того наивного мальчика с бульвара молодых дарований.

Саша сделал несколько шагов, но колени дрогнули — одно подогнулось, а другое выгнулось назад как у новорожденного теленка. Он снова упал, прямо лицом на ручку кресла.

Павел сморщился, представив, как это должно быть больно. Опустился на пол и какое-то время сидел в оцепенении. Потом подполз к парню и вынул из тугого кармана его джинсов ключи. Снова замер, забыв, что хотел. Распахнул настежь двери, схватил свою куртку и выскочил на площадку. Кричать было бесполезно — дом спал мертвым сном. Постоял. Вернулся, схватил парня за толстую ногу и поволок его на лестничную площадку. Передохнул, затем стащил тело к мусоропроводу. По всему коридору и лестнице тянулся кровавый след. Поднялся к себе. Казалось, что в квартире еще кто-то оставался. Увидев чужую куртку, вынес ее и бросил на парня. У того были мокрые джинсы, из-под него расползалась лужа, — обмочился.

«Значит — жив, козел!»

Павел закрыл за собой на все замки дверь. Сел в прихожей, прижавшись спиной к стене. Казалось, что убийцы и насильники всего города собрались в подъезде и скоро постучат. Коленка тряслась так, что пришлось прижать ее ладонью. Вспомнил очумелые, бараньи Сашины глаза, рассмеялся и тут же спохватился: «А все-таки, Паша, надо вызвать ментов!»

Поднялся, на ощупь нашел на полу среди обуви свой телефон и набрал две цифры.

— Алло, милиция?

— «Скорая»!.. Что молчите? Пробка от шампанского в глаз попала? — устало и насмешливо спросили на том конце.

— Извините, а телефон милиции не подскажете?

— Ноль два.

В «милиции» долго не брали. Павел даже проверил: те ли цифры он набрал.

— Я поймал убийцу гомосексуалистов! — выкрикнул он диспетчеру.

— Уже интересно. А вы кто?

— Я?

— Гомосексуалист?

— Какое это имеет значение?

— Так! Кто вы, что случилось, откуда звоните?.. — начал диспетчер, и связь прервалась.

Телефон вздрогнул, пикнул два раза напоследок.

«Вот эти мобильные, всегда так, в натуре! Надо соседей разбудить и связать этого человека!» — решил Павел.

Но когда он вышел, у мусоропровода уже никого не было.

«Господи, какой же он все-таки физически крепкий! Реально — Терминатор! — изумился Павел. — И я его это... того!»

Ему захотелось позвонить всем знакомым и рассказать, какой кошмар случился с ним на Новый год, и как чудесно он спасся. Павел сжимал умерший телефон и взмахивал руками, чтобы хоть немного освободиться от переполнявшей его радостной энергии. И тут он вспомнил про свои деньги, которые Саша спрятал под стельку туфли. Но дурацких тупоносых туфель в прихожей не было. Видимо, перед тем, как убивать его, тот обулся.

«Господи, я его сам в этой обуви вытащил! Все-таки он "кинул" меня!»

Павел еле дождался лифта и выбежал во двор. Пусто. Урны, забытые бутылками шампанского. Сугробы, утыканные трубками от петард.

«Да и черт с этими деньгами!» — радостно подумал Павел.

— Ты прав, штука грина за жизнь — копейки! — сказал он сам себе и только тут заметил, что стоит в одних носках.

Вернулся в квартиру. Обошел пустые комнаты. Взглянул на самовар, и его едва не стошнило. Дышал часто. Если бы не эта деревенская громадина, если бы не эта невероятная и смешная случайность, все вышло бы далеко не так весело. Павел представил себя: в каком положении он лежал бы у шифоньера. Саша наверняка снял бы с него штаны и забил в зад какую-нибудь бутылку, как это у них принято поступать с гомиками. Какая страшная была бы картина. Эти жуткие фотографии милицейских протоколов...

Паша заметил свое полотенце на полу. В него был завернут стилет.

«Видимо, специально заворачивают в материю. Чтоб не видно или чтоб в крови не запачкаться?»

Этот «укол милосердия» казался ему теперь обычным сувенирным ножом для разрезания книжных страниц, он видел почти такой же кортик в кабинете одного начальника. Отнес полотенце в ванную, мелькнуло в зеркале бледное лицо — виски, щеки и горло в засохшей крови. Снова вышел и недоверчиво посмотрел на самовар. Паша с радостью отодвинул кресло и вышел на балкон. Крупными, лохматыми хлопьями валил снег. Снежинки кололи руки и лицо. В груди Павла затеплилось чувство, что бог любит его. Он замер, боясь омрачить радость, стыдясь облекать надежду в пафосные слова. И совпавшее имя Саша, и Братск, и странно загоревшийся карман, и Новый год, и «укол милосердия», и самовар — все вдруг сложилось на долю секунды в добрую ухмылку бога. И показалось, что в занавешенном снегом пространстве мелькнул в три дэ формате гигантский лик.

«Нет, самовар — не случайность, — подумал он. — Это божественная случайность!»

Павел спокойно умылся. Кое-как вставил линзы и с удивлением вперился в свое отражение — голова была седая.

«Бесплатным мелированием покрылся».

— А что? Солидно, мужественно, нафиг! — похвалил сам себя.

Павел не мог унять дрожь и ликование в груди. Он совсем растерялся и не знал, что дальше делать в квартире и вообще — по жизни. Ему казалось, что той, прежней, жизни у него уже не будет. Саша убил в нем того безнадёжного человека.

«Может, я и вправду убит? И не было никакого самовара. Сейчас явятся менты, соседи, и я буду бесплотно биться между ними. Приколы пост-сознания».

Сел, налил себе коньяку. Выпил, закурил, удивляясь новым мыслям и мечтам: «Денег перезайму. Не вопрос. Сестру вызову сюда. Работу найдет. Вместе будем квартиру снимать. Возьмем ребенка из детдома. И последняя веточка пустит листочек».

Дрожи от выпитого не было. Стресс, наверное, так действовал. Подождал, когда телефон хоть немного зарядится и дрожащими в эйфории пальцами набрал смс:

«С Новым годом, сестра! Приезжай!»

Из глубины чужой распотрошенной квартиры Павел задумчиво смотрел на величественный снег нового года.

Жизнь почему-то продолжалась.

Сергей

Сергей так долго смотрел на снегопад, что снежинки почернели. Вблизи они падали быстро, отрывисто, а вдали торжественно парили. Вдруг мохнатое коловращение замерло, и перед его изумленным взором протянулись анфилады, разверзлись залы, затрепетали снежные язычки свечей, выстроились слуги в ливреях и завертелись дамы, разряженные в пух и прах. Они долго не отпускали его взгляд, приглашая, углубляясь в занавешенное пространство до крыши высотки, и возвращались, выступали перед ним в три дэ формате, поводили рукой у лица.

С высоты падающих снежинок Сергей видел себя маленькой одинокой фигурой в сугробах, и душа его наполнялась досадой и таким детским отчаянием, что хотелось засмеяться. Вот уже некоторые сутки космос обрушивал на этот пятачок земли ужас и боль. Небо топталось по голове, холодной коростой давило плечи. И было странно, что эта детская радость, эта пуховая невесомость железом стискивала шею, ломала кости, стирала до крови ладони.

Осенью Сергей Тищенко подписался на работу дворником в Москве. Весь октябрь они убирали листья, а с конца ноября на город обрушился снег. Их бросали на разные участки, и они вставали в пять утра, чтобы успеть расчистить «магистральные» пути и козырьки крыш. А снег все шел и шел. С утра вспыхивала, будто нехотя, метель, и валило до ночи, всю ночь, все дни. Даже не верилось, что сугробы растают с весной. Возвращались к девяти, а то и позже. Ботинки снимали вместе с носками, — так крепко они примерзали к подошвам; а сброшенные рукавицы стеклянно сжимали осклизлую, полированную черенком пустоту и не расправлялись на горячей батарее. Сил оставалось лишь помыть ноги и бухнуться на свою раскладушку. Мелитопольские ребята говорили, что прошлая зима в Москве была бесснежная, а деньги те же — триста долларов в месяц, без учета штрафов. А вот нашим всегда не везет. В их бригаде восемь человек, все земляки, но вели себя не по-товарищески, с завистливыми и злыми насмешками друг над другом, недобрыми подставами. С ними завербовался один пожилой и физически слабый пенсионер, но скидок на его возраст никто не делал, наоборот — укоряли и посылали на тяжелые «леваки», строго следя, чтобы работал наравне с молодыми, словно бы проверяя на прочность. Старик держался на последнем дыхании и все поминал недобрым словом кума, который подбил его поехать на эти заработки в Москву.

Сергея и старика часто отправляли на автостоянку. Она не входила в обязательную территорию их бригады, — это была личная договоренность Комбата с владельцами стоянки, и все деньги он, видимо, забирал себе. Эта работа считалась наказанием: двигать лопатой между машинами приходилось с превеликой осторожностью — царапнешь нечаянно сияющий бок, и — пропал трехмесячный заработок! Вот и двигались, как на минном поле. А владельцы

все — ВИПы, лица у всех — кирпичом. Сергей уже многих узнавал. Они вежливо здоровались, говорили что-то незначашее. Вежливость их была холодной и равнодушной. Лишь на праздники они проявляли человечность, но, пьяная и наигранная, она отталкивала сильнее холодного пренебрежения. Вроде бы, люди одной страны, а другие — чужие и богатые до оторопи. У некоторых было по две-три машины на разные нужды и представительские функции.

— Сынок, сколько ж стоит такая краля? — старик показывал на спортивный автомобиль.

— Тысяч тридцать баксов.

— Это сколько ж хривень?

Сергей сделал пересчет. Казалось, старик не удивился. Опершись на лопату, он задумчиво смотрел сквозь иномарку и жевал губами.

— Ни за что бы не поехал сюда. Кум уговорил: че ты будешь за жинкой сидеть, мол, шишот долларов ни за фу заработаешь, разомнешься. Размялся — лопата что та рельса!

— Дед, иди к ребятам в будку, погрейся, — предложил Сергей.

— Та ладно! — старик испуганно помотал головой и схватился за лопату.

Он боялся, что Сергей расскажет бригадиру, мол, дед «гасился» в будке охранников, и его за это оштрафуют. Некоторые ребята так и делали, выслуживаясь перед Комбатом.

— Ну, тогда давай перекурим, старый.

— А дома тэпло. По хозяйству усе нормально. Ни разу еще снега не было. Моя написала! Новый год без снега будем встречать. А куму скажу на брудерштах пару ласковых...

Сергей глянул на размечтавшегося деда и едва не рассмеялся. Малахай, большая куртка с отвисшими рукавами, гигантские башмаки — дед был похож на беспризорника. Старик тоже хихикнул, думая, что Сергея забавляет злая ложь его родственника.

— Подметаю, говорит, с утра. И то пятьсот рублей на асфальте, то тыща, особенно по выходным. А то ж и доллары! Так и собрал за три месяца восемнадцать тысяч, — дед беззубо рассмеялся. — Ну, скажу, ты и балаболка, кум! Ну, балаболка...

— Мне такую же туфту прогоняли, дед. А может, нам просто с районом не повезло?

В шесть пришел Миха Комбат. В одежде и поведении он подражал стилю московских мужчин-руководителей. Был деловит, энергичен и все пожимал локтем, проверяя тугую борсету под мышкой. Было что-то от наглой собаки в его поведении. Весело поговорил с охранниками, кому-то звонил, брезгливо осматривая очищенные участки, а потом забрал деда на другой фронт работы. Сергей часто и коротко вздыхал и все проговаривал про себя обиженные вопросы: а как же он справится один, там, где вся бригада работала час?.. пришлют ли ему подмогу или нет? Но так и не решался спросить. Миха, проходя, хлопнул его по плечу, а он только усмехнулся с бравым видом. Сергей заискивал перед ним, удивляясь этому и презирая самого себя. Три месяца назад Комбат встречал их бригаду на вокзале, а у Сергея был кураж — он неожиданно для самого себя обыграл всех в карты, слегка ощущал себя фартовым, старшим, типа — и потому за всех разом задавал ему всякие вопросы насчет будущей

работы и жилья. Еще и с «живчиком» перебрал, был насмешлив, даже ироничен. Короче, разволновался, не уследил, и вот все его смешило.

— В центре, говоришь?

— В центре.

— А штрафуют часто?

— В соответствии с поведением.

— Ну, а помыться там можно хоть, в подвале этом?

— Можно, можно...

— Хорошо... Комбат, а как же мы все-таки без паспортов?

— Да кому вы там нужны?

— Это ладно, ну а деньги как, поровну или по-братски?..

На этот вопрос Комбат вдруг обернулся, переложил борсетулю и ударил его в лицо... Вместе со всеми сидел Сергей на вокзале, между газетным киоском и кофейным автоматом, прижимал детский Ванькин платок к глазу и с нескрываемым ужасом смотрел на прохожих. Он понимал, что бить было не обязательно, но этим резким и жестоким поступком Миха Комбат ответил на все вопросы. И все это поняли — сидели, нахохлившись, как воробьи, и молчали.

Сергей долго махал лопатой. Спина его потела, охлаждалась, снова потела, и майка липла, как клеенка.

— А прикольный снег! — сказала кому-то девчонка на дорожке за оградой. — На айфоне как цветы получается.

— Прикольный! — шептал Сергей. — Чтоб вы все сдохли...

Снег посинел, а потом пожелтел под светом фонарей. Сугробы выросли выше сетчатой ограды и сползали назад. Ему казалось, что уже не он двигает лопатой, а она им. С трудом разжимал руки, разминал, переходил к другому ряду, и ботинки громыхали, как булыжники. На проспекте шумел поток машин, и гул этот напоминал море.

Только ночью Сергей закончил очищать пожарный выезд. Лопата тянула к земле, словно намагниченная, и он толкнул ее за микроавтобус, который давно никто не забирал. Лопата покачалась и вывалилась назад, но сил даже просто махнуть на нее уже не было. Мышцы болели так, что дышать тяжело. Перешел дорогу, оглянулся на будку, и вдруг, прямо на его глазах, в длинный раструб прожектора крупными хлопьями ворвался снег. Гладко очищенная им поверхность махрилась и пухла на глазах. Сергей смотрел с детским негодованием и отмахивался от кошмарного видения, а потом раскинул руки, как это делают безмерно счастливые люди, и хотел выкрикнуть проклятья, но только хрип вырвался из груди. На лице блестели капли пота и растаявших снежинок.

— Боже, помоги! — выкрикнул он тонко и жалобно. — Дай мне сил!

Снег колот запястья мокрыми уколами. В снежном море колыхались огни ночных автомобилей.

В конце декабря заехала новая бригада. Ребята еще не знали, что их ждет. Они были радостно и тревожно возбуждены, как все новенькие, как все приезжие в большом городе, и снисходительно подшучивали над стариком. «Если уж пенсионер справился, то мы и подавно», — думали они.

— Дед, ты, наверно, не снег чистил, а все больше песок с трухой?

— Какой песок?

— Который с тебя сыпется.

Сергею казалось, что он отслужил в армии или отсидел. Ему было так же тревожно перед открывшейся свободой.

— Веник принесите, надо подмести за батей.

— Какой веник? Пылесос!

— Что пристали? Зато не скользко. Да, старый?

— Старый не старый, а восемнадцать тыщ отправил жинке, дармовых.

— Как это? — насторожились шутники.

— А по выходным подметаешь возле ресторанов и — то пятачок под ногами, то тыща, а то и доллары, так и собрал... А уж сигарет сколько валяется, почти полные пачки, тут тебе и Парламент, и Фог, и Шмог, кури не хочу. Они ж все выходят пьяные, карманы выворачивают, бабки немереные, такси ловят...

Ребята корыстно замолчали. Сергей усмехался и все проверял карманы с билетом и деньгами. Кроме девяти сто долларовых купюр, у него скопилось еще полторы тысячи рублей, которые ему давала забавная тетка за то, что счищал снег с ее старенького «Ягуара». Можно будет купить пива, еды в дорогу, носки там всякие и, наверное, работа для Ваньки. Миха раздал паспорта и предупредил, что до вокзала лучше добираться по одному. Большие шоблы пакует милиция, потрошит сумки, знает, что работяги едут на праздники, везут бабло домой. Сергей боялся Москвы, предстоящий путь казался непреодолимым, опасным без защищающих его лопаты и оранжевой жилетки. Он слышал, что на окраинах есть огромные супермаркеты, где можно дешево купить все, что угодно и даже то, о чем ты никогда в жизни не знал. Но решил ехать сразу на вокзал, задолго до отправления поезда — так надежнее и вернее, а подарки можно и там посмотреть в маленьких киосках. Оглядел подвальную комнату, свою костлявую раскладушку, на которой уже лежала чужая куртка. Ему показалось сейчас, что он и дня бы здесь не протянул. Закинул ремень тяжелой сумки на плечо и пошел.

Снега не было второй день. Это вызывало досаду, как зуб, переставший болеть перед дверью стоматолога. Всюду признаки наступающего праздника: в журнальном блеске киосков, в сияющих и переливающихся всеми огнями витринах, в лицах людей, в воздухе. Всюду мерещился запах елки, мандаринов, шоколада и еще чего-то вкусного. И машины проносились радостно, сигналили с торжественным значением. Сергей подумал, что уже совсем скоро увидит родных. Душа его вздрогнула, затуманились глаза, сердце и все тело стиснули волны нежности и любви. А некоторые картинки он гнал от себя, не давая им разворачиваться до времени. Купил сигареты. Пачка показалась особенно яркой, праздничной, а сигарета вкуснее, чем обычно. Он курил и с любопытной, доброжелательной улыбкой поглядывал на снующих московских людей. Ему было радостно, что он выстоял, заработал денег и как настоящий глава семьи привезет их домой, а потом еще завербует куда-нибудь, и так, тяжело и радостно, будет длиться жизнь. И радость была бы неполной, если бы мышцы не болели. Хотелось рассказать кому-нибудь об этом, шутить и поздравлять всех, кто, проходя, краем глаза, глянул на него. Он вздыхал, смотрел в небо и морщился, — настолько привык, что сверху постоянно сыплется мокрое и колючее.

До вокзала оставался один подземный переход, где продавали конфеты и детские игрушки, Сергей запомнил его. В этом переходе его и подкараулил толстый наглый мент. И откуда вынырнул?! На мента совершенно не похожий,

будто переоделся в форму просто. Он энергично и важно представился. Сергей не расслышал. Попросил документы. И даже не взглянув, вдруг спросил быстро, отрывисто: «Откуда приехал»? Будто ждал, что Сергей растеряется. А Сергей уже и так растерялся. Комбат предупреждал, что если тормознут, нужно говорить, мол, нас депутат такой-то крышует. Фамилию Сергей, конечно, забыл. Да и ни к чему помнить, и так понятно, что это порожняк.

Мент что-то говорил, Сергей ничего не слышал, но понимал: тот зацепился, увидел билет, знает время отправления поезда и кайфует от своей власти. А потом он еще что-то ловко и даже дружелюбно сказал про деньги, мол, и вы свободны, а то на поезд опоздаете. Сергей с отчаянием посмотрел на своего мучителя, потом обернулся, будто надеясь, что его кто-то спасет. Но люди неслись потоком, юрко огибали их и прятали глаза. Только кавказец у цветочного киоска посматривал с насмешливым участием.

— Вы нарушаете установленные законом правила пребывания, — мент втиснул его паспорт в нагрудный карман и что-то еще такое сказал.

— Что?

— Пройдемте!

Сергею хотелось бухнуться на колени, взмолиться, рассказать о своей беде, о больном ребенке, но вместо этого он вдруг дернул локтем и закричал:

— Да не дам я тебе денег! Понял?! Ты! — рот сам выкрикнул эти слова. — Я за них три месяца пырлял! А ты... ты, — вся накопившаяся за это время обида рвалась наружу, и он едва уже сдерживал себя. — Ты! Мусор поганый!

Но милиционер все с тем же застывшим на лице подобием миролюбивой улыбки подталкивал его, и было ясно, что он отомстит ему за это, там, где никто не увидит.

Как привязанный, тащился Сергей вслед за своим паспортом по бетонным подземным коридорам. Он так долго этого боялся, что теперь, когда страшное уже произошло, успокоился, и даже обрадовался. Хотелось поскорее прийти, будто там могло что-то разрешиться. Москвичи, проходящие мимо, смотрели на него с испугом и презрением. Ему же мнилась какая-то собственная значимость и важность.

Пришли.

— Посиди в обезьяннике, и немного отдупись, — пэпээсник швырнул его за решетку.

Сергей вздохнул. Почему он, сделавший столько добра людям, сидит в этой тесной зарешеченной клетушке? В чем его вина?! Что случилось в мире, что случилось с ним, если он вдруг начал вести себя как услужливый бесправный раб? И как это незаметно произошло, что он согласился с этим положением? Как много он хотел сказать этому человеку, ровеснику своему, наверное, который вдруг взял да и засадил его за решетку. «Мы же люди... брат... я же деньги эти не украл... трудно жить... дети!» — вспыхивало в голове. Но стоило взглянуть на этого коротко стриженного, плотного человека и желание говорить пропадало. В кино актеры с такой внешностью всегда играют каптерщиков или продажных прапоров, и установки по жизни у них непрошибаемые: «Озябни, сынок. У всех проблемы — кто-то их решает, а кто-то нет... Судьба у тебя такой!»

— Напрасно, Сергей Викторович, вы проявляете такое упорство, — сказал мент.

Иногда деревянная, исписанная скамья, пол и стены вибрировали — где-то в глубине проходило метро.

— Ну, так что, Сергей Викторович? — давил мент. — Дежурство у меня заканчивается через час, а поезд ваш через полчаса.

В привычной растерянности начав вычисления: сколько же у него останется, если дать... Сергей замер, глядя на своего мучителя. «Не хватит на работа... Да какой там робот»? И вдруг спохватился, что независимо от желания, смотрит на него с презрением, яростью и мучением. «Ну, подумаешь, сдам билеты, — успокаивал он себя. — Ну, завтра поеду. Ну что такого?»

— Ну, да ладно — колхоз — дело добровольное, — мент вылез из-за стола с дымящейся чашкой, подошел к решетке. — Ну, ты в натуре, упертый хохол. Короче, Сережа, выбор у тебя не велик. Либо здесь проснуться, либо с любимой под елкой.

В его голосе вдруг появилась простая и дружелюбная интонация. Он поставил чашку на жестяной козырек и все никак не мог вскрыть пакетик с порошком, наверное, от простуды. Пыхтел, мучился.

— Помоги, — он протянул пакетик Сергею. — Скользит... Пальцы, что ли, жирные?

Сергей дернулся на автомате, замер, разозлившись на себя, но все-таки пакетик взял. Осмотрел, понял, как действовать, и легко, с радостной услужливостью вскрыл. Мент взял пакетик осторожно за уголок, в лице появились рачительность и торжество. Он прихлебнул из чашки, задумчиво посмотрел на Сергея и ушел за стеклянную перегородку. И уже оттуда помахал рукой: «Так и запишем — при досмотре найден пакетик с белым веществом. Предположительно, героин».

— Да будь же ты мужиком! — крикнул Сергей и едва сдержался, чтоб снова не выругаться.

— Пасть закрой! А в тюрьме посмотрят, кто ты — мужик или баба!

«Мои пальчики на пакетике остались»! В голове Сергея, как в кино, пролетели сцены суда, глаза жены и сына, зона... Много чего пролетело. Как много бы он дал сейчас, чтоб время вспять повернуть, чтоб не спускаться в этот переход с игрушками. В голове не могло уложиться, что вот так просто, ни за что ни про что, жизнь может под откос полететь. И все из-за этой мрази в погонах. Было слышно, как мент по-хозяйски роется в сумке, шуршит обертками конфет, причмокивает.

«Бог их накажет», — говорил отец про своих обидчиков.

«Накажет, жди»! — всегда отвечала мать.

Какие же мелкие были у отца обиды и обидчики!

Снова дрожал пол, вибрировали доски скамьи, и Сергей представлял себе яркий вагон метро, счастливых людей, везущих домой новогодние подарки.

— Слышь, у меня смена заканчивается. Как вопрос собираешься закрыть?

— Как я могу закрыть вопрос? Что конкретно вы хотите от меня?

Мент смотрел с изумлением. Сергей даже хмыкнул.

— Короче, я смотрю, ты вообще не врубаешься, в какой рукомошник попал, — мент наигранно кашлянул. — Вот сейчас придет мой братуха-сменщик, разговор у него с тобой будет короткий.

— Да пошел ты, — прошептал Сергей.

Сергею было страшно, что сейчас придет новый мучитель, тиран похлеще этого.

Иногда по ногам тянуло сквозняком, видимо открывали двери. Дрожал пол. Очень хотелось пить.

— Здравия жела! — сказал за перегородкой мент. Голос его заискивал.

— Ты чей сидор здесь потрошишь?! — раздраженно спросил вошедший.

— Вешдок!

— А где протокол задержания? Протокол досмотра? Опись изъятых вещей?

Молчание. Сергей встал и увидел, как мент что-то шепчет и показывает пальцем в его сторону.

— Не слышу, — громко и неприязненно сказал вошедший.

— Да иди ты! — с шутилой женской сердитостью обиделся мент.

Снова потянуло сквозняком. Сергей пересел в другой уголок. Тишина. Только изредка шелест бумаги, позвякивание ложечки.

— Эй, нарик! — раздался голос вошедшего из-за перегородки. — Наркоша, слышь?!

Сергей вздрогнул и промолчал.

— Сергей Викторович!

— Да.

— С какой целью были в Масквабаде?

— Дворником работал.

— А раньше где работал?

— Работал в Тюмени, на приборах сидел по перекачке нефти.

— Круто, чувак... Что же вы с Россией дружить не хотите?

— Мы хотим.

— Плохо хотите, видать. Вон, твой зема все доказывает, что у вас западэнци победят.

— Какой зема?

— Сержант Байло, который тебя задержал.

— А-а. Вот же козел!

— Опять же, оскорбляли представителя власти при исполнении, сопротивление оказали... Непорядок, непорядок... А ведь мы с тобой ровесники.

— Да, семидесятого, — шепотом сказал Сергей.

— И сын у тебя тоже.

— Да-а, болеет! — Сергею вдруг остро захотелось поделиться с человеком за перегородкой своим горем.

— А че болеет?

— Да заикание... Его в школе даже к доске не вызывают. Смеются, конечно, дети.

Наступила тишина. Из-за перегородки вышел другой милиционер — он был похож на казаха. Сергей едва не рассмеялся, такое у него было умиливательное и удивленное выражение. Форма не шла к его облику.

— А как лечите?

— Да никак. Пока только к бабкам водили. Без толку!

— Ясно, — казах задумался и стал медленно отпирать решетку. Снова замер. Сергей удивленно поднял брови.

— А, это, иди в туалет сходи, туда-сюда, воды там попей, если хочешь...

В туалете Сергея вдруг пробило... До него, наконец, дошел этот старый

прикол: добрый полицейский, злой полицейский. Поразило, как хорошо это сработало на его личном примере. Сильный ход. В душе, настроившейся на добро и сочувствие, уже не было сил сопротивляться злему насилию.

— На, — милиционер протянул паспорт и билет. — Собери свой сидор и чухай отсюда.

Сергей почувствовал, что лучше молчать и делать, что сказали, но не выдержал.

— Да я уже опоздал, товарищ старший сержант!

— Да ниче ты не опоздал — там обледенение какое-то, ни один поезд выехать не может.

Сергей засмеялся и начал весело запихивать свои пожитки в сумку. Милиционер остановил его уже на самом выходе.

— Слышь, не в службу, а в дружбу: надо лед с крыльца сколоть и дорожку прочистить. Давай, напоследок.

Так «деды» в армии просили. Сергей посмотрел на него ясным усталым взором и согласился.

— Лом с лопатой найдутся? — только и спросил он.

— Да я же пошутил, дружище! — засмеялся милиционер. — Нет тут у нас никакого крыльца. Иди отсюда. Надоели вы, хохлы.

— Что?

— Бежи отсюда и потеряйся куда-нибудь!

Сергей вернулся в злополучный переход. Купил очень дорогую игрушку — большого робота-трансформера. Он думал о нем все три месяца. «Купить — не купить?» Шел по вокзалу легко и свободно. Встречал милиционеров и не отводил глаз. Смотрел на них с вызовом, и они сами отворачивались с усталой брезгливостью. Он успел на свой поезд и ждал еще три часа. Ходил по вагону, часто курил. Приставал с расспросами к проводнику. Спал.

В родной город приехал ночью. Организм начал странную, отдельную от Сергея жизнь, — в животе булькало, сердце прерывалось, а в горле что-то шелкало, перехватывало и клекотало. Он закурил, утишая расхолодившееся сердце, задыхаясь, будто не ехал, а бежал от самой Москвы.

— Ну что ты, Сюся! — вдруг услышал он знакомый голос. — Ну, будя, будя. За колонной стоял старик и успокаивал старуху.

— Чого ты? Питание трехразовое, гарное, крыша над головой, сигареты бесплатно «Прима». Оно ж понятно, на каждой работе надо втянуться... Куму надо спасибо сказать! Как там, кум-то?

Сергей улыбался, вдыхая родной запах. Жаль, что в их южном городе не было снега.

Александр Климов-Южин

Чем ближе друг к другу

* * *

Зелёной тропой я шёл молодой,
И вышел к опушке, где жёлт древостой,
Где листья кровавит в верхах каротин,
А это преддверье бескровных седин.
Неходкий, нескорый, и не на коне,
Я осень догнал, мы теперь наравне,
Погодки, и я узаконен в правах
Шататься по лесу в своих временах.
В своих временах, не в чужих временах,
И мне не случится плутать в трёх соснах.

* * *

Окраин пустыри плешивы,
Окурки вплющились в траву.
В рабочих пригородах ивы
Макают ветви в синеву.

Там празелень полувоздушна,
Там свежестриженный боскет
Хоть неказист, но то, что нужно,
У вербы буро-красный цвет.

Там прорастает жизнь из почки —
Покажется, что в первый раз,
Но вот проклюнулись листочки,
Пока незримые для глаз.

Там все родились лишь сегодня,
И юноши, и старики.

Шумит, скрипит в суставах Сходня,
Гремят, гудят товарняки.

Я сопричастный этой жизни,
Не прозреваю прошлых лет
Своей совдеповской отчизны,
В которой был, которой нет.

Я тоже заново родился.
Я с вами не знаком. С женой?
Не спал, не знал, не разводился...
Всё это было не со мной.

Да что вы, никогда ни строчки.
Поэт? Я умоляю вас.

Я прорастаю в жизнь из почки,
Как в первый и в последний раз.

Метель

Холмятся заносы,
Дороги исчезли во мгле,
Потёмки белёсы,
Позёмок прижался к земле.

И лошадь не чает
Дороги, в провалы копыт
Снег с воем влетает,
Да полоз, виляя, скрипит.

Все ходят по кругу,
И всех разлучает метель.
Чем ближе друг к другу —
Тем дальше от места. Ужель

Тот счастья достоин,
Кто попросту счастья не ждёт;

Обкраденный воин,
Всё спишет двенадцатый год.

Всё. Все упования
И клятвы о вечной любви
На горечь прощанья
Напели не впрок соловьи.

И холмик могильный
На кладбище зелен и тих.
Пока же на Вильну
Берёт обручённый жених.

Пути замечает,
Сугробы белы, как постель.
Светая — светает.
В метель я читаю метель.

Кружке

Потому, как назвали меня Александром,
Осмотрел я победно посуды ряды,
Приглянулась мне кружка с изящным меандром:
Я ведь Рак, а меандр — это символ воды.

Что мне в ней — это всё лабиринт минотавра,
Без легенд и быка остывающий Крит.
Не собрать и не склеить орнамент меандра, —
Кружка — дзинь — огнедышащий чайник кипит.

Вы разбили её, и ушло наслаждение
Чай неспешно хлебать с кардамоном в мороз;
Мне не надо другой. Уберите варенье —
Даже если айвовое или из роз.

А когда-то была хороша даже сушка.
Метафизика вещи. Да, я не здоров:
Эта кружка — не просто какая-то кружка,
Эта кружка — подружка моих вечеров.

* * *

Павлу Крючкову

Хоть завтрак — от завтра,
но завтрак сегодня, —
немедленно, утром, сейчас.
Поел и, как ветер,
свободен до полдня...
Овсянка, милорд, удалась.

Счастливые трели
летят из скворечен,
пестрит на столе винегрет;
на завтрак — овсянка,
до завтра, до встречи —
даю за обедом обет.

На завтра овсянка
без нас остывает,
увы, непочата еда,

и завтрак уже
никогда не настанет,
ни завтра, мой друг, никогда.

Овсянки задорная
песнь раздаётся,
и ложки о чашки звенят.
За лесом встаёт
раскалённое солнце,
но только — уже без меня.

Все речи умолкнут,
все запахи сгинут,
прощайте же, без дурачков,
но в тостере щёлкнет,
и гренки подпрыгнут —
призывно румяны с бочков.

* * *

Давно ль не до конца прогретого
Надела комья боронил?
Мне кажется, что с поля этого
Я никогда не уходил.

И вот я снова ратоборствую,
С литовкой верной на ботву,
Иду, в решимости упорствую,
Как князь московский на Литву.

Иду за расщеплённым атомом,
Костры осенние горят,
За надрывающимся трактором
Вороны с галками летят.

В фуфайке грязной местным пентюхом
Иду по полю одиноко,
Где жирный пласт поднятый лемехом
Под дождик подставляет бок.

Тестю

Вспомнил я, почти об эту пору
Точно так же яблони цвели,
Радовались озимим простору,
Отрывалось солнце от земли.

После спячки, прибираясь в ульях,
Выползали пчёлы на леток.
Рамки, припасённые на стульях,
Обдувал беспечный ветерок.

А теперь ни мёда, ни расплода.
Распрями ослаблена семья.
Человек, который пахнет мёдом,
С каждым днём всё дальше от меня.

Вышел в сад, прошёлся огородом,
Наловил из пруда карасей.
Человек, который пахнул мёдом,
С каждым днём всё ближе и родней.

Без него, наверное, в июне
Улетит к другим последний рой;
Сладость бесполезная в петунье,
В доме вечерающем покой.

Грибы в холодильнике

Отождествление грибов:
Они давно в анабиозе,
Но тем любезней на морозе
Весомый сонм боровиков.

Вот этот я нашёл в траве,
И весь состав его был крепок,
Лишь вмятина на голове,—
Теперь он спит среди креветок.

А этот: маковка сосны,
Незамутнённый пояс леса,
Но срезан молодой повеса,
Себя я вижу со спины.

О, белоснежное нутро,
Нож острый входит в поперечник,

Ликует алчный человечек,
И шляпка падает в ведро.

А ты — гудел, как пономарь.
Пестрела ликами природа,
И крохотный малыш у входа
В подсад зарделся, как фонарь.

В глушь, к тётке, только б от людей.
Последних тёплых дней блаженство,
Вы мне являли совершенство
Среди редющих ветвей.

И вот я всех вас узнаю:
Ну, здравствуй, бодрый и лощёный;
Белёсый, луговой, червлёный,
Поврозь, вразбежку и в строю.

Сергей Костырко

Дом

Повесть

Женя.

Женька.

Евгений.

Евгений Николаевич.

Но город знал его как Жеку.

Сначала так звали его друзья, то есть очень немногие. Потом — враги. Ну а потом слава Жеки накрыла весь город, дотянулась до Глебовска, и уже областные авторитеты начали приглашать Женьку на сходки и дни рождения.

В конце девяностых молодые семьи в Лукошино практически перестали регистрировать новорожденных детей под именем Евгений, Евгения.

1. Дом

Дом свой Женька сначала построил во сне. Весь — от подвала до крыши. Точнее, от крыши до подвала.

Спал он практически голый, в узких трусах-плавках, под тяжелым ватным одеялом, чтоб ощущение было пещеры — пещеры надежной и обязательно теплой. Мерз он всегда.

Согревшись, он вытягивался на спине и начинал расслаблять тело для сна. Сначала — ступни, лодыжки, потом — колени, тазовую часть, чтоб появился легкий зуд в освобожденных суставах, потом — поясница, плечи, руки и, наконец, самое трудное, — лицевые мускулы. Здесь иногда срывалось. Только-только начинал он высвобождать лицо от закаменевшего на нем выражения бесстрастия, предполагающего рассеянно-насмешливый взгляд, внутри которого — всегда — предельное напряжение, чтобы видеть, чтобы слышать всех и вся, чтобы считывать по выражению лица, по изменению взгляда собеседника его мысль раньше, чем тот ее подумает — только-только трогал он мускулы губ, бровей, как тело вдруг пробивала мышечная судорога, его как будто подбрасы-

Сергей Костырко (родился в 1949 г.) — сетевой и «толстожурнальный» критик, прозаик; автор книг «Простодушное чтение» (критика), «Шлягеры прошлого лета», «Медленная проза», «На пути в Итаку» (проза); живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

вало на кровати, сознание прошивала вспышка ужаса или ярости. И нужно было начинать заново — ноги, которые лежат отдельно, бедра и живот, растекающиеся, как студень; руки и, наконец, заваливающаяся набок голова с освободившимся лицом. Жизнь оставалась в этом теле только током крови.

И вот тогда он погружался, наконец, в покой — правая рука привычно опускалась вниз, ладонь обхватывала цевье автомата. И вот он, стоящий у окна-бойницы на башенке дома — его дома — вскидывает автомат, прижимает приклад к плечу и смотрит вверх прицела на темные тени внизу, переползающие через его забор с улицы. Двое уже спрыгнули вниз, и, подведя мушку под них, Женька нажимает на спусковой крючок. Длинная очередь. Он видит, как валятся назад те, кто еще не перемахнул через забор, двое лежат внизу во дворе. Пауза. В домах на Женькиной улочке поспешно гаснут окна. Нападающие — сколько же их! — веером разбегаются по улице, залегают за высокое каменное крыльцо магазинчика напротив, толпятся за открытыми железными воротами пожарной каланчи, Женька меняет рожок автомата. Тишина. Он много раз смотрел это кино и знает, что будет дальше. Он вжимается спиной в простенок между окнами — сейчас будет взрыв внизу... Грохнуло. Каменная крошка бьет по стенам, и тенькают, позванивают осыпающиеся из окон стекла. Женька выставляет в окно автомат и бьет короткими очередями по бегущим через улочку к пролому в его заборе. Прицеливается и бьет. Прицеливается и бьет. И никак не может остановиться. Теперь даже в этом медленно накрывающем и послушном ему сне, который можно остановить, можно запустить дальше, Женьке некогда менять рожок, и рожок становится бездонным. Или: он ставит автомат и подхватывает уже заряженную винтовку с оптическим прицелом, прижимает окуляр к глазу и пару секунд рассматривает морду нападающего, а потом плавно спускает курок — перед его глазами пуля пробивает кожу на шее, встает черный фонтанчик, он чуть поднимает окуляр и видит на лице убитого изумление. Или: он медленно проводит взгляд по плечу, по груди, обтянутой кожаной курткой, выбирая место, и чувствует сладостное сопротивление спускового крючка, и видит трескающуюся кожу и бугорок пыли, встающий на пробитом месте. Ну а потом он снова стоит у окна, как Тони из «Лица со шрамом», длинными очередями из бесконечного своего рожка поливает двор внизу.

Наконец начинается ответный огонь. Бьют из автоматов, бьют из подствольников, он слышит глухие взрывы под ногами в доме. И поменяв окно, он тщательно прицеливается в стоящие под забором бочки с бензином. Короткая очередь, огонь заливает двор. Теперь — все.

Женька сбегает по винтовой лесенке через второй и первый этаж в подвал, в мастерскую, к дверце в стене, за которой его подземный коридор. Коридор кривой и длинный, — выход из него в десятке метров от забора с той стороны, в глухом лесу у затона, бывшего когда-то парком. Здесь темно, пусто, отчетлив треск автоматов сверху — штурм его дома продолжается, а сам Женька быстро проходит под деревьями к гаражам на задах комбината. Открывает замок «ракушки», засыпанной сухими прошлогодними листьями, бросает в бардачок темно-синей «четверки» пистолет и поясную сумку с новыми документами. Устраивается на сиденье, поворачивает ключ зажигания — машина заводится сразу. Не включая фар, плавно выкатывается на дорожку, потом вылезает, закрывает «ракушку», вешает замок, припорошивает старыми листьями след — каждый свой жест в этом эпизоде Женька прокручивал по несколько раз, —

снова садится в машину и трогается. Переваливаясь на раздолбанном асфальте, машина выбирается на дорогу и останавливается. Выстрелы уже стихли. Женька ждет. И, наконец, ахнуло сверху, вздрогнула земля — сработала растяжка, установленная Женькой в кабинете на первом этаже. Потом бабахи послабее — это взрывы в подвале, и еще несколько — баллоны с газом и канистры с бензином. Взыла сигнализация машин. Небо над холмом стало оранжевым. Горит Женькин дом. С дороги его не видно, только полыхающий свет над деревьями. Женька смотрит на него из окна стареньких «Жигулей», стоящих в темноте на пустом шоссе за деревьями. Смотрит с чувством блаженного высвобождения, потом тихо трогается. Торопиться ему больше некуда. Впереди полчаса дороги через лес, а там трасса, там Москва, Питер, далее — везде...

И вот на этом месте, почти счастливым Женька засыпал.

И, тем не менее, в этом доме он живет до сих пор.

Строить дом Женька начал, как только появились первые настоящие деньги. Чертежи сделал привезенный из Москвы архитектор. «Ага, — сказал он, выслушав Женьку, — понятно. Готический стиль». Работали круглосуточно две бригады западных украинцев, привезенных из Питера. Котлован начали рыть в марте, а в октябре дизайнер уже расставлял мебель.

Темно-серая громада в три этажа с высокими узкими окнами и башенкой, дом-замок, дом-крепость, окруженный двухметровым кирпичным забором, стоял на холме в старом центре города, на месте снесенных Женькой купеческих торговых рядов.

Во дворе — гараж на три машины и домик охраны.

При входе в дом огромный холл, далее, за парадной дверью гостиная, кабинет (здесь Женька иногда принимал своих управляющих), столовая, кухня. Из гостиной лестница на второй этаж, в каминный зал с двумя диванами, креслами, столом на 12 посадочных мест, огромным плазменным экраном телевизора на стене и «панорамным окном» — это уже архитектор уговорил Женьку, «да вы что, у вас такой вид на Заречье». Самой речки, петляющей под деревьями, не видно из-за крон, только кусок заболотившегося затона, ну а дальше — за деревьями корпуса Лукошинского целлюлозно-бумажного комбината. Бывшего. «Половина школьников бескрайней России пишут в тетрадях нашего комбината!», — эти слова Женька много раз слышал на торжественных линейках в школе. Да нет, конечно, никакая не половина школьников бескрайней России, это городское начальство, уязвленное тем, что Лукошино так и не стало районным центром, хотя по населению уже давно сравнялось с Глебовском, погорячилось, но оставленное комбинатом хозяйство действительно монументальное — город целый, с цехами, складами, со своей веткой железной дороги, рельсы которой и складские площадки заросли травой, и забивают там свои стрелки уже нынешние поколения подрастающих пацанов. Сейчас комбинат — деловой и торговый центр города. Там же, на втором этаже административного здания в кабинете бывшего генерального директора, офис Женьки. В свое время вместо того, чтобы проклинать Чубайса и приватизацию, он внимательно, с юристом, прочитал новые законы и за год скупил у лукошинцев ненужные для них чубайсовские фантики, став владельцем контрольного пакета.

Но любоваться своими владениями из окна каминного зала Женьке некогда. В последние годы залом этим пользуется только уборщица Татьяна, приходящая раз в три дня. Уборку дома она заканчивает обычно здесь. Протерев мебель и светильники, пропылесосив ковры, она снимала халат, раскидывалась на огромном диване, включала телевизор и смотрела очередную серию бразильского мыла, потягивая из литровой бутылки пепси-колу. «Как в кино!» — хвасталась она соседкам. Хозяева и раньше поднимались сюда редко. Для своих пацанов застолья Женька устраивал в ресторане, а в каминную звал только Андриюху с Наташей, по-семейному, на шашлыки после бани. Ну а после гибели Андриюхи и фактического переезда в Испанию жены с дочками, в каминную Женька заглядывал редко.

Была еще одна дверь в холле на первом этаже, не такая парадная, почти незаметная — металлическая, утопленная в стену, выкрашенная под цвет обоев. За дверью этой коридорчик, заканчивающийся лестницей на второй этаж, на площадку, с которой — двери на детскую половину (две спальни и игровая комната) и взрослую — спальня, ванная, комната Марины.

И еще дверца, уже из спальни, к лестнице на третий этаж в так называемую резиденцию — квадратную комнату с окнами на четыре стороны. Стол, кресло, факс, компьютер, телевизор, бар, сейф — место для уединения хозяина.

Ну и последняя дверь, — рядом с книжным шкафом, за этой дверцей винтовая лестница, по которой можно подняться в башенку над домом (удобно отстреливаться), или спуститься, минуя второй и третий этаж, в подвал (тренажерная, мастерская, кладовки, котельная).

Подземный ход из подвала в лесопарк комбината, к затону Женька строить не решился.

«Блин, — ругалась жена, — тебя в этом доме хрен найдешь. Китайский лабиринт какой-то. Живем без окон, вечная темень». Да нет, высокие узкие окна света давали достаточно, просто обзора из них не было. Ну а Марина, как выяснилось, очень солнце и небо любила. Сначала — в Египте, где возле Хургады в их первый после рождения девочек выезд за границу они купили небольшую виллу с бассейном (недействующим, как выяснилось потом). «Это для детей, чтобы можно было им лето на теплом море провести. И тебе будет куда приехать, дух перевести, и где тебя всегда будет ждать загорелая беловолосая Марина», — мурлыкала жена. Хорошо, девочки тогда совсем маленькие были, не слишком понимали, зачем к ним повадился ходить дядя Анвар, менеджер ближайшей гостиницы. И еще «дядя Хаким», спасатель с пляжа. «Дядю Анвара мы больше любим, он нам игрушки приносил, а мама больше любит дядю Хакима, и дядя Анвар и дядя Хаким даже дрались во дворе один раз, они поспорили, кого мама любит больше» — рассказывали, перебивая друг друга по телефону, девочки. Когда сорвавшийся после этого звонка Женька прилетел в Хургаду, любители грудастых блондинок из России срочно свалили к своим семьям, один — в Александрию, другой в какой-то городок на Ниле. Дом продали. Год Марина была тише воды. Но тут бабы стукнули ей про регулярные Женькины отлучки в Глебовск к Руслану и его девкам. «Господи, ну сходил к ним пару раз. Ну, не пару. Ну и что? Я ж тут один, пока ты на солнце жарилась со своими анварчиками». Он даже подумывал тогда о разводе. Но, во-первых, дочки — Алиса и Яна. Никогда не забудет, как они ползали по нему маленькими. Да и сейчас радуются, когда приезжает. Видит же, что радуются. Когда на яхте

по Красному морю плавали, Алису укачало, и она к Женьке, а не к матери прижалась, у него аж зашлось тогда внутри. Ну, а во-вторых, он и сам любит грудастых блондинок, особенно когда Маринка поддаст, разгорячится, и они поднимутся к нему в резиденцию, подальше от спален, где девочки то ли спят, то ли телевизоры свои смотрят, и как сумасшедшие кидаются друг на друга. Нет. Жалко было бы... Но на развод не подала, а начала ныть про дом в Испании. Купил ей домик-поместье. Ничего. Тогда дешево было. Братва еще не расчухала, куда придется сваливать. Поначалу Марина уезжала туда на месяц-два летом и осенью. А потом как-то решила остаться на зиму, пусть девочки немного поучатся в испанской школе, язык закрепят. Им-то что закреплять, как на своем лопочут, а вот сама Марина кроме «грация» и «буэнос диас» так ничего и не выучила, обходится десятком английских фраз, благо русских в их местечке теперь прорва. Женька летает туда три-четыре раза в год на недельку. Вроде анварами не пахнет. Когда девочки в школу уходят или на пляж, Марине вдруг жарко становится, в какой-то прозрачной накидке начинает перед ним вытанцовывать туда-сюда, туда-сюда. И, не выдержав, он протягивает руку, придерживает за раскаленное бедро, и та как волчица голодная накидывается. Нет, играет еще молодость в бабе. В этой испанской загранице, видно, не развернешься — все мужики поделены, да и домоправительница их, суровая украинская бабушка из Львова не только хозяйство держит в доме. Девочки при ней тоже шелковые. Но и долго с ней, Мариной, тяжело стало. Гонор появился, особенно когда из дома выходят, тут она становится типа заграничной, видно же, какой кайф она ловит, когда Женька теряется в разговоре с полицейскими на шоссе или путается в ихних гигантских супермаркетах.

Ну да ладно — на развод всегда можно подать. Дело нехитрое.

Мать в доме тоже не ужилась. «Мрачно у тебя как-то. И девочки балованные», — говорила она, но на самом деле Женька видел, что это с Мариной она ужиться не может. Девочки же бабку не любят с младенчества, помнят ее опухшей, растрепанной над тазиком с блевотиной, помнят суету в доме с врачами и капельницами.

Матери он сделал подарок, мечту ее — финский домик с садиком у речки. Чего еще надо? Слава богу, пить перестала — питерские наркологи отработали Женькины деньги честно, пуганули ее циррозом до смерти. И мать занесло в другую сторону, — в монастырь начала ездить, в разговорах с Женькой губы поджигает, типа грехи его пошла отмаливать (ну да, его грехи! А с чего все началось, забыла уже?) Но хоть не пьет. Женька время от времени заезжает в монастырь по ее просьбе, дал денег им на надвратную церковь, потом, когда купола чинили, привез мастеров из Выборга. Баш на баш — так ему за мать спокойнее.

Была слабая надежда, когда Марина в Испанию отвалила, что мать возьмет на себя дом, но она ни разу не заикнулась даже об этом. Женька и ждал этого, и не хотел. Ну и ладно. Без нее устроился. Кормежкой занимается приходящая Валентина, прибирает подруга ее Татьяна. Ну, а если что по дому, то тут ребята из охраны и шофер Олег всегда под рукой.

Нет. Жить в этом доме еще можно.

2. Евгений Николаевич

На какое бы время ни ставил Женька будильник, просыпается он за несколько секунд до сигнала и, услышав шипенье в мобильнике, предшествующее женскому — воспитательницы из детского садика — голосу, протягивает руку и жмет клавишу, не давая мобильнику договорить свое «Пора вставать».

Сегодня Женька проснулся в 7.14.

Пару минут лежит с открытыми глазами, потом садится, смотрит в щель высокого окна на улицу. Там сентябрь. Солнце. Дверь гаража уже открыта, но в доме пока тихо. Женька спускается в подвал и с некоторым усилием над собой начинает получасовую разминку на тренажерах. Потом душ. Бритье. Одевается в спальне. Сегодня — костюм с галстуком. Под рубашку тонкий бронежилет.

В столовой хозяйничают шофер Олег и охранник Дима.

— А что Валентина? Опять заболела?

— Не она. Внук. Повезла его в Глебовск. Евгений Николаевич, мы вам — яичницу?

— Давай.

Помидоры, яичница с колбасой, чай.

— Я сегодня с вами? — спрашивает Дима.

— Оставайся дома. Мы с Олегом.

Выезжают на представительском «бумере». К глебовскому мэру — только так.

В машине включает рабочий мобильник. Три неотвеченных звонка — Родя, Толян, «Хлебозавод».

Начал с Роди.

— Чего у тебя?

— Проблема, Жека. Вчера послали новенького, Володьку Гришковца в кафе на трассу к Динаре, а он не вернулся. Позвонили, Динара сказала, что был в 11, взял деньги и тут же уехал. Вечером послал ребят. Нашли его у айзеров в шашлычной. В задней комнате. Думали, бухой. Нет. Наколелся. Жека, он — торчок. И, видно, давно. Ребята осмотрели его — следы на руках и на ногах.

— Почему одного послали? Сто раз ведь говорил.

— Нет у меня сейчас никого, ребята на трассе. Дальнбойщики говорят, что на нашем участке какие-то чужие начали появляться. Северские тоже жаловались. И еще четверых в Питер Валентин выпросил — у него там два транспорта с краской, и еще трейлер с электропилами, дрелями и прочим инструментом.

— Где он сейчас?

— У меня. Отсыпается.

— Держи пока при себе. Подумаем.

— Алло, Петр Вениаминович, что у вас?

— Печь, Евгений Николаевич. На которой бородинский печем. Сдохла окончательно. Инженер ноет, говорит, что пока не поздно, надо останавливать еще одну, которая для подового.

— Понял. Я сегодня в Глебовске — заскочу ближе к обеду.

— Алло, Толян. Чего звонил?

— Глоба в больнице, в глебовской. Поломаны ребра и вроде как трещина в позвоночнике. На вокзале задрался с какими-то питерскими, его и отходили. Блин, Глоба был из старых бойцов, еще молокозаводских.

СМС от П.: «Привет».

Отлично! Вечером посмотрю, на сколько потянул августовский «привет».

Женька, как будто его подтолкнули, поднял голову, и — как всегда — за окном мелькнул мостик, речка, бугор и поляна — ... твою мать! Сколько уже лет, а ни разу не проскочил это место, не отметив его — голова сама поднимается посмотреть на мостик, на бугор и поляну.

— Олег, чего с Володькой Гришковцом делать?

— В смысле?

— Наркоманом оказался. Поехал за деньгами и не вернулся, нашли на трассе в шашлычной в полной отключке.

— Сколько он у нас?

— Полгода.

— Мочить надо было тех цыган.

— Да нет, вряд ли. Похоже, он торчок со стажем. Скрывал.

— Ну, пока на кухню его, картошку чистить дальнобойщикам. ...А деньги?

— При нем, наверно. Родя ничего не сказал.

— А Родион может и не сказать, просто свои положит.

— Ну, это его проблемы. Включи радио, город уже близко.

«Эхо» начинало пробивать только на подъезде к Глебовску — Доренко с какой-то бабой обсуждают дальнейшее укрепление вертикали власти. Но, похоже, для Женьки ничего пока не меняется. Курс валют: доллар 23,45. То есть усох на 0,4 копейки. А вот это хреново! Ноль четыре — это уже много.

Тормознули на площади у крыльца бывшего райкома партии, ныне мэрии.

Олег снял куртку, натянул пиджак, поправил кобуру под мышкой. Типа не зря четыре месяца гужевался в Питере на курсах телохранителей. Ладно, пусть поиграется. Женька дает возможность Олегу первому вылезти, обойти машину и открыть ему дверь. Так надо, если смотрят из окна, а смотрят точно. В качестве официального гостя Женька появляется здесь нечасто.

В коридоре тетки крутятся, интересно им. В приемной девка — красотка с длинными волосами встает из-за стола: «Иван Никифорович ждет вас». У Налдеева губа не дура — прошла через приемную, покачала коротенькой юбочкой, дверь открыла Женьке. Через кабинет идет сам Налдеев, плотненький, лысенький, гриб-боровик — под Лужка косит. «Как доехал, Евгений Николаевич? Хочу познакомить тебя с нашим кандидатом. Иван Сергеевич Петров». Из-за длинного стола встает кандидат. Долговязый, худой, морда лошадиная, залысины, бородавка на лице, улыбка напряженная — не научился еще. Глаза слякотные, рукопожатие торопливое и вялое: «Очень, очень приятно!» Значит, это и есть Петров. И вот такого — в мэры?? Куда на Руси мужики подевались?

— Мы тут, Евгений Николаевич, наглядную агитацию к выборам утверждаем. Глянь, если интересно.

На столе листы с плакатами.

Тот же самый Петров, но только без залысин, и бородавку свели фотошо-

пом, губы сжаты, взгляд твердый, на заднем плане — поле, река, коровы и церквушка. Надпись: «Мы должны вернуть себе эту землю!»

— Ситуацию ты знаешь, — начал Налдеев. — Софроново получает статус города, и соответственно нужен мэр. Район выдвигает Петрова. Опыт у него есть, в местной власти работал, уроженец Софронова, людей знает. Ну а будут трудности, мы поможем. А, Евгений Николаевич, поможем ведь?

— Поможем, конечно. Ну а область уже определилась?

— Определилась, — Налдеев сделал паузу. — Долженков.

Блин! Женька сморщился.

— Вот-вот.

Долженков, красавчик из мексиканского телемыла, вечный пионер-комсомолец, областная телезвезда, лет пять назад погорел на торговле соей для адвентистов, отмазался от суда, а года через два снова вынырнул главным по работе с молодежью. И тут же попробовал наехать на Женьку — территорию дачного поселка под соснами у реки под себя хотел прибрать, вроде как под военно-патриотический и оздоровительный центр для молодежи, только застраивать этот патриотический центр собирался элитными коттеджами. Гнида. Ну ладно бы это — так ведь, дурак же. Полный дурак — самовлюбленный, жадный, трусливый. Но им такой и нужен в Софронове.

— А что Иван Никифорович, насчет строительства в Софроново? Вы же вроде собирались съездить, ознакомиться с планами.

— Вон к шкафчику подойди, понюхай будущие ароматы Софроново. Выдали мне комплект предполагаемой продукции. Скоро весь наш Глебовский район Францией запахнет. Жаль не могу показать их проект застройки рабочих кварталов. Такого у нас еще не было. Лет через десять Софроново и твое Лукошино задвинет, и мой Глебовск.

«Хрен тебя задвинешь», — подумал Женька, вспомнив длинноногую секретаршу в приемной. — Пожалуй, двадцать мало будет. Накину еще десять.

— Ну а как насчет набора рабочих из Лукошино на эту ударную стройку капитализма?

— А как же, — даже как бы удивился Налдеев. — Куда мы без вас? Лукошино — это рабочий класс. Да к вам и заводы будут поближе. Сколько к вам ехать — 16 километров? А от нас все тридцать.

«Ага, ближе. У тебя железная дорога, а у меня на Софроново — раздолбанная леспромхозовская трасса, а по асфальту и все 50 кмэ накрутит».

— Насчет Петрова я с вашими лукошинскими уже поговорил. Вроде не против. Только, извини, конечно, но мэр у вас — тормоз. Как был начальником снабжения, так и остался. Чуть что — телеграммы в область бьет. Садился бы ты в его кресло, а?

— С моей-то рожей, — усмехнулся для Налдеева Женька.

«...тормоз, конечно, тормоз, но к Женьке лукошинский мэр приезжает раз в неделю. И телеграммы те под Женькину диктовку пишет...»

Женька вдруг почувствовал усталость от этого танца — время идет.

— Ладно, Иван Никифорович. Все уяснил. Проблема, как я понял, у вас с областью?

И с Налдеева тут же слетела вальяжность, взгляд отвердел, усмешка стала кривоватой.

— А чего нам область, — махнул он рукой. — Пусть народ решает... Иван

Сергеевич, ты спустишься к девочкам, они должны были подбить документы с твоим экологическим фондом. Покажу Евгению Николаевичу. Я позову тебя.

— Да-да, — закивал Петров. — Я сейчас. Я в приемной буду.

— Ну? — дождавшись, когда Петров закроет дверь, спросил Налдеев.

— Можно попробовать. Есть у меня с областными ребятами некоторые общие интересы. Поговорю. Только Иван Никифорович, ты отсюда особенно не дави. Важно, чтобы они Долженкова раньше времени не сняли. Чтобы кем-то посерьезнее не заменили. Пока он идет номером один от области, у нас девяносто процентов. Этот козел везде успел наследить.

— А твои ребята из области не стакнутся с Долженковым насчет Софроново напрямую?

— Нет, не волнуйся — где область и где мы. Они там свои сектора не могут сохранить, а... курировать (подобрал слово Женька) такой кусок за сто километров... Да и потом, извини, я все-таки здесь. Ну и ваши глебовские, ребята не последние.

— Ну, смотри, Женька, ты ведь просишь, по сути, чтобы я устранился. А я, как ты знаешь, привык под контролем держать все сам.

— Ну а тут, Иван Никифорович, придется мне поверить. Да не напрягайся ты. Подумай сам, смогу я работать с Долженковым или нет?

— Думаю, что нет.

— И вообще... Ты скажи, я хоть раз тебя кинул? Ну, хоть раз.

— Никогда...

— Но у меня тоже есть в этом деле свои интересы...

— Ага, чтоб дорогу к тебе комбинат проложил?

— С тобой говорить страшно.

— Ты ведь уже понял, да? Питерские будут иметь дело со мной. Формально — утверждает область, но документы готовлю я и питерские. Твои шестнадцать кэмэ уже заложены.

— Ну, спасибо.

— Спасибо скажешь потом, когда Софроново сделаем. И еще. Тут Петров зарегистрировал фонд охраны природы, может, поучаствуешь? Все наши городские и районные предприятия уже отметились. Мы сейчас покажем тебе сводку. Ну а ты прикинь, сколько и как сможешь. Лизонька, — пропел Налдеев, нажав кнопку на телефонном аппарате, — солнышко, Петров у тебя? Пусть зайдет... Нет, пусть еще немного подождет... Слушай, тут мне Васильич на тебя плакался.

— Ага, достало его все-таки. А не рассказывал, почему?

— Не рассказывал. Но я и так знаю. И твои резоны понимаю. Но все равно, Женька. Не жадись. Подкинь что-нибудь своим ментам. Ну, там парочку компьютеров или рацию какую. Давай-давай. Сделай жест. Он уже сам жалеет, что наехал на тебя. Считай, что меня выбрал посредником. Просил замирить.

— Понял. Пошлю своих рабочих профилакторий их ремонтировать.

— Ну а как тебе Петров? С ним работать можно. Вполне.

— Да, я вижу. Через тебя.

— А ты бы как хотел?

— Да мне-то как раз так удобнее.

— Лиза, пусть Петров зайдет.

Перед Женькой лег лист со списком радетелей за сохранность глебовской природы. Коротко и ясно — кто сколько может. Шапка по кругу. Пять тысяч

«зелененькими», десять, тридцать пять, двадцать, тридцать пять и т. д. Вот она сколько нынешняя вертикаль-то стоит. Вроде как и понемногу, но если они с этой шапкой по всему району пройдутся, то пару миллионов точно уложат в нее.

— Значит так, — начал Женька, коротко глянув на Налдеева с Петровым.

Налдеев спокоен, а у Петрова глаз оказывается быстренький, жадненький — ну-ну.

— Значит так. От «Хлебозавода» переведем пять тысяч, от «Пивзавода» — пять тысяч.

— И что, это все? — поднял брови Налдеев.

— Нет. Не все. Просто мне светиться не с руки. Теперь мы вот что сделаем, — развернулся Женька к Петрову. — Плакаты вот эти где будете заказывать?

— В области, — оглянулся Петров на Налдеева. — А что, есть варианты?

— И сколько вы собираетесь платить и получить?

— Семьсот цветных плакатов. Нам посчитали где-то пять-семь тысяч.

«...ну да, "пять-семь", от силы — две-три...»

Женька выдержал паузу.

— Сделаем так. Заплатите за наглядную агитацию тридцать тысяч. То есть впишете в свои бумаги. К выборной тематике прибавьте экологическую — с коровками, цветочками. Фонд платить не будет. Платить буду я. И платить буду, поверь, больше тридцати.

«То есть десять-пятнадцать...»

Женька говорил отрывисто, коротко, как со своими пацанами, но Налдеев пока молчал. Петров, похоже, сомлел. Спокойнее, спокойнее, Женька, не зарывайся.

— Продукция будет с питерского комбината, специальные ткани, растяжки, крепеж. Надо выбрать фронтоны домов, которые хорошо просматриваются и залепить на весь фронтон двадцать-тридцать таких вот плакатов. Найдется в Софроново тридцать многоэтажек?

— Найдется-найдется, — радостно, по-пацански закивал Петров.

— И небольших плакатиков сотни две — в магазинах, поликлинике, на станции, на почте. Везде, короче. И еще — пусть избирательная комиссия даст адреса всех избирателей города. Абсолютно всех. Мой художник сделает тебе персональные приглашения для каждого. С твоей фотографией, с твоими тезисами и твоей факсимильной подписью. Отпечатаем и разнесем по квартирам. Платить, повторяю, буду я.

— Ну, Евгений Николаевич, какие в тебе таланты пропадают!

— А вы, Иван Никифорович, когда вверх пойдете, позовите. Не пожалеете.

— Пообедаешь с нами? Часика через два?

— Спасибо, но у меня на «Хлебозаводе» печь сгорела. Будем сейчас думать с инженером.

— Ну что, спасибо за готовность помочь! Будем держать связь.

— Будем... А вам, Иван Сергеевич, успеха!

Петров торопливо пожал протянутую руку.

В приемной встает с кресла Олег, потягивается всем телом, красавец-спортсмен, складывает журнальчик, девушка Лизонька косится — Олег не

замечает. И только на лестнице роняет: «Ну, блин, вроде старик, а какую девку поимел?»

— Да какой он старик? Ему в прошлом году пятьдесят отмечали. Он до октября на озеро ездит. Тот еще блядун. Секретарш меняет раз в два года. И каких!

Рядом с Женькиным «БМВ» у крыльца припаркован известный всему Глебовску серый «Опель». Увидев на ступеньках Женьку, из машины лезет сам Руслан.

— Здорово, Жека. Чего не объявляешься?

— Закрутился.

— А зря. У меня новенькие есть. Свежачок.

Ну, конечно, свежачок! — отработанный материал из Питера и Москвы. Молдованки и хохлушки.

— Ну, как у тебя?

— Хреново. Глебовские мышей не ловят. Вчера у меня драка была. Перегонщики перепились. Девушку одну, Тамару, знаешь ее, побили. Неделю в простое будет. Здание повредили — солнечным зонтом два окна высадили и вывеску попортили. Так менты раньше глебовских появились. Трех перегонщиков сегодня отпустили, а один у них остался. Менты говорят, что он весь ущерб и оплатит. А что с него слупишь-то? Мы его еще в кафе обшарили — четыре зеленые сотни в кармане и все. А тут не меньше тысячи.

— Откуда они вообще взялись?

— Услышали на трассе, что в Глебовске шлюхи классные. Завернули к нам оттянуться. Не дотерпели до Москвы.

— А что перегоняют?

— Крайслеры.

— Хорошие?

— Хорошие, Жека. Очень хорошие. У ментов стоит сейчас белый «Крузер». Серебристый. Новенький. Представляешь? Его бы сейчас арестовать, сделать правильную оценку и реализовать. Взять оттуда на ремонт и за моральный ущерб, а остальное — этому герою в зубы и «гуляй, рванина».

— Ну а кому он машину перегоняет?

— Его проблемы.

— Смотри, чтоб нашими не стали.

— Ну а если попробовать?

— Пусть менты его подержат, подождем с недельку, кто объявится за машиной.

— И еще, Жека, менты просили передать — тут в район из Питера и Москвы фээсбэшников со своими альфами-омегами ждут. Вроде как патриарх собирается к вам на два дня в монастырь.

— Когда?

— Через неделю. Я позвоню.

— О'кей. Спасибо. А насчет машины держи в курсе. И, Руслан, не зарывайся. Лишняя головная боль ни к чему.

Далее:

— совещание на «Хлебозаводе»: вторую печь решили не останавливать,

первую печь сделают за месяц, и уже тогда, в плановом порядке можно будет останавливать вторую; а вообще, похоже, нужно будет по-тихому менять все печи, заводу уже сорок лет;

— смотрел на складе образцы немецкого сайдинга, оформили заказ;

— обедал на «Пивзаводе» с технологом и директором, оттуда же звонил по мобильнику Пахому насчет двух заводских палаток вокзала, вроде договорился;

— заехал в больницу, Глобу не видел — в реанимации; говорил с врачом — снимки позвоночника хреновые, нужно срочно везти в Москву;

— разговор в нотариальной конторе по поводу упрощенных процедур купли-продажи дачных участков в Женькиной зоне, сошлись на четырех тысячах (Женька тут же отшелушил сорок бумажек, с этими мелочиться — себе дороже), но нужно будет еще своего юриста послать, чтоб все правильно оформили.

В Лукошино Женька вернулся после пяти.

— Евгений Николаевич, я еще нужен? Там в каптерке Димка с Володей сегодня дежурят.

— Свободен. Завтра к десяти едем к Родиону на дачи, а в двенадцать — совещание на комбинате. Скажи Диме, чтоб меня не беспокоил, ужинать буду сам.

— Так Валентина звонила — сейчас придет.

— Отмени. Пусть завтра с утра будет. А себе из ресторана что-нибудь закажите. Давай, пока.

Женька входит в молчаливый дом. Запирает за собой входную дверь на четыре поворота ключа. Идет на кухню. Из холодильника достает ветчину, помидоры, банку с оливками, укладывает в пластмассовое ведерко. Хлеба черного нет, только белый, ну и хрен с ним. Туда же — полторалитровую пластиковую бутылку с пивом, и еще рыбную нарезку. Проходит через гостиную, в холл, и далее к себе наверх, запирая поочередно за собой сначала металлические двери из холла в коридорчик, потом — дверь со второго этажа во взрослую половину. Пускает в ванной воду, а пока вода согревается, снимает костюм, аккуратно пристраивает на вешалке в шкаф; сбрасывает рубашку, бронежилет, пропотевшую под бронежилетом майку, трусы, носки и голый идет в ванную. Встает — вода еще чуть теплая, но — в кайф. Надо было все-таки перед выездом из Глебовска завернуть к Руслану, или к Динаре на трассу заскочить. После душа натягивает спортивный костюм и, подхватив ведерко, продолжает восхождение — на третий этаж, в резиденцию. Последний поворот ключа в замочной скважине железной двери. Все. Он дома.

Включает компьютер, открывает бар, достает пока маленькую — для работы — бутылочку немецкого пива, сдергивает пробку и глотает прямо из горлышка. Закуривает первую в этот день сигарету. Берется за «мышку».

Почта. Официальная рассылка для членов Совета директоров компании «Видео Интернэшнл Л». Именно так зарегистрирована эта фирма в оффшорной зоне, фирма финансирует работу энного количества цехов, по воспроизводству DVD с фильмами. Женька там член Совета директоров. Нормальная компания. Кино как кино. Лицензионное, и по-тихому — нелицензионное. В их неофициальной «табели о рангах» Женька в этом Совете на предпоследнем месте. Считается, что значимость его определяется только обеспечением сбыта пират-

ских дисков на трассе, на свои сходки его зовут редко. Только уведомляют по почте. Но Женьке так удобнее, члены Совета ни разу не видели, как он разговаривает с их председателем раз в месяц один на один. Собственно, на его-то деньги и закрутилась эта «Видео Интернэшнл». Всего отчета он не читает, смотрит в Приложение, на предпоследнюю строчку — его августовский приваток \$ 63 000. Нормально.

А теперь — «Привет» от П. Женька входит в интернет, Яндекс, почта, и открывает заведенный два года назад только для одного адресата ящик. Открывает письмо с «Приветом» и скачивает на флэшку прищипленный файл.

Вынимает флэшку и вставляет в стоящий отдельно ноутбук. Открывает файл сначала в ворде, на экране бессмысленный набор знаков, Женька выделяет текст, копирует, потом запускает написанную самим П. программу, и вставляет скопированное в открывшееся поле. На экране текст полугодового отчета в штаб-квартиру фирмы на Коста-Рике. О'кей. Отчет Женька читает внимательно, прерываясь, чтобы открыть файлы с предыдущими отчетами, сравнивая. Должен же он знать, где и на чем его разводят. Нет, чисто работают ребята. Чисто. Вот только эти две позиции. Нужно будет потом задать пару вопросов по этому поводу. Внизу комментариев от П. Опять Женька лажанулся — не две позиции, а три. Пропустил. Короче, за полгода 46 000 ушло на сторону. Опять. Но, в целом, можно сказать, по-божески. Так сказать, плановая за конспирацию утруска-усушка. Жить можно. Через год-два надо будет менять и Совет директоров и всю эту структуру. Но где время взять?

В Лукошино про Женькины дивиди-игры не знает никто. Это уже его личный отхожий, можно сказать, интимный бизнес. Циферки для «Дойче банка». Еще немного, и эти циферки перекроют его испанский счет. В дивиди-кино Женька начал вкладываться, когда народ в Лукошино только-только видео осваивал. В первые два года деньги от дисков шли ломовые, это потом началось законотворчество и передел рынка.

Из Яндекса Женька отбил «емелю» для П. «Отпуск планирую провести на юге». То есть деньги как обычно — в «Дойче банк».

Письмо от Алисы с Яной. Настучали из интернет-кафе в Малаге, погулять туда приехали с одноклассниками. Ездили с матерью на экскурсию в Марокко, в Танжер. Не понравилось. Грязно и скучно. В школе нормально. Передай Антону привет.

Ага, передам.

От Наташи — два смайлика и текст: «Нужны парча и лак. Скажи, когда будет транспорт, из Москвы или из Питера, без разницы».

Женька взял мобильник, нажал на цифру 1, и набор.

— Привет.

— Привет.

— Послезавтра две машины будут из Питера. У тебя там много?

— Лак для волос — сорок коробок, и двенадцать рулонов парчи.

— Пиши телефон экспедитора... Не зайдешь?

— Нет, Жень, извини, сегодня не в форме.

— Антон как?

— Да ничего вроде. Попсиховал немного из-за Людки. Любовь себе придумал, дурачок. Но сейчас успокоился. Возится с твоей видеокамерой.

Мошек снимает. Говорит, что созрел до философского кино. Не слышал такую фамилию Пелевин?

— Это писатель который?

— Да. Антон его книжку прочитал. Что-то такое про насекомых. Людмила Акимовна подсунула. Завелся. Я, говорит, знаю, как теперь снимать.

— Дай бог. Ну ладно. Целую.

— И я тебя целую.

Отбой.

Открыл вторую бутылочку, подошел к окну. Внизу пустой двор. Забор. И за забором снова двор, но уже не его, а Андрюхи. Красно-белый с широкими окнами дом посередине. Наташа сидит в беседке, какие-то бумаги листает. Блестит на столе только что положенный мобильник. Женька снимает со стены бинокль, всегда висящий у этого окна: трава, дощатый настил, Наташкины шлепанцы, — он медленно прогоняет в окулярах ножку стола, — рука, плечо, прибор на голове. Лицо ее совсем рядом. Нижняя губа закушена, чуть обозначились подглазья, так у нее всегда во время месячных. Наташа вдруг подняла голову и глянула в упор на Женьку — он даже на секунду отвел бинокль. Да нет. Вдоль забора идет Антон. Это она на Антона смотрит.

Красивый мужик будет.

Антон подпрыгивает и виснет на турнике, налитые мускулы блестят на предзакатном солнце. Сколько раз говорил ему, не качай мускулы, мышечная масса тормозит реакцию. Нужны сухие руки и точный глаз.

Антон убить может уже, если стукнет правильно. Но ведь не стукнет. Робкий. Правда, никто его и не задирает. Отстаёт Антон от своего тела. Пятнадцать пацану, от девок у него, как говорит Наташа, крыша постоянно едет. Ну, конечно, с таким-то телом. А он все робеет. А вообще... парень хорош. И — в мать. Хотя вроде и Женькино есть что-то. Андрюху боготворит. Год назад пристал, дай, дядь Женья, все видеопленки, где вы с батей. Ну да, снимались, но обычно на отдыхе, в египтах-турциях. Дома не до кина было. Так Антон потом все Лукошино обошел, интервью у ветеранов на видео брал, а также места, так сказать, боевой славы снимал. Женька тогда нашел в Питере режиссера, заплатил пять тысяч, и тот взял к себе Антона на месяц — вместе делали кино. Настоящее, с музыкой, с голосом профессионального актера, титры взяли из «Криминальной России». Фильм получился, не хуже тех, что по телевизору. У Женьки есть и диск, и кассета. Молодость там. Ну не такая, конечно, как на самом деле. Розовые слюни. Но Женьке даже нравится. Лучше такое кино, чем их жизнь.

Антон крутит солнце, тело мелькает в окулярах. На мгновение крупно — лицо Антона с полуоткрытым ртом и остановившимся взглядом — Наташкино лицо в те мгновения, когда...

Женька замычал.

Пару раз он непроизвольно говорил Антону «сынок», и тот, похоже, воспринимал как должное — типа обращение старшего к младшему. Но Наташка потом сказала: «Больше так не говори. Никогда. Понял? Он носит фамилию покойного отца. Он помнит, как отец его на шее носил. Зачем ломать все ...» — «Ладно-ладно, не буду. Нет, правда, не буду». Ну и ладушки. По сути, отношения их с Антоном сейчас — отношения отца и сына. Этим летом купил ему самую навороченную видеокамеру и новый компьютер. Друзья Антона на видеоиграх как на игле сидят. Тупеют. А Антон кино свое монтирует. Работает

часами. Как заведенный. Если хватит ему запала еще на пару лет, будет учиться во ВГИКе. Так Женька ему и сказал, считай, что ВГИК у тебя в кармане, только сам не будь лохом — снимай.

Должна же быть справедливость хотя бы для детей.

Женька открыл коробку с присланными из Москвы дисками: боевики, порнуха, ужасы, сериалы, «авторское кино». Поколебавшись между Пенелопой Крус и «Войной миров», Женька поставил в проигрыватель «Войну», и когда на экране пошли титры, нажал на паузу. Разложил на стуле у дивана харч, открыл баллон глебовского пива и нажал кнопку «Play». Все — трудовой день закончен.

А пиво, кстати, неплохое, марку держим.

На экране проваливается земля, вместе с машинами и домами, мечутся люди, режиссер сделал это в стилистике телерепортажа плюс ситуация: одинокий бездетный отец при живых детях и жене. Вот такой ужас Женьке в кайф — упакованный в классное кино, для приема вместе с пивом, рыбной нарезкой, маслинами, ветчиной и помидорами.

То самое кино, что надо.

3. Ссыкун

Женька ненавидел блатные песни, лагерные наколки и отечественные боевики. От «Бригады» его тошнило, но в разговоре со своими — а куда денешься? — он кивал головой «да, да, пацаны — классное кино». На самом деле он любил «Крестного отца» и «Лицо со шрамом», он любил старинное советское кино «Три плюс два» и «Кавказская пленница», любил про «Блондина в черном ботинке» и про Штирлица. Нет, фильмы из «Криминальной России» он смотрел внимательно, даже очень. Но здесь интерес был производственный — Женька обязан знать, как их теперь показывают народу, то есть — какая для них погода на завтра.

Когда-то Женька любил ездить на рыбалку, любил ездить за грибами с дядей Колей и Владиком. Но ни за грибами, ни на рыбалку он не ездит уже давно. Не может он часами сидеть на берегу, чувствуя спиной открытое пространство сзади с кустами и деревьями. И на озеро перестал ездить, купание в открытой со всех сторон воде, то есть минуты и часы полной беспомощности — это только если за границей, в Турции или в Испании, на пляже.

Женька знает, что он трус. Трус с детства.

Первый настоящий ужас он пережил в детсадовском возрасте перед телевизором, показывавшим мультфильм про маленькую девочку, которая заблудилась в ночном лесу: девочке страшно, лес темно-лиловый, косматый, кричат, как живые, кривые деревья, ухают птицы. Сова с диким глазом и изогнутым клювом выскочила откуда-то сбоку, закрыв собой экран, и Женька вздрагивает всем телом. Ну а когда пень перед девочкой неожиданно ожил, встал на корнях и протянул к девочке сучковатые корявые руки, Женька замычал через сдавленное горло, потом крик вырвался наружу, в комнату заскочила мать, пившая с каким-то очередным мужиком на кухне: «Женя, Женечка, что с тобой?» Ну, а потом раздался голос мужика, возникшего в проеме двери: «Глянь, да он обоссался от страха. Что же с ним в жизни будет, если он от детского кино ссытся?»

Вместо отца у Женьки были дядя Витя, дядя Валентин, дядя Андрей, дядя Толя, это пока мать не начала болеть. Потом новые мужики возникали в их квартирке на неделю-две и пропадали бесследно. Отец Женьки разбился на мотоцикле, когда Женьке было полтора года. Ехал с рыбалки с дядей Колей, соседом по бараку, отцом Владика, и на повороте вылетели в канаву — дяде Коле ничего, а отец сломал затылок. Умер в тот же день, в больнице. И хорошо, что помер, говорила мать, поддав: «Мне еще пожить хочется, а тут возись с двумя полудурками засранными — старым да малым».

Женька помнит утренний ужас, когда, проснувшись в предрассветных сумерках, он увидел в открытую дверь огромную серую птицу, севшую на спинку материнной кровати. Птица пристально смотрела на него блестящими глазами, и только, когда свет из окна начал прибывать, глаза птицы превратились в пуговицы, а вся она — в брошенный на спинку стула халат.

Страшно было в детском саду — на него кричали чужие тетки-воспитательницы, били мальчишки из его группы, и он очень хотел в школу, но первого сентября в шеренге первоклассников рядом оказались все те же его детсадовские мучители.

Он не любил гулять. Их барак комбинат построил в слободе, где жили молокозаводские, и Женька, получалось, был и не комбинатовским, и не молокозаводским. Он сидел дома и смотрел телевизор, пока не приходила мать. Женька любил, когда она приходила пьяная, — мать сразу заваливалась спать, и телевизор смотреть можно было хоть до часу ночи.

Потом, в пятом классе, когда он выиграл историческую олимпиаду в школе, за него взялась Людмила Акимовна — начала давать книжки. Года три Женька читал как сумасшедший. Жюль Верн и Вальтер Скотт у него не пошли, скучно. Зато раз пять перечитал «Тома Сойера» и «Хуторок в степи». Читал Диккенса и Стивенсона, Клифорда Саймака и Стругацких. Ну а по телевизору он любил смотреть уже не мультфильмы и боевики, а старые кина про любовь.

При этом Женька сторонился девочек из своего класса. Почему-то все они казались ему дурами. Все до одной. Не то, что старшеклассницы. В классе он сидел у окна за предпоследним столом, и отсюда хорошо просматривалась спортплощадка, на которой старшеклассницы играли в волейбол, — он глаз не мог оторвать от их рук, от их плеч, бедер, от наливавшихся грудей, обтянутых спортивными костюмами. «Человека со шрамом» в первый раз он смотрел в видеосалоне за баней. Фильм потряс его — и не бандитскими разборками, а сценой с Эльвирой. Женька не мог понять, почему Тони после первой же встречи с Эльвирой сказал, что Эльвира на него запала. Ведь она же отшила его сразу! В лицо говорила: урод, козел, вали от меня и т. д. А Тони как-то понял, что — запала. Но как?!

Лучшими часами в школе были для него часы в группе продленного дня, когда в классе сидело их всего несколько человек — кучка из младших классов в одном углу, и взрослые — Женька и четыре девятиклассницы, занимавшиеся английским, — в другом. Женька помогал девушкам составлять английские фразы и переводить абзацы из английской книжки Агаты Кристи.

Женькина кличка в школе была «ссыкун». Вначале одноклассников смешило то, как он вздрагивал при неожиданном звуке. А однажды, когда Кирия из комбинатовских подкрался сзади и заорал ему в ухо, Женька дернулся от испуга, не очень сильного на самом деле, и тут же обнаружил, что штаны у него мокрые.

Это было в четвертом классе. При всех, в коридоре на перемене. Потом на ухо сзади орал Букса, потом снова Киря. Повторилось в пятом. Опять Киря. Но тогда уже Ленка Шаповалова врезала ему по морде, а Женька месяц не показывался в школе. И к ним стала приходить Людмила Акимовна. Смешно, но идею насчет секции боевых искусств подсказала ему она. Тренер глянул на Женьку кисло — уж больно дохлый был пацаненок. К тому же секция была чужой территорией — сюда ходили только комбинатовские. Но Женька не пропускал ни одного занятия и дома за баракком в огороде повторял силовые упражнения до шума в ушах. Через полгода он втянулся, и оказалось, что на тренировках он может быть злым, агрессивным и жутко настырным. Через год взрослая рука тренера отлетала от его ударов. И все равно, вне спортзала услышав сзади «ссыкун», он втягивал голову в плечи и ускорял шаг, — знал, что не посмеет ответить. Трус потому что.

Кончилось все в восьмом классе. В конце апреля школьников погнали на субботник — убирать территорию парка за переездом. Молокозаводские пришли с лопатами и граблями. Для комбинатовских, которые жили в старых кирпичных, пленными немцами построенных трехэтажных домах, инструмент должен был привезти завхоз, но завхоза еще не было, работы не начинались. Женька косил глазом на Аньку, которая пришла в белых джинсах и белой курточке, вспоминал ее лицо совсем близко от своего, когда вчера на продленке они переводили с английского. У нее были серо-зеленые глаза и потрескавшиеся губы.

Женька не почувствовал, как вдруг затихли сбоку от него комбинатовские пацаны, — к нему крался сзади, стараясь не шаркнуть кроссовкой, Витька Бибилов. И никто не остановил его, и Женьку никто не окликнул, хотя многие, наверно, видели и знали, для чего подкрадывался Бибилов.

Вставший сзади Бибилов набрал воздуха в грудь и крикнул в самое ухо Женьки: «Жек!-а-а!!!» Крик вошел холодом — ледяным — в Женьку. И он умер. Тело его, освободившееся от Женьки, привычно, как на тренировке, крутанулось и встало в нужную позицию. Черенком лопаты, которую Женька так и не выпустил из рук, ткнул он Витьку в живот. А когда Витька сложился вдвое, долбанул его в лицо коленом снизу и с размаху опустил на затылок зажатый в кулаках короткий отрезок деревянного черенка. Пока тело Бибилова раскладывалось на земле, Женька взмыл в воздух — он впервые переживал странное ощущение мира вокруг, замедлившего свои движения, сам-то он успел в прыжке сложить свои, отяжеленные кирзовыми сапогами ноги так, чтобы правая подошва нацелилась на подставленное Бибиловым левое ухо, а левая — каблуком — на торчащий сбоку нос. Алым стукотом выхлестнула кровь из Витькиного носа, а Женька бил и бил неподвижного Бибилова сапогом в живот. И только тут включился слух. «Ссыкун! Падла!!!» — подняв голову, Женька увидел, как в замедленной киносъемке, ринувшегося на него Буксу, но вместо того, чтобы рвануть в сторону, Женька поднял лопату и только тут услышал уже свой собственный незнакомый ему крик. Лопата была нацелена на шею Буксы, тот отпрянул в сторону, его чуть занесло, и Женька плашмя долбанул железом по голове Буксы. Голова дергалась под ударами, Букса все стоял и стоял, а потом начал медленно оседать.

«Жека! — разобрал Женька в вое вокруг голос Владика. — Что с тобой, Жека?» И Женька как будто вернулся. На земле лежал Бибилов, вокруг головы

небольшая лужа крови. Визжали девочки. Букса стоял на коленях, упершись руками в землю, руки его дрожали. К Женьке шли, бежали почти директорша и физрук. Они говорили что-то Женьке, и Женька слышал их голоса, но ничего не понимал.

Женька повернулся и пошел из парка. Никто его не останавливал. И никто не пошел с ним. Женька шел по улице, с лопатой. Один.

И только тут он осознал, что штаны у него сухие. Он не обоссался. В первый раз.

Потом две недели он лежал дома. Болела голова. Тошнило. Приходила Людмила Акимовна. Она вместе с матерью возила его в больницу, сначала в Глебовск, потом в областную психиатрическую. Каждый день после школы заходил Владик. Владик рассказывал, что Бибикову сделали операцию, что-то порвалось у него в животе. Он и сейчас в областной больнице — ухо ему подшили сразу, а нос еще будут выправлять. Ну а Букса отделался сотрясением мозга. В школе говорят, что Женька сошел с ума. В классе его жалеют больше, чем Бибикова и Буксу. Все молокозаводские за Жеку. И даже Андрюха из комбинатовских сказал, что он тоже за Жеку. У Андрюхи спросили, ты чего, за молокозаводских теперь? А Андрюха сказал — нет, я за справедливость. Родители Бибикова подали заявление в милицию, но Женьку отбила Людмила Акимовна, принесла справку из психдиспансера. И теперь Женьке ничего не будет, его только переведут в Софроново в интернат для умственно отсталых.

Но Софроново отпало само собой. В школе решили, что он сдаст экзамены экстерном и получит справку о восьмилетнем образовании.

По истории, литературе и русскому он занимался дома с Людмилой Акимовной, по остальным предметам — самостоятельно. Ну а когда в середине июня пришел сдавать экзамены, оказалось, что и напрягаться не надо было. Его посадили за стол в кабинете завуча, напротив села химичка, историчка, она же завуч, они задавали вопросы сразу по всем предметам, слушали в полуха, сказали «Удовлетворительно» и достали из папки, лежавшей на столе, уже готовую справку об окончании восьмого класса.

На том и закончилось Женькино образование.

Лето он ишачил на огорожке возле их барака и еще на одном — у речки. Там было восемь соток. Женька решил становиться взрослым. Взрослым по-новому — фермером. Восемь соток у реки и три возле барака — это было много. Очень. Наломавшийся за день Женька засыпал вечером прямо за столом.

Мать в его огородных делах не участвовала. Уйдя с комбината, она занялась торговлей. Сначала торговала в Глебовске тетрадами и бумажными скатертями, которые на комбинате начали выдавать вместо зарплаты. Потом перешла на цветы, потом — на постельное белье, турецкие футболки, шлепанцы, шорты и т. д. За товаром к челноку в Глебовск ездил Женька, и Женька же торговал, когда мать запивала.

Ну а самое главное, он начал ходить на танцы. К нему вдруг зашли молокозаводские с их улицы и позвали с собой в ДК.

— А чего там? — глупо спросил Женька.

— Да комбинатовские залупаться опять начали. С тобой спокойнее.

Разговор по дороге был только про то, как и что делать, если комбинатовские полезут сегодня. Владик показал кастет. «А у тебя что?» — спросил он Женьку.

— Ничего.

— Ну а если сунутся, чем отбиваться будешь?

Женька пожал плечами.

Ему выдали короткую цепь — «положи в карман, спокойнее будет».

Видно было, как они боятся. Но ведь — идут же!

Женька тоже волновался. Но по-другому. Он шел на танцы. На настоящие, как взрослый мужчина. И поначалу, действительно, ощущение было сильное, это когда сверху из динамиков грянула «Феличита», и девки — и взрослые, и старшеклассницы из их школы — разом поднялись и пошли в центр зала чужой, жуткой походкой женщин из телевизора. И перед ним, стоявшим у стены, заколыхалась в яростной счастливой музыке толпа девушек. Потом начали выходить парни. Но тут молокозаводские вызвали Женьку на крыльцо. Они обычно здесь сидели. Передали ему початую бутылку пива. Женька допил, хотя отвратный вкус пива он знал — пробовал дома, со стола после матери. Потом какое-то время сидел неподвижно, ждал, когда пройдет ощущение разбухшей от пива головы. Комбинатовские не цеплялись, проходили мимо, не замечая их. Женька посидел на виду с молокозаводскими на крыльце, потом снова пошел внутрь музыки послушать. С ним заговорила Ленка Шаповалова. «Чего не танцуешь?» — «Неохота что-то» — «Ага» — сказала Ленка и отошла. И Женька немного попереживал по этому поводу. Из пацанов, с которыми пришел Женька, не танцевал никто. А комбинатовские пацаны — те танцевали. Становились в кружок, руки поднимали и даже что-то там выкрикивали. Потом Женька снова пил пиво с молокозаводскими, но уже не на крыльце, а внизу, под березами у затона. И оттуда же пошли домой.

— Ничего оттянулись, да? — сказали ему на прощание.

— Да, — ответил Женька искренне.

Так и пошло.

Но настоящая жизнь в ДК у Женьки началась чуть позднее. Когда он уже пообвыкся, перезнакомился с молокозаводскими, когда начал уже примеряться, как он подойдет к Аньке или к Ленке пригласить их, когда пиво уже перестало казаться ему противным. Он сидел с молокозаводскими на крыльце, мимо проходила небольшая компания комбинатовских, и вдруг Штырь тормознул и остановился напротив.

— Привет, Ссыкун! Ты, говорят, психом теперь заделался?

И Женька, уже как будто уставший ждать этого, как бы с облегчением даже прыгнул с каменных перил, потянулся всем телом, не отрывая глаз от наглого свечения глаз Штыря. Правая рука потащила из кармана короткую цепь. Штырь, настроившийся, видимо, на предварительное протокольное перелаивание, не успел ничего. Коротким движением Женька рубанул цепью по роже его от уха до губы. И когда Штырь, взвыв, схватился за лицо, Женька слегка подпрыгнул и правой ногой ударил его в пах, Штырь свернулся на плитах крыльца.

— Ссыкун, а если так? — услышал он. Комбинатовские чуть подались назад, оставив впереди Томаза. В руке у Томаза открытый нож. — А если так?

— Нож-то убери, — услышал свой спокойный почти голос Женька. — Убери, сказал, хуже будет.

— А ты — цепь.

И Женька уже привычно удивился замедленному движению руки Томаза,

которую он поднял в сторону и разжал пальцы. Можно было в подробностях проследить за тем, как поворачивал и поблескивал нож, падая на бетон. Женька выпустил цепь. И, крутанувшись на месте, достал пяткой правой ноги челюсть Томаза. Аккуратненько так, вполсилы. Голова Томаза мотнулась в сторону, руки как будто опустились, и Женька протянул наклонившееся вперед тело свое за правой рукой, точно уложив себя в удар — снизу, в подбородок. Томаз сел. И еще один удар — не слишком сильно — ногой в нос, чтобы ослепить. И все.

Сзади стояли уже молокозаводские, кто-то ногой отшвырнул нож Томаза, кто-то подвинул к ноге Женьки его цепь.

Подцепив цепь ногой, Женька сбросил ее с крыльца.

— Будут еще вопросы?

Комбинатовские стояли молча.

Женька развернулся и пошел к перилам. Чуть помедлив, на перила полезли молокозаводские, типа драки не будет.

Кто-то крикнул из комбинатовских: «Ну, Жека, с тобой все. Мы сейчас вернемся. Ты труп».

— Ага, — сказал Женька, глядя как комбинатовские уводят Томаза и Штыря.

— Слушай, а если, правда, вернутся? Они же сюда полгорода приведут? — спросил Владик.

— Нет, — ответил Женька. — Не вернутся. Кто им мешал сейчас?

Сейчас Женька не боялся. Вот этого всего — он не боялся.

— Ну, Жека, ты, даешь! Откуда?

— В кино видел, — сказал Женька.

Через несколько дней за городом на озере, выгрузившись из автобуса с компанией, Женька увидел, как Томаз уходит от трех разъяренных мужиков, по виду — глебовских. Женька выскочил навстречу и свалил первого. Бежавшие развернулись к Женьке, но Томаз, подхвативший с земли какую-то лесину, кинулся к стоявшим на берегу машинам, видимо, их машинам, и рубанул палкой по ветровому стеклу ближайшей. Взыла сигнализация, мужики тормознули. От берега бежали еще несколько. Но — голые, но — запинаясь, вдевая на ходу ноги в резиновые шлепанцы.

— По кустам, к пионерлагерю, — крикнул Женька своим. — Томаз, давай с нами. Веером.

В заросшем кустами овраге под пионерлагерем, где все сошлись через несколько минут, Женька спросил у Томаза:

— Ты что один-то полез на них?

— А этот урод сказал мне «черножопый».

— Ну?

— Че ну? Я не привык к такому обращению.

Домой возвращались вместе, по рельсам — глебовские, как сказал Томаз, приехали на озеро в трех машинах, и на дороге нагнали бы их точно. Ну а вечером в ДК Томаз со своей компанией и Женька со своими молокозаводскими жали друг другу руки.

Последним, с кем пришлось разбираться Женьке, был Король. Это уже зимой. Король вообще-то жил в Глебовске, но после зоны (два с половиной года за хулиганство) приехал в Лукошино оттянуться с бывшими друзьями. Для Женьки это уже была другая возрастная категория — сильно за двадцать.

Женька увидел его в зале для танцев окруженным комбинатовскими и, проходя мимо, услышал: «Да вы что, совсем тут охренели? Под Ссыкуном ходите?» И, уже не ожидая привычного наплыва ярости и силы, Женька просто положил Королю сзади руку на плечо. Тот повернул лицо с задержавшейся на нем улыбкой, ожидая, видимо, увидеть очередного старого кореша.

— Узнал? — спросил Женька и, не дожидаясь ответа, рубанул костяшками пальцев в нос и, отпрыгнув назад, успел, как на тренировке с грушей, провести пару серий ударов, сначала в живот, целясь по печени, потом два прямых в голову.

— Томаз, выведи его. Пусть продышится.

В следующую субботу Король сам подошел на крыльце ДК к Женьке.

— Классно ты меня сделал. Чья школа?

— Секция на комбинате. Уже три года.

— Ну, Михалыч, мужик классный. Да... Но что я скажу — на зоне тебе не светит. Имей в виду. Там сначала думать надо, а уж потом бить... Ну а вообще, жизнь у вас тут, я вижу, сильно поменялась.

Женька промолчал, какая была тогда жизнь, он не знал, и знать не хотел. Сейчас была его жизнь. Он кивнул и двинул навстречу поднимавшейся по ступеням Нинке.

Нинка была девушкой Женьки.

Месяца за три до этого, Женьку, сидевшего и ждавшего, как всегда, появления Аньки (да нет, только чтобы кивнуть ей издали, только чтоб, выбрав место поудобнее, ловить глазом ее волосы, профиль, плечи — а ведь каждый раз, собираясь в ДК, он давал себе обещание: «Сегодня!») — Женьку позвали комбинатовские «оттянуться» в общагу. Отказываться ему было нельзя. Женька пошел. Пили в комнате у грудастой компанейской Дашки. Потом поставили музыку. Из девок кроме Дашки была конопатая Ирка и рыжая Тамарка. Тамарка спросила, а ты, Женька, почему не танцуешь? Не умеешь что ли? Пошли, научу. Пошли-пошли, здесь тесно. И повела в свою комнату. Вот так, руку сюда положи. Да не бойся ты, что ты как девочка молоденькая. Обними крепче и просто под музыку ногами перебирай — вот видишь, делов-то. И Женька впервые почувствовал своим телом грудь и живые, трущиеся об него, бедра девушки, правая ладонь его плавилась от жара ее кожи под тонкой блузкой. Он почувствовал, как начал набухать член и попытался отстраниться, но Тамарка неожиданно сильно прижала его к себе: «А вот так ты еще не пробовал?», и губы ее впились в его губы, язык заскользил у него во рту. Женька аж замычал. «А? — спросила Тамарка, — нравится? Давай-давай, не жмись». И протянув руку, выключила свет: «Ну, вперед, командир!» Одним движением сбросила юбочку, переступила через нее и начала расстегивать пуговицы блузки. Трусики на ней не было. Женька послушно повторял за ней — расстегивал джинсы, стягивал футболку, а Тамарка деловито пошарив в тумбочке, уже надрывала пакетик с презервативом: «На. Надень... Да ты чего? Не так. Давай я», — и женские пальцы тронули то, чего никто кроме Женьки никогда не трогал.

Кончил Женька сразу же.

— И это все? — вздохнула под ним Тамарка.

— Хрена тебе, все! Давай еще.

Потом они пили оставшееся после ушедших ребят вино. Потом пришли

подруги Томки, и они перебрались в каптерку кастелянши на гору простыней, собранных для стирки.

В следующую субботу в ДК Женька, потоптавшись в толпе танцующих в обнимку с Тамаркой, предложил, ну что, пойдём к тебе.

— Не. Сегодня мне нельзя, сейчас за мной заедет парень мой из деревни... Да ладно тебе. Иди сегодня с Дашкой. Она в простое, — сказала Тамарка.

Женьке стало обидно от легкости, с которой Тамарка пихнула его к Дашке, но отказываться не стал. Месяца полтора ходил к Дашке. Ну а потом переключился на Нину. Тоже из общаги. Она больше всех была похожа на настоящую взрослую женщину. Особенно, когда надевала красное платье и распускала волосы.

Мать злилась: смотри, триппер не подцепи у своих потаскушек.

Но Женька уже почувствовал себя взрослым. Выращенную картошку продать толком он не смог. Мать возиться с картошкой на рыночке отказалась, и двадцать мешков из тридцати двух, выкопанных Женькой, пришлось сдать на базу за копейки. Женька включился в материнскую торговлю, и у него наконец-то появились свои деньги.

Наверно, это был самый счастливый период его жизни. Они перешли с матерью на обувь, возили аж из Москвы — из Лужников. Отстегивали по тройку ментам, Коробу и Точиле из Глебовска по пять рублей в день, и — нормально. Только вот мать начала запивать, и Женька — уже на свои — вызывал доктора с капельницей. После лечения мать завязывала на месяц-два. Потом начиналось снова. Но жить можно было. Вполне.

Порушил все Ленька Быков, Бык, вернувшийся в город. Когда-то он ходил в паханах у комбинатовских. Потом, отслужив в армии, сразу же сел за драку. Порезал кого-то. Вышел. Год тусовался в Питере с бывшими армейскими друзьями, торговавшими джинсовым материалом. Но, видно, не сошелся с компаньонами — Бык был жадным, вороватым, ну а когда напивался — из него вообще дурь какая-то перла. Но в город Бык вернулся с понтом. Открыл два ларька — водка, вино, сигареты, сникерсы и баночное пиво. Баночное пиво у него не пошло, глебовского хватало. Это только так, если на танцах в ДК повыпендриваться с банкой. Не больше.

Появление Быка насторожило Женьку — Бык начал пялиться на Нинку. Быку передали, что Нинка сейчас у Жеки. А я такого не знаю, вроде как ответил Бык. Но тут Бык запал на практикантку из Питера Таньку. Ситуация вроде разрядилась. Но Женька уже был настороже. С Быком просто так не разойдешься.

Быковской торговли хватило на полгода. Потом сторела она вместе с домом Быка. Говорили, что это был поджог, но вряд ли. Горели-то не киоски его, сторел старинный, оставшийся Быку после смерти родителей дом из закаменелой черной лиственницы с сараем под одной крышей. В сарае и был весь товар Быка. Соседи вроде слышали запах горелой проводки с двора, ну а в доме гудела компания Быка, и только когда пламя выхлестнуло из-под крыши — гореть начало на чердаке — ошалелые, полуобожженные они начали выскакивать во двор. Бык успел выбить двери сарая с другой стороны дома и выкатить свою «Ниву». Дом и товар сторели за полчаса. Бык выставил ларьки на продажу, а сам перебрался в дачное товарищество за город, там у него был домик-скворечник на четырех сотках. С ним поселился приبلудившийся в Лукошино Миха-афганец. Типа быковский телохранитель. И вот после пожара Бык стал брать город.

Договорился как-то с лукошинскими ментами, отжал пахомовских ребят из Глебовска, которые крышевали местный рынок и магазинчики на автостанции, и стал в городе хозяином.

Пока Женьку это не касалось. Вместо пахомовских на рыночек стали приезжать быковские. Брали столько же. Ну и какая ему разница? Даже лучше стало — при Быке менты перестали цепляться. Но потом Бык начал давить масло — увеличивать плату. Деревенские бабушки с молоком, творогом и зеленью стали появляться только по субботам и воскресеньям.

Мать пока держалась. Но когда в очередной раз быковские потребовали на пять рублей больше, бабы с базарчика взбунтовались: от кого же вы нас за такие деньги охраняете? Да у меня, например, всего товару на пятьдесят рублей. Так его же еще продать надо. И что, пятнадцать рублей каждый день ваши? Не будем платить!

И тогда один из быковских парней поддал ногой трехлитровую банку с молоком. Почему-то разлитое по земле молоко вызвало у бабок приступ особого ужаса. Бабы заголосили. Мать отдала свои пятнадцать рублей.

Когда пришел Женька с тележкой забирать остатки товара, мать, уже сильно поддтая, заорала при всех на Женьку: «И вам не стыдно? Друг друга мордуете, блин, в героях там ходите, а мать защитить некому!»

— Кто сегодня приходил? — спросил Женька.

— Павлуха и Секач. Сказали, завтра вечером подъедут.

На следующий день вечером Женька, Томаз, Штырь и Андрюха сидели на другой стороне площади и наблюдали. Подъехала светлая «Волга», из нее вышли Секач с Павлухой.

— Сидите здесь, — сказал Женька своим и пошел через площадь.

Он подошел в тот момент, когда мать вынимала положенные пятнадцать рублей. Женька отодвинул в сторону Павлуху и взял три синие бумажки.

— Это мои деньги. Я их заработал.

— Ты что, Жека, тут тебе не ДК. Давай деньги, — заговорили пацаны и увидели идущих к ним Штыря, Андрюху и Томаза.

— Валите отсюда. И чтоб вас больше здесь не видели. У вас других мест хватает.

— Ты что делаешь, Жека? — сказал Секач. — Ты хоть что-то соображаешь?

— Вали-вали.

— Ну, Жека, гляди, — и Секач с Павлухой пошли к машине.

Женщины торопливо паковали товар.

— А вы чего? Торгуйте. Вас это не касается.

— Ага. Разбежались.

— Женька, давай, давай, — задергала его мать, — упаковывай товар.

— Ты-то чего? Ты же сама вчера говорила...

— Да мало ли что я говорила? У тебя своя-то голова есть? Куда вам пацанам против этих бандюг?

— Ничего не будет. Успокойся.

— Сидите на месте и торгуйте, — прикрикнул на женщин Женька. — Ничего не будет.

— Да-да, — сказал Андрюха. — Ничего. Если Жека говорит, так и будет.

— А как теперь будет? — спросила бабка с цветами.

— Теперь мы вас будем охранять.

— И за сколько? — деловито спросила тетя Клаша. Без издевки.

— По пять рублей, — сказал вдруг Женька. — По пятерке в день. Вот Андрюха со Штырем будут приезжать.

Достал из кармана материны деньги, отделил две синие бумажки и вернул.

— С матери взял, а с остальных? — спросили бабы.

— С остальных завтра.

Он протянул деньги Штырю: сгоняй за пивом, тут хватит.

Но попробовать принесенного Штырем пива не успели. На площадь выезжала ржавая «Волга», за ней «Нива» Быка.

— Быстро же они, — охнул Штырь.

Машины затормозили на другой стороне площади, разворачиваться и подъезжать не стали. Из «Волги» выскочили Секач с Павлухой и встали возле «Нивы». Оттуда не торопясь вылезал сам Бык и Миха-афганец. В «Ниве» остались быковская Танька и еще какая-то девка. Бык со своими — небольшая группа — стояли спокойно, пережидали идущие машины. Потом медленно двинулись через площадь. Бык массивный, широкоплечий, с головой, как будто утонувшей в плечах, шел чуть косолапя, как бы от непомерности своей телесной силы. Рядом высокий Миха-афганец, с бритой головой, светлыми бровками, с почерневшей на солнце рожей, ну и, соответственно, — развернувшие плечи Павлуха с Секачом. К ним шли настоящие взрослые бандиты.

— Ну... И который из вас Жека? — спросил, остановившись, Бык. — Ты, что ли, глиста перетянутая?.. А?!

Стоящий на месте Бык как будто надвигался на них. Глядя в серые утонувшие глазки, Женька успел подумать: хряк; хряк это, а не бык.

— А это что, твои бойцы? — усмехнулся Бык, и пацаны, и Штырь, Томаз, и даже Андрюха вдруг стали пацанами. — Вы чего, сучата?

— Леня, ну ты же сказал, на секунду, — кричала Танька из машины. — Лень!

— Шас! — рывкнул Бык и дернулся корпусом вперед, как бы замахиваясь на них всем телом. Штырь, Андрюха и Томаз непроизвольно шагнули назад. Женька сдвинуться с места не смог. И не мог отвести взгляда от глаз Быка — как будто ледяным ветром потянуло на Женьку от неподвижного Быка. И с места не сдвинуться — что-то произошло у Женьки с ногами.

— Мне некогда сейчас. С девками на дачу еду, — заговорил наконец Бык. — Поэтому с тобой — завтра. Готовься.

И кивнул головой своим.

Миха хмыкнул и подмигнул Женьке как бы даже сочувственно. Развернувшись, все четверо так же неторопливо двинули назад через площадь. И когда они расселись по машинам, из окна «Нивы» вдруг высунулась рука с пистолетом. Грохнуло два раза. Штырь и Андрюха попадали на землю, Томаз присел, бабы завизжали, Женька по-прежнему стоял столбом. Машины тронулись.

— Я думал, по нам, — смущенно сказал Андрюха, отряхивая свою пижонскую рубаху.

— Да нет, это он так... Перед девками покрасоваться, — услышал Женька свой голос. В голове у него гудело. Теперь он чувствовал мелкую дрожь в ногах и боялся, что ребята заметят. — Все, представление закончено.

— Ну а мы чего теперь? — спросил Томаз.

— А ничего, завтра придем на охрану, как обещали.

— До завтра еще дожить надо, — сказал вдруг Штырь.

Остальные промолчали.

Женька начал укладывать их с матерью товар в тележку.

Он уже знал, что делать. Не верил, что сможет, не знал, как, но что делать, знал.

Вечером в ДК все было как обычно. Подошли молокозаводские, потом комбинатовские:

— Говорят, ты рыночек на площади под себя берешь?

— Говорят.

— А Бык?

— Разберемся, — и повернулся к Нинке, — у тебя сегодня можно?

Вечером Женька пил с Нинкой, потом спал с ней, потом снова пил. Потом снова лез к Нинке.

— Ну, ты сегодня, как заведенный, — сказала она.

— Ладно, спи. Я покурю на балконе.

И Нинка тут же засопела. Женька посидел немного на ее крохотной кухоньке, потом вышел через коридор общаги на балкон. Второй этаж. Земля совсем близко. Он прыгнул. Пробежал по аллее к бывшей амбулатории, за кустами под забором стоял его велосипед и сумка. Переоделся в старый спортивный костюм. Выходную свою одежду аккуратно свернул и уложил в сумку. Сумку — под кусты. Тяжелый тощий рюкзачок приладил за спину. И крутанул педали. На глухой, вдоль комбинатовских заборов, дороге не встретил никого. На выезде из города в сторону дач и озера тоже пусто. Женька разогнал велосипед на асфальте за городом. Справа и слева черный лес. Потом что-то засветилось за деревьями впереди, Женька остановился, сполз с велосипедом в кусты — за поворотом на обочине фура, горят фары, два мужика ковыряются в моторе. Женька обошел их лесочком. Снова вылез на пустую дорогу. До садового товарищества оставалось совсем ничего. Слева открылось поле, и обозначились в темноте крыши домиков под лесом, он скатил велосипед на поле.

К забору товарищества он подбирался со стороны леса. Уложил велосипед в канаву под сосной и, выбрав глухой участок забора, перемахнул на территорию дачного товарищества. Домик Быка был вторым от угла. В окне горел свет, единственное живое окно в поселочке.

Женька пробежался на цыпочках вдоль забора по соседнему с Быком участку. Присел под цветочной клумбой перед низенькой — перешагнуть можно — оградой. Из дома доносились голоса. Женский визгливый, плачущий и хриплый — Михи-афганца. Быка не слышно. Потом голоса выкатились наружу: «Вот и вали отсюда, сука рваная!» Это — Михя. Потом Павлухин голос: «Ключ возьми, ворота нам откроешь». Какое-то невнятное бормотание и всхлипывание. Танька как будто успокаивает плачущую подругу. Стук калитки. Все — они вышли на улицу. Возле машин фигуры Михи, Павлухи и девок. Секача и Быка нет. Хлопают дверцами «Волги». Но машина не трогается. Потом через двор быстро бежит Секач. Ну да, днем, в городе за рулем «Волги» был Секач. Заработал мотор, машина тронулась в сторону ворот. Все, Бык должен быть сейчас в доме один — у Женьки пара минут, чтобы... Женька пытается стронуться с места и — не может. Дом молча пялится на него освещенным окном.

Снова стукнула калитка, по дорожке возвращается Михя. Поднимается на крыльцо. В соседних домиках по-прежнему тихо. И вдруг неожиданно для себя,

как будто повинуюсь затекшему от неподвижности телу, Женька привстал, перешагнул забор и пробежал три шага к дому. На небе в провале между тучами засветила луна. Под ноги легла черная тень от яблоньки. Женька вдыхает тяжелый влажный запах каких-то цветов.

Бухнула дверь. Шаги на крыльце. Женька ждет. Тихо. Не вставая, на корточках, Женька двигается вдоль стены и выглядывает за угол. Совсем рядом с ним — спина Миши, сидящего боком на нижней ступеньке крыльца. Запрокинув голову, Миша пьет из бутылки. Отрывается. Шумно выдыхает воздух. Ставит руку с бутылкой ступенькой ниже. Тишина. Миша неподвижен, голова его опускается.

Бык так ничем и не обозначился.

Женька медленно, придерживаясь за стену, встает на затекших ногах, запрокидывает руку и вынимает из рюкзака за спиной завернутую в тряпку, чтобы не звякнула о лежащий в рюкзаке топор, финку, разворачивает тряпку, наклонившись, кладет ее на землю. И, как в чужом жутком сне, выходит из-за угла.

Спина Миши под ним. Левой рукой Женька обхватывает голову Миши, зажав ему рот, правой — втыкает в шею слева финку и проводит ею слева направо. Миша выпрямляется, выгибается, опрокидывает Женьку на спину. Тяжесть его кажется невероятной, тело Миши бьется, вминая Женьку в землю. Женька ковыряет финкой в его горле. Длится это долго. И вдруг Миша как будто расплывается на нем, голова его становится неправдоподобно податливой, прикрепленной к телу не тугой шеей, а как будто привязанной тряпочкой.

Женька сваливает тело набок и вскакивает. Он по-прежнему один во дворе. Бык не вышел. Женька поднимается по крылечку — тесный коридор, заставленный канистрами, полуоткрытая дверь, кухня, стол с тарелками и бутылками, сдвинутые табуретки. В проеме следующей двери виден край кровати и свисающая с нее голая нога. Финку Женька держит в левой руке, в правой — топор. Бык на кровати. Лежит на спине. Абсолютно голый. Спит. Слышно его дыхание. Скомканные простыни. Женька наклоняется, кладет финку на пол, и обеими руками берется за топор. Встает над Быком. Настолько, насколько позволяет низкий потолок комнаты, поднимает топор, на секунду замирает и опускает топор, целясь в висок. Чувствует руками удар обуха, снова поднимает топор и — еще раз. Голова сама поворачивается лицом вверх, и дальше Женька бьет по переносице, на месте которой образуется провал. Провал заполняется темной кровью, оттуда при каждом ударе бьют брызги и костяная крошка на обои и в стекло окна. Бык практически неподвижен, если не считать мелкой дрожи в его руках и в спущенной на пол ноге.

Наконец Женька опускает топор. «Ну все, — крутится в голове бессмысленное, — теперь без разницы, теперь уже — без разницы». Лампочка, висят с потолка на проводе. Забрызганные простыни и подушка возле головы Быка, на стекле окна красные подтеки. Голое тело с черно-красной головой.

Женька идет в коридорчик к канистрам. Первая пустая. И вторая. И третья. Наконец, у самой стены — канистра, в которой что-то плесканулось. И еще одна, непочатая. Острый запах бензина, который, булькая, льется на голую грудь Быка. Женьку бьет дрожь. Он опять торопится. Выскакивает во двор, подхватывает под мышки Мишу, протаскивает его неподъемное, как колхозный мешок с картошкой, тело через крыльцо и коридорчик в кухню. Перешагивает через

него. Берет топор, но тут же ставит его в коридор рядом с канистрами. Поднимает с пола в комнате финку и кладет на полку в кухне. Срывает белую занавеску с окна, мочит край в бензиновой лужице на полу. Открывает окно кухни. И ловит себя на странном: он старается не стукнуть и не скрипнуть, как будто боится разбудить Быка с Михой.

На цыпочках спускается с крыльца, заходит за дом к приоткрытому окну. Чиркает зажигалкой, перебрасывает загоревшуюся тряпку в окно, кидается к высокому забору товарищества, переваливает через него и замирает. Потом находит щель в заборе — свет в окне ровный. Не разгорается. Значит, нужно лезть снова, но в этот момент окно как будто меркнет на секунду и разом вспыхивает изнутри оранжевым пламенем. И Женька, выхватив из канавы под сосной велосипед и закинув его на плечо, бежит через лес к белеющей полосе дороги по краю поля. И уже на велосипеде по наезженной плавной колее сворачивает в черный лес. Когда через несколько минут дорога снова подходит к краю леса уже с дальнего края поля, он видит зарево в поселке. Дорога снова поворачивает в лес, дальше километра два до комбинатовской железнодорожной ветки — возвращаться на шоссе Женька не собирается. На подходе к комбинатовской дороге он затаскивает велосипед вглубь леса, к заболоченному оврагу, запихивает его в высокую траву и поднимается на насыпь. Сначала он идет, потом не выдерживает и бежит. Под ногами заросшие травой шпалы, зубчатая лунная тень от елей то возникает, то гаснет под ногами. Женька бежит все быстрее и быстрее, ему уже не хватает воздуха, но остановиться он не может. Неожиданно быстро впереди появляются ворота бывших комбинатовских складов. И Женька как будто успокаивается. Он спускается с насыпи налево, идет вдоль забора, потом сворачивает на тропинку к задмам общежитий, нащупывает под забором сумку с одеждой. Раздевается догола. Натягивает джинсы и кроссовки. Футболку не надевает. Снятое и все еще мокрое тряпье закатывает в ком и запихивает в те же кусты. Это — на потом. И через заросшую аллею прогулочным шагом идет к торцу общежития за черными деревьями. Слепо поблескивают окна. Общага спит. Подпрыгивает, вцепившись в низкий балкончик на втором этаже. Подтягивается. За открытой дверью в коридор никого. В Нинкиной комнате все, как оставил. Нинка спит. Женька идет через коридор в душевую. Моется под холодной водой, поливая себя Нинкиным шампунем. Нюхает плечи, ладони. Вроде не пахнет. В Нинкиной кухоньке допивает из бутылки выдохшееся шампанское и лезет в кровать. «Чего опять? — бормочет Нинка, разворачиваясь к нему сонным горячим телом. — Женя... Женечка... ты чего дрожишь?... неужели так хочешь?...да?..»

Утром, когда Нинка собиралась на работу, а так и не сумевший заснуть Женька лежал в постели перед включенным телевизором, в их дверь постучали. Женька услышал из кухни голос Секача: Жека у тебя?

— У меня. Да вы чего, он еще не вставал.

Нинку отодвинули, в комнатку вошли Дрон и Секач.

— Ты... ты что, здесь? — спросили.

— Ну.

— И все время был тут?

Ответить Женька не успел — в квартирку без стука входили милиционеры.

— Одевайся, — рявкнул лейтенант из двери. Рядом, совсем близко с

кроватью встали еще два мента. — И вы тоже, девушка, с нами. Ну! Быстро-быстро.

— А что случилось?

— В милиции поговорим. Этих — кивок на Дрона и Секача — тоже в машину. Только в другую.

Внизу стоял милицейский автобус и «газик».

— О, как! — сказал Женька.

Менты молчали.

Допрос вел лейтенант.

— Какие отношения у вас были с Быковым? Что произошло между вами вчера? Что делали этой ночью? Правда ли, что вы требовали денег у продавцов на рынке?

— Спросите у бабушек, я хоть копейку взял у кого? — легко отвечал Женька.

Он ждал главного вопроса, но его не задавали.

В кабинет заходили еще двое, садились за стол и молчали, а лейтенант куда-то уходил. Потом возвращался и снова задавал вопросы. Это значит, что в другой комнате допрашивали Нинку, — что-то вроде перекрестного допроса, только заочного, сообразил Женька.

— Во сколько вы пришли домой из Дома культуры? Сколько пили? Что пили? Во сколько заснули?

— Пили вино. Потом еще немного шампанского. Да, девушка тоже пила. Не знаю, сколько.

— А потом? Что делали потом?

— Что-что... Трахались.

— Сколько раз?

— Чего?

— Сколько раз вступали в половые сношения?

— Ну, вы даете!

— Отвечайте на вопрос.

— Ну не знаю. Раза три-четыре. Я ж сказал, не знаю. Не помню. Потом устали и заснули.

— А из квартиры выходили?

— Ну, выходил.

— Зачем?

— Как зачем? Поссать. В уборную. У них в общежитии уборная только в коридоре.

Потом шаги по коридору. Какое-то там оживление. Начальственный голос. Женька разобрал:

— Девушку можете отпустить.

Вошел капитан. Незнакомый. Видимо, из Глебовска.

— Какие у вас отношения с Быковым?

— Да я уже все рассказал.

— Повторите мне.

Повторил.

— Расскажите, как провели ночь.

Женька затряс головой.

— Все. Я уже пять часов талдычу одно и то же.

— Придется повторить. Вы знаете, что сегодня ночью при невыясненных обстоятельствах погиб Леонид Быков?

— Как это? — с абсолютно искренней тупостью спросил Женька.

— Да так. Сгорел.

— Опять?

— Что значит, опять?

— Так он уже горел.

— Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу?

Женька пожал плечами.

— Что я могу сказать? Другими мы не были.

— А что вы скажете на то, что он обещал с вами разобраться сегодня?

— Скажу, что мне повезло.

Женька уже чувствовал, что его ведет. Он слишком устал, чтоб контролировать себя.

— А может, вы как-то поучаствовали в этом деле?

— Как? Вы мне объясните, как?

— Есть подозрение, что это ваших рук дело.

— Нет, вы мне скажите, как? Как я мог это сделать? Вы что?

— Ну, что ж, давайте разбираться, как.

Протоколы допроса Женька подписывал уже вечером.

— И вот здесь распишитесь. Вы находитесь под следствием и не имеете права покидать Лукошино. Вам все ясно?

— Я могу идти?

— Идите.

Во дворе сидела мать.

— Чего это они? Нинка ж им сказала, что ты у нее ночевал. Ее в два часа отпустили. И Андрюху, и Штыря. Арестовали только Секача с Павлухой и этих двух дур, что были у Быка. Их в Глебовск увезли.

Уже в темноте Женьку вызвали на улицу. Под забором на бревнах сидели Андрей, Штырь, Томаз и молокозаводские.

— Ну и как там, в ментовке?

— Задолбали, — сказал Женька.

— Слушай. А что это все было? И что теперь? — спросил Андрюха. И все замолчали.

— А я откуда знаю, — начал Женька и запнулся, как будто дыхание у него перехватило, как на велосипеде, когда на полном ходу переднее колесо вдруг проваливается вниз на крутом, вертикальном почти спуске, — жуть взяла от того, как смотрели на него пацаны, и от того, что Женьке уже не остановиться — подстерегли его, загнали, и Женька послушно заканчивает:

— Я теперь знаю одно, Быка нет. Теперь в городе мы. Понятно? Мы.

4. Наташа

Наташу Женька увидел в ресторане, когда отмечали его восемнадцатилетие. Он стоял с пацанами возле привезенных из Глебовска музыкантов, а через зал к ним шел Андрюха с какой-то девкой. Высокая. Стройная. Волосы. Плечи. Платье какое-то светло-зеленое. Каблуки. Походка. И... вообще!!

— Знакомьтесь, — сказал Андрюха, — Наталья. Моя невеста.

Ну, невеста — так невеста, подумал Женька. Ему-то что — у него уже была Маринка, блондинка с лицом и фигурой манекенщицы. Звезда Лукошино. И вдруг Женька увидел, что Наталья — это Наташка из парикмахерской. Ну да. Он же пару раз стригся у нее. Но там она — в сером халатике, волосы стянуты, джинсики, кроссовки, быстрая такая, деловая.

Потом Женька заметил, что пацаны на Наталью западают — очень уж стараются, когда она смотрит на них, да и когда не смотрит — когда просто стоит близко. Ну да, девка классная.

Но классных тут половина...

А может все потому, что держалась непривычно. Попадая в их компанию, девки обычно или строили из себя крутых, или оглядывались со страхом и восхищением. Преувеличенным, конечно. Ну, а у этой взгляд внимательный, спокойный, как бы даже чуть насмешливый. Или просто выражение лица у нее такое? И еще, — приятно было смотреть, как она Андрюху опекает, — после зоны, где ему отбили что-то в брюхе, он ослаб на спиртное.

Пару раз Женька ловил на себе ее взгляд — странный немного, как бы чуть озадаченный. Ну, это-то понятно — Женька становился знаменитым.

Потом осенью они ездили вчетвером в Турцию — Андрюха с Наташей и Женька с Мариной. Марина — все больше по магазинам и по дискотекам. У Маринки твоей, посмеивалась Наташа, скорость 20 баксов в час. Сама же Наташа тянула всех на море. Она и дома часами могла не вылезать из озера.

После обеда в отеле они гуляли по набережной до яхт-клуба, потом сидели в тамошнем баре. На территории яхт-клуба уже как будто и не Турция была, а просто — заграница: английская и немецкая речь, холеные девки-продавщицы в аквариумах-магазинчиках, магазинчиках, кстати, почему-то всегда пустых, но дорогих офигенно. Вот здесь Маринка и оттягивалась по полной. Это она заставила Женьку с Андрюхой сменить кроссовки и спортивные костюмы, купленные для курорта на Апраксином рынке в Питере, на европейские брючки, рубашечки и туфли.

Женьку тоже тянуло сюда. Он приходил смотреть на яхтсменов. Обычные, в принципе, люди, ничего в них особенного — полумужицкие-полупацанские лица и фигуры, молодежные майки, рубашки в клетку, и, кстати, линиялые какие-то. Но при этом — люди другие. И двигаются они не так. И смотрят не так. И никакого гонора, хоть и стоят рядом их шикарные яхты. Как бы расслабленные даже. Спокойные странным спокойствием. Но шибало от них крепостью какой-то нездешней. Нет, дело не в ихних дорогих яхтах. Женька уже мог купить себе такую же. Ну, пока не самую-самую, но вот такую вот, средненькую — легко, как говорит Наташка. Тут другое...

Они сидели за столиком в пустом баре, по потолку ползали солнечные блики от воды, за раскрытыми окнами камышом раскачивались мачты яхт, побрякивали, позванивали железными тросиками. Маринка прохаживается перед ними, покачивая как на подиуме бедрами, обернутыми в только что купленное парео, и Женька чувствует холодок ниже живота. Официантка с подносом чуть тормознула, засмотревшись на Марину, и за спиной официантки в проеме двери Женька увидел, как из магазинчика напротив выходят трое наших — китайские спортивные костюмы, голые животы и груди, татуировки,

тяжелые золотые цепи. На мордах — тупое и жалкое сейчас для Женьки: расступись, блин, русские пацаны идут!

И Наталья, сидевшая рядом, вдруг тихо спросила:

— Ну и как? Посмотрелся в зеркало?

— Да мы-то вроде поприличнее выглядим?

— Вот именно, что — вроде!

— Но ведь те же деньги платим, что и немцы.

— Ага, но заметь, Женья, с тобой продавцы везде по-русски заговаривают.

Ни разу не ошиблись.

Женьке как-то не по себе даже стало — она-то откуда знает, про что он думал? И потом — откуда столько смелости разговаривать с ним вот так? А ведь знает, что ей — можно.

Ну да, не в деньгах дело.

Как раз этим летом они с Томазом сняли на два месяца дачный домик на озере и поселили туда Ленку-повариху для питерского спеца. И спец этот по вечерам объяснял им двоим, сидящим напротив с тетрадочками, что такое банки и с чем их едят, как можно открыть счета в недоступном пока для русских европейском банке. И почему нельзя иметь дело с МММ и прочими «русскими домами "Селенга"». А также переводил на понятный им русский язык то, что пишут в газете «Коммерсант». «Газету эту читайте каждый день. Время ваше кончится скоро. Будущие деньги делят уже сейчас и делят без вас. Учитесь, если не хотите лечь в могилу лохами».

Все так. За три года — девять человек. Аллея целая на их кладбище. Четверо в разборках легли — с хачиками за рынком, когда один абрек, подстреленный Глобой по дурости, вдруг встал во весь рост и из АКМ положил троих лукошинских, четвертого же северские на своей трассе завалили. Ну а остальные — это просто Лукошино. Лукошино и ихняя дурость. Крышу сносило у пацанов от ломовых бабок, ну и от гормонов взбесившихся. Одного с проломленным черепом на полянке нашли. Рядом след мотоцикла с коляской. Чей мотоцикл, Женьке даже гадать не нужно, ездил не раз на этом мотоцикле, когда за стоявшей рядом с матерью на рыночке молодухой с цветами Риткой муж ее приезжал. Ритку эту за неделю до своих похорон покойный отодрал с приятелями на речке. Хвастался потом, что оттянулся от души. Ну, вот ты и оттянулся, придурок, думал Женька глядя на заколоченный гроб, который опускали в могилу. Другого точно так же за девку молодую, точнее, малолетку, — он с танцев затащил ее в кусты к затону, бухой был, ничего не соображал, не слышал даже, как она орала, — насмерть забили проходившие мимо мужики, можно сказать, на ней и забили. Вроде как дядька ее там был. Но Женька запретил своим выяснять, кто участвовал: деньги деньгами, но, типа и совесть надо иметь. Девочек, блин, не хватало ему! Да девки на них сейчас просто виснут, такое время настало.

Трое в машине разбились — утром поехали в Глебовск, купили подержанную «Тойоту», отметили это дело в ресторане, сели в машину, разогнали ее как следует, и на выезде из Глебовска на повороте вмазались в автобусную остановку. И все трое — мертвые.

Ну а так, все вроде в порядке было. Женька, Томаз и Андрюха держали кассу. Деньги там были. Деньги хорошие. На ментов, на судей, на городское начальство и проч. Город был под ними, и уже начали выходить на трассу.

А что дальше?

Больше того, что они имеют сейчас с рынка и магазинов, уже не будет. То есть будет, конечно, но не так уж много. И надо думать не про то, как доить чужие магазины, а — как свои открывать. Надо въезжать вот в эту вот жизнь, думал Женька, глядя на идущих по бетонному причалу к яхте немцев.

А в жизнь эту хрен попадешь. Женькина проблема сейчас — возраст. Деловые люди Лукошина, новые владельцы мастерских, магазинов, складов и проч. деньги платят исправно, но к делам своим бандюг-малолеток не подпускают. И, в общем-то, правильно делают.

Через пару дней после того разговора в баре Женька вдруг спросил Наташу, что подарить ей на свадьбу?

— Парикмахерскую, — ответила она, не задумываясь.

— Ну, ты даешь.

— А то!

Они лежали на пляжных лежаках под зонтами и смотрели, как Андрюха с Мариной в пляжный бадминтон играют. Женька, увязавшийся за Наташей и, соответственно, отмахавший с ней километра два в море, так что и зонты, и здание их отеля превратились на горизонте в крохотные коробки, а в море их поднимала и опускала уже другая — тяжелая и плавная — волна, лежал сейчас, пытаюсь расслабиться, но не получалось — злил и одновременно заводил вид Маринки с ракеткой, видно же было, как балдеет Маринка от того, что полпляжа с нее глаз сейчас не сводят.

— Да ладно тебе, — вдруг сказала Наташа. — Дай ей душу отвести. Жалко, что ли?! Где она еще такой кайф словит? У нас-то в ДК на нее глаз никто не поднимет — тебя боятся.

— Да и Андрюха твой тоже хорош.

— А что? Андрюша красивый, да? — спросила Наташа. Как будто подначка какая почудилась Женьке в ее интонации. Может потому, что у Женьки не было таких вот плеч и таких вот — квадратиками — мускулов на животе и груди.

— Потому и идешь за него?

— Нет, что ты. Красота — это так. На раз. Ну, на два... Знаешь, как он меня клеил?

— Ну?

— Он ко мне в парикмахерскую пришел. Морда после Казахстана еще шелушится, голова стриженная. Двоих без очереди пропустил — ко мне в кресло садится. Я спрашиваю, а чего стричь будем? Волосы-то еще не отросли. А он: у меня терпения не хватит дожидаться, пока отрастут, а на улице к тебе я боюсь подойти. Я типа робкий с женщинами. Так что, если стричь нечего, — брей. Ну, я и побрила его. Голову ему вымыла, вытерла. И он говорит, ну вот и познакомились поближе, давай завтра встретимся. — А почему это завтра? Почему не сегодня? — А я сегодня в Глебовск поеду машину выбирать. Дожди тут у вас, развезло все. Как мы с тобой по грязи гулять будем? А в машине тепло и сухо. И музыку хорошую куплю.

— Ну и?

— На следующий день уже в машине его катались. На озеро. Ну и... вообще. Вот как надо! А ты, «красивый», — и опять засмеялась.

— Это ты сказала, красивый.

— Ага. А про парикмахерскую забудь. Это шутка такая. Я серьезно. Парикмахерскую я открою сама года через два. Сейчас мне рано.

Вообще странный был разговор.

Свадьбу играли зимой. Андрюха, как ни опекала его Наташа, все-таки набрался. Когда Женька загружал его в «Чайку», нанятую в глебовском ЗАГСе, Наташа спросила, может, с нами поедешь, поможешь на этаж поднять его? И Женька, отправив Марину на своей машине домой, поехал с молодыми. Наташа заботливо протирала пот на бледном лице Андрюхи, — «как думаешь, до дома продержится?». Не продержался. Блевать начал прямо в машине. Наташа еле успела укрыть шубой подвенечное свое платье, Женька, выволакивающий Андрюху наружу, свое получил на грудь.

Наташа чистила снегом Женькино длинное пальто и свою шубку. Потом опять полезли в смердящую внутренность машины.

— Бывает, бывает, — успокаивающе говорил шофер, приняв от Женьки компенсацию за причиненное.

Затащили Андрюху на четвертый этаж в пустую двухкомнатную квартиру, оставленную родителями Андрюхи для брачных радостей.

— Давай сразу в ванную.

Наташа включила колонку горячей воды, вместе раздели Андрюху до трусов, усадили в ванну. Из крана полилась теплая водичка. Под ней Андрюха и заснул.

Когда выводили его из ванной, Женька повернулся было в сторону спальни, из полумрака которой светила широкая двуспальная кровать.

— Нет уж, — сказала Наташа, — давай его на диван. Я в спальне новенькое итальянское белье постелила. Набор для новобрачных. Так сказать, для праздничного секса.

Андрюху уложили на диван в комнате, Наташа прикрыла его клетчатым байковым одеялом, поправила подушку и выключила свет.

— Ты тоже, заблеванный, — в душ.

После ванны Женька в огромной Андрюхиной рубашке сидел на кухоньке, пил чай. Наташа, завернутая в домашний халатик с освобожденным от макияжа лицом и завязанными косынкой мокрыми волосами передвигалась по кухне, включала и выключала плиту, поворачивала развешенное на веревке пальто Женьки, и он почти физически чувствовал жар, исходящий от ее тела. Нет. Этого он долго не вынесет, и Женька встал. «Ну что, пойду я» — сказал он.

И Наташа встала. Они замерли, глядя друг на друга, и, вздохнув, Наташа положила руки ему на плечи.

— А вы только на разборках такие смелые, да? А по жизни, что — совсем никак?

Итальянские простыни для новобрачных достались Женьке. Сначала мешала мысль про Андрюху за дверью. Потом он забыл про все.

Расцепившись, они лежали рядом молча, и Наташа вдруг выругалась: «Ну вот и замуж вышла, дура». И заплакала.

Женька обнял ее, и, уткнувшись лицом в его грудь, она промычала: «А ты, блин, тоже, герой. Полгода смотрел на меня, рот разевал. А чего смотрел-то?»

Это был первый и последний раз, когда Женька видел ее плачущей, если не считать похорон Андрюхи через семь лет.

Потом они снова пили чай. Протянув руку, он гладил ее спутанные волосы.

Она ловила щекой его ласку. Наконец он встал. Наташа вытащила из ванной скомканное подвенечное платье — воздушное, с бледно-розовыми цветами — и начала запихивать его в целлофановый мешок.

— Когда из двора будешь выходить, там направо — мусорные баки... И все, Женечка. Все, дорогой. Больше у нас этого не будет. Я, извини, замужем. Иди.

И Женька, накинув пальто, прижал к себе послушное длинное тело, ткнулся в раскрытые губы Наташи и вышел. Над Лукошиным стояла зимняя ночь. Черное небо светило ему серебряными звездами. Женька шел через весь город — пешком, один — и не боялся никого и ничего. Слушал хруст снега, смотрел на колючие звезды, вдыхал морозный воздух. Охренеть можно, как было хорошо!

Ближе к весне она сказала Женьке: через полгода сделаю тебя тайным папашей.

— Точно, меня...

— Точно, Жень, точно. У Андрюши с этим, как выяснилось, проблемы. Просто я должна была сказать это тебе. Но имей в виду, это ничего не меняет.

Наташа родила Антона. Больше детей у них не было. Когда года через два Женька осторожно спросил Андрюху, вернувшегося из Евпатории, куда Наталья возила его к тамошним целителям, как там, в Крыму, Андрюха поморщился:

— Отлично. Море классное, песок, солнце. Если б только еще это жулье не донимало.

— Какое жулье?

— А... целители всякие...

Как-то через год после их свадьбы Женька с Андреем пригнали свои машины в автосервис в Глебовск. Женька освободился первым, и Андрюха попросил его заехать в детскую консультацию: «Там Наталья с Антоном должны быть. Если еще не уехали, завези их домой. А то я, чувствую, застрял тут». И проехав полдороги с сидящей рядом Наташей и спящим на заднем сиденье Антоном, Женька осторожно притормозил и свернул с бетонки на глухую проселочную дорогу — в лес. Наташа повернула к нему голову и молча ткнулась лицом в его шею.

Проклятый город, где у каждого забора свои глаза и уши. Встречались редко. Или в питерском гостиничном номере, куда по делам своего салона приезжала Наташа, и где уехавший как бы в Москву оказывался Женька. Или в машине где-нибудь в лесу, загнав ее поглубже в кусты. Пару раз прямо в доме Андрея и Наташи, когда Андрюха был в отъезде. И так далее. И надо было научиться контролировать свои взгляды и голос, когда собирались вчетвером у Женьки в гостиной.

Потом, после смерти Андрея, стало чуть полегче, но уже подрос Антон, а Женьку пасла его охрана.

Оставшись без мужа, Наташа начала ездить на курорты раза по три в год. Греция, Тунис, Канары. И там — Женька чувствовал это потом в постели с ней — времени не теряла. Но молчал. Потому как осознавал, что не могла Наташа не знать и про Динару, и про глебовских девок у Руслана, и неважно, что для него там был просто секс. Но ведь был.

Только раз, когда Наташа как будто отдалившись от него за две недели в

Италии, была особенно страстной, ласковой почти надрывно, и он — скотина — от этого еще больше заводился — и когда потом они обессиленно разъединились, она как будто всхлипнула. «Ты чего?», — спросил он. «Лучше тебя никого не знаю... Прости. Других таких нет. Спасибо тебе».

— Да ладно... — сказал Женька, и получилось это как-то по-детски беспомощно. Прошибло его вдруг от жалости к ней, да и, если честно, к себе тоже.

«Проклятая жизнь! — думал Женька. — Каждый кузнец своего счастья, да?» Но кто скажет, что он не ковал? Он выкладывался честно. Он шел практически на все, чтобы быть. И что получил? Женькой, а не только Жекой, он может быть только когда — с Наташей.

Давно ожидаемый Женькой вопрос она задала через три года после смерти Андрея — однажды под утро, в спальне ее дома, когда Антона забрали на каникулы к родственникам в Керчь родители Андрея.

— А ты не думал оформить наши отношения? Я понимаю, романтика. Но молодость-то, извини, прошла. Да и потом, я думаю, полгорода уже в курсе. Чего придуриваться?.. А Маринка, — ну какая она тебе жена?

И Женька, хоть и были у него заготовлены нужные слова, от неожиданности забормотал:

— Нет. Не могу. Я об этом думал, конечно. Думал. Примерялся. Но — нет. Не могу.

— Почему?

— Андрюха мешает.

— А когда вот так как сейчас, не мешает?

Потом они лежали молча и, когда начало светать, он спросил:

— Ну что, будешь искать теперь настоящего мужа? Только ты не подумай, я ведь ничего такого. Это только ты решаешь.

— Я бы и рада, — серьезно сказала Наташа. — Я бы и рада, но — не получается.

5. Андрюха

Андрюха считался — да и на самом деле был — другом Женьки. Самым близким. Можно сказать, единственным.

С Андрюхой, Штырем и Томазом, собственно, Женька и начинал.

Потом Андрея посадили. Из-за ерунды. Их лукошинский мужик Витька Кудинов, бывший афганец и вэдэвэ, возивший тогда начальника торго, притормаживал свою машину у магазина рядом с ДК, а мимо как раз Андрюха шел с Тонькой из десятого. Кудинов присвистнул: «Ох, какая телочка подрастает!» Андрей тут же взбунтовался: «Ты чо, козел?! А ну извинись!» — «Чего-о?! Совсем охренел?! — завелся Кудинов. — Перед кем это я должен извиняться? Перед давалкой этой малолетней? А? Или тебе еще не дала? Ты поэтому?» Андрюха кинулся на Витьку, но тот, увернувшись от первого удара — только и смог Андрей губу его зацепить, — сшиб Андрюху с ног и бил уже лежащего. Тонька завизжала. Ну а в Витькиной машине сидел в тот момент не начальник, а его жена, и она врубила на всю площадь свою сирену: «Люди! Убивают!! Лю-у-у-

ди!!!» Людей-то как раз там и не было, только у ДК тусовались комбинатовские пацаны. Они развернулись на крик, засвистели, заорали и рванули на помощь Андрюхе, который крутился на асфальте под ногами Витьки. Витька оглянулся, увидел пацанов и запрыгнул в свою машину. Андрюха успел только подхватить булыжник и шарахнул им по заднему стеклу. Вдребезги. Стеклой крошкой слегка повредило — две царапины и три капли крови — шею жены начальника. И на следующий же день начальник погнал Витьку с заявлением в милицию: разбойное нападение, разбитая машина и телесные повреждения, то есть разбитая верхняя губа у Витьки и царапина на шее у жены начальника (про раздолбанное — так, что оно превратилось в подушку синюшную — лицо Андрюхи не написал ни слова). И загремел Андрюха на два года — прокурор требовал пять, но Женька смог немного отмазать, через Витьку. Возможности у Женьки тогда еще были ограничены.

Освободился Андрюха раньше срока. Из тюремной больницы освобожден — били его в лагере по-черному. Почти что доходягой вернулся. Но — героем. Гонор остался прежний.

И вот тогда по возвращении Андрюха выдал Женьке: «Про лагерь и про блатных я теперь знаю все. Это не люди, Жека, — это крысы. Все как один. Со мной в лагере, если один на один, — боялись все. Не вру, гадам буду. Но ведь они — толпой. Я первые полтора месяца вообще не спал. Под одеялом заточку держал, хрен с ним, думал, пусть второй срок, но — не это. И только когда они узнали, что у меня под одеялом, тогда только и забздели. Короче, Жека, я понял, что единственный настоящий человек на этом свете это ты. Таких, как ты, я больше не знаю».

Особенной радости от услышанного Женька не испытал.

В городе Андрюхи не было год. Для Женьки и всей его братвы тот год был, как десять — в тот год они все и налаживали. И рассказывать Андрею, как все делалось, никто не стал. Сырой, не поймет. Пусть поварится сам. Андрюха вернулся на все готовое.

И это Женьке приходилось объяснять Андрюхе, почему, например, нельзя вот так, с ходу, крушить всех пахомовских, которые после смерти Быка ломанулись в город и успели взять чуть ли не половину точек. Нельзя, потому как слишком уж тесно, как выяснилось, переплетались их города — лукошинские брали товар в Глебовске, глебовские торговали в Лукошино. Плюс связи семейные, дружественные и проч.

И второе: не наезжать самим. Вообще — не наезжать. Дают деньги? — о'кей! Нет? Ну и хрен с вами, но от пахомовских отбивать вас уже не станем.

Ну и потом, с Пахомом тоже нужно было какие-то отношения вести. Пахом был мужик старый, тертый. Знал, как надо. Сам порядок соблюдал и от других требовал. Троих лукошинских пацанов, нарушивших установившиеся между их группировками негласные законы, пахомовские отмудохали по-черному, так что один потом два месяца из гипса не вылезал. А двоих просто замочили — Кирию, который вместе со своим двоюродным братом попробовал доить пахомовские палатки в Глебовске. Кирию с братаном убили после их приватной беседы с одним старпером, державшим на вокзале пивной ларек. Старик после того разговора дуба дал. Инсульт с ним случился наутро после разговора, и хоронили старика, сильно запудрив лицо, о которое Кирия с братом сигареты тушили. И поскольку

Кирия делал свои дела по-тихому от лукошинских, Женька запретил шухер поднимать. Поговорили на похоронах как положено, типа мы этого не забудем, это им еще отольется. Но не больше. Кирия сам был виноват. Все понимали.

Андрюха в эти расчеты въезжал с трудом.

Но Женька держался за Андрюху. Когда Женька сказал: «Все, "паханов" и "паханчиков" лукошинских больше к себе не берем. Тем более — отсидевших. Во-первых, гонору много, а во-вторых... На хрен они нам сдались» — поддержал его только Андрюха:

— Я — за! Обеими руками — за.

— Но ведь ты же сам сидел, — сказал Андрюхе Штырь.

— Потому и говорю. Я хорошо знаю, кто там сидит. Тебя же десять раз продадут.

— Ну, в общем, да, — соглашался Штырь.

Хотя Штырь-то, на самом деле, соображал правильно: если не брать лукошинских быков, они к Пахому пойдут. Пахом для них — свой. Но Женьке не хотелось иметь дело с блатными. Женька вообще старался держаться подальше от всего, что пахло тюрьмой и лагерем. Ну и потом — Женька об этом молчал даже со своими, но — присутствие пахомовских в городе было как раз в их интересах. Нужно, чтобы нас считали героями, которые в неравной, блин, схватке защищают интересы родного города, которые... ну и так далее.

Проблемы у Женьки начинались внутренние — со своими же ближайшими соратниками.

Команда их, поначалу единая, разделилась надвое. С одной стороны — Томаз с Женькой, а с другой — Штырь и с ним, по дурости своей, Андрюха. При том, что Штырь и Андрюха друг друга не очень любили, понимание ситуации у них было примерно одинаковое — доить торговцев и все. А вот Томаз быстро понял, что Женьке не бандитская группировка, которая будет держать город, нужна, — Женьке нужен весь город.

Штырь отвалил от Женьки и Томаза почти демонстративно, когда Женька погнал своих бойцов в милицию регистрироваться в качестве сотрудников учрежденного им частного охранного предприятия. Женька переходил на легальное положение. Идти в ментовку Штырь отказался: «Жека, я тебя уважаю, ты знаешь. Ты голова у нас, ты авторитет. Делай, как считаешь нужным. Но, извини, я к ним за корочкой не пойду. Мне воля дороже».

Штырь держал у них трассу. Набрал к себе тех, кто удостоверения не получил. Тоже нормально — на трассе с пивом в тенечке не расслабишься: две шашлычные, три заправки с магазинчиками, мотельчик с девками, ну и куча всяких деревенских и поселковых магазинчиков и т. д. А грабили на трассе и залетные, и деревенские, и не только те, у которых водка кончилась и опохмелиться нечем, но и люди серьезные, с зоны вернувшиеся, засидевшиеся без настоящего дела. Без Штыря Женька бы здесь не справился.

Был и еще один разговор со Штырем, после того, как Женька предложил своим пацанам, если кто хочет, заводить свой бизнес; то есть молодому предпринимателю — три тысячи баксов (очень даже хорошие по тем временам деньги) безвозмездно, ну а дальше — кредит беспроцентный. Штырь отказался, сказал Женьке — при всех сказал — «куркулем не был и не буду».

Деньги взял Томаз, и не три тысячи, а десять — сначала вложил в бизнес

какой-то бабы из Питера, которая торговала цветами из Голландии, имел в месяц тысячу; потом попросил у Женьки еще кредит на сорок тысяч и замутил в Питере уже что-то свое, тоже цветочное. Удачно, судя по тому, как быстро расплатился. И потому никто не удивился, когда через два года Томаз сказал: «Ну что, пацаны, в Питер перебираюсь. Через месяц отвальную устраиваю. Но если что, я всегда с вами». Хватило его еще на три года питерской жизни. На банкете в Павловске отошел от столов к скамеечке у пруда, присел там и затих. Когда снятая им на вечер телка подошла и тронула его за плечо: «Ты чего, дружок?», Томаз уже мертвый был. Врачи сказали, остановка сердца. Причина естественная. Но Женька не верил. Томаз в политику сунулся, хмыря какого-то в городскую думу проталкивал, и как только развернулись предвыборные их терки, так несколько человек из команды того хмыря в одночасье дуба дали, и все по естественным причинам.

Деньги взял Андрюха — для Натальи (она тогда как раз салон для новобрачных открывала), ну и для себя, — уже в кредит — на авторемонтную мастерскую. Хозяином Андрюха оказался хреновым. Наташа жаловалась Женьке: «Не потяну, с меня хватит моих парикмахерских и салона, да и Антон до садика еще не дорос. Но я мужика толкового нашла в Глебовске, он согласился наладить нам шиномонтаж, но, конечно, если ты еще передашь Андрюхе кой-какое оборудование, что осталось на комбинате». Шиномонтаж у них пошел, но хоть Андрюха и заскакивал туда чуть ли не каждый день возле машин повертеться, развернулось дело только благодаря мужику, нанятому опять же Наташей.

Нет, бизнесменом Андрюха не был. Еще в самом их начале, когда Женька только открывал свой первый магазин, Андрюха спросил: «Ты что, в эксплуататоры пошел?» И Женьке пришлось объяснять ему, сколько на самом деле будет иметь с этого магазина бывшая его заведующая Антонина, и сколько будут получать в его магазине девки-продавцы. На Андрюху цифры произвели впечатление. Но потом точно такой же разговор Андрюха завел, когда Женька начал разворачивать свой НЭП на комбинате. Пришлось подключать Наталью, чтоб промывала время от времени мужу мозги.

А вот со Штырем не получалось. Деньги от его команды шли хорошие. Порядок на трассе установился железный. Но Женьку напрягало наличие у него в структуре этой партизанской вольницы. Женька знал, что, в конце концов, они схлестнутся. А это значит, надо действовать на опережение. Не тянуть. Еще и потому не тянуть, что поймал однажды Женька ускользающий взгляд Штыря, быстрый и остренький такой взгляд, — когда они всей компанией на дачном хозяйстве шашлыки жарили, и он, Женька, в сторонке с Наташей заговорил. Никто не мог их услышать, но ощущение осталось, что Штырь слышит все.

Штырь подставился сам.

Как-то на сходке в узком кругу, у Женьки на комбинате, Штырь предложил поменять их стратегию на трассе. То есть не выпендриваться, а работать как все. Брать деньги за проезд с груженых трайлеров.

Женька с Томазом были против. Андрюха промолчал. Штырь надулся, и Женька, сославшись на срочные дела, свалил, на прощанье выставив им из холодильника пива и подвинув на середину стола пепельницу с жучком. Выехав из ворот, вставил в ухо наушник, включил магнитофон и сразу же услышал голос Штыря:

— ...блин! Тимур и его команда. А?! Мимо такие бабки проносятся, а Жека не мычит не телится. Пионер гребаный.

— А ты потише! — это Андрюха.

— Да брось ты. Чего ты ему в рот смотришь? Ты глаза разуй. Схавал он нас. Понял? Не дает развернуться.

— Ни хрена себе! Да какие мы сейчас бабки гребем? Не сравнить как в прошлом-позапрошлом году. Ты прикинь.

— А чего прикидывать? Да мы на трассе, как минимум, в три раза больше могли бы иметь. Знаешь, сколько северские ребята с каждого груженого трейлера берут? А мы только кафешки да автозаправку крышуем. Сколько раз говорил Жеке. Нет, зассал.

— Кто, Жека зассал?

— А ты что думаешь, он смелый? Псих — это еще не смелость.

— А это не мы с тобой, Штырь, когда Бык шмальнул в небо из пистолета, на земле лежали? Все лежали. Кроме Жеки. И кто думаешь, Быка завалил? Я точно знаю — он. Не знаю как, но точно — он. Ты бы смог? Нет, скажи, смог бы? Я, например, нет. Сейчас бы смог, а тогда — точно нет. А ты? Давай без балды. Нас никто не слышит сейчас. Ты бы смог?

Пауза.

— Да нет, наверно, — сказал Штырь. — Но у него и положение было безвыходное. Он себя спасал. Не загнись тогда Бык, что бы с ним было? И вообще с нами?

— Ну вот, — сказал Андрюха. — И вообще, Штырь, мало ли чего между вами было. Но Жека — единственный в городе. Понял? Считай, что городу с ним повезло. И я за него, слышишь, я за него жизнь положу. Так что давай, с нами поговорил, и больше нигде. И ни хрена выеживаться на трассе. Ты все-таки от нас работаешь, а не от себя.

— Да ладно тебе, — сказал Штырь.

— Ну и потом, — подал голос Томаз, — ты посчитай трейлеры на Северском шоссе и на нашем. У нас поток вырос как минимум в два раза. Почему, думаешь, айзеры начали строиться у нас, а не у северских? Да потому, что северскую трассу трейлеры теперь по нашей объезжают. И, соответственно, кормятся у нас, трахаются у нас, и бабки идут к нам.

«Жизнь за него положу» — этого только не хватало!

Недели через две после того разговора на пейджер пришло приглашение от северских, типа соскучились по общению с лукошинскими друзьями.

На встречу Женька взял Андрюху и трех его пацанов. В разговоре участвовали только Женька и Андрюха.

— Жека, мы ж договаривались: вы — там, мы — здесь. И мы не нарушаем.

— Так и мы тоже.

— Ну, тогда скажи, кто у нас крысятничает?

— То есть?

— У нас на трассе появились какие-то шипачи. На двух машинах. Фуры потрошат. Мы прикинули, восемь случаев, про которые знаем точно, все — на участке километров в пятнадцать возле поворота на вашу трассу. Раз. И два — мы опрашивали шоферов. По их описаниям похоже на Штыря и Бандуру. Извини, конечно, но надо бы разобраться.

— И разберемся. Слово даю.

Женька попросил заняться этим Андрюху, но — по-тихому, волну не гнать.

Андрюха поговорил кое с кем из пацанов и выяснил, что да, кое-какие странности у Штыря, действительно, появились. Какие-то отлучки непонятные. Но он, Андрюха, до конца пока не уверен.

Это Андрюха не уверен. Пока не уверен. Ну а Женька, два рассвета встречавший в кустах на выезде от них на Северское шоссе, уже держал в прорезе короткоствольного «Кедра» Бандуру, мочившегося с той стороны от кустов. И Женька сам видел, как Штырь с Бандурой и Пушком выезжают на Северскую трассу.

С купленного на Ярославском вокзале у барыги пейджера Женька кинул северским сообщение без подписи: «Крысятничает на трассе Штырь. Жека еще не знает, кто его кинул».

Северские молчали два дня. Соображали.

Потом дозвонились по телефону.

— Ну как?

— Да никак пока. Разбираемся.

— А нам чего, ждать, пока вы разберетесь?

— Зачем ждать? Трасса-то ваша. Ищите.

— Я правильно тебя понял, на своей трассе хозяева — мы? Так? И делаем так, как нам удобно? То есть абсолютная свобода действий?

Женька выждал небольшую паузу и сказал.

— Да. Ты меня понял правильно.

И на следующий же день после обеда Женьке позвонили из милиции:

— Плохие для тебя новости: троих наших на Северной трассе замочили. Штыря и еще двоих.

— Ни хрена себе!

— Тела лежали на обочине. Стреляли сверху. Возможно, из кабины большегрузного автомобиля. Штырь и Бандура с ранениями в лицо, шею, грудь. Третий, Валентин Пушистый, в траве за кюветом с ранениями в спину. Все трое мертвые.

О как! — а Женька никак не мог понять, почему громилу Пушка Пушком называли, а это фамилия у него такая была — Пушистый.

Женька отзвонил Андрюхе, собирай ребят с трассы ко мне.

— Ну и кто мне расскажет, что там было на самом деле? Почему я ничего не знаю?

— Извини, Жека, но на трассе в паханах у нас Штырь. И потом, он только с Бандурой и Пушком ездил. Нас не привлекали. Они обычно утром часа на два-три отлучались.

Похороны устроили с размахом — могучие тяжелые гробы с ручками, оркестр, цветы, сам Пахом с пацанами приехал, венки привезли.

На трассу Женька поставил Андрея. И тут выяснилось, что Штырь сдавал не все деньги, а хорошо, если треть с собранного. Вороватым оказался Штырь. Ну и что? У каждого свои мотивы землю рыть копытами. А работал Штырь классно. И вообще, если честно, без Штыря хрен бы они встали на ноги. После похорон Женька даже уважал Штыря. Нет, жалко, конечно, но тут уж, кто — кого. Штырь сам не оставил Женьке выбора.

Андрюху же, наоборот, после знакомства с бухгалтерией Штыря затрясло:

«Это какой сукой надо быть, чтобы своих же на бабки кидать?!» Андрюху ничто не брало...

Да и не в Андрюхе дело, — Женька понимал, что это уже его, Женькины проблемы. Чтобы ты мог встать над ними всеми, то есть над сборищем всех этих его геройских друганов-дебилов о двух извилинах, он, Женька, обязан быть среди них самым-рассамым ублюдком, переублюдить их всех. Должен быть Жекой. Вот тогда — рабская покорность одних и поклонение «андрюх». Женька даже ловил себя иногда на странном чувстве сострадания, глядя на телерожи политиков и олигархов.

Блин, «жизнь за него положу!», а?

...Однажды в конце марта, в половине седьмого утра выставленный Наташей из номера питерской гостиницы — ей надо было отоспаться перед деловой встречей — Женька двинул домой. Бодрый, с ясной головой, со сладкой ломотой в теле и невыветрившемся на губах запахом Наташиной кожи вывел свою машину с гостиничной стоянки — до Глебовска пять-шесть часов, дома отосплюсь, но через пару часов почувствовал, что нет. Надо где-то остановиться, поесть, поспать немного. Дотянул до желтого мотеля с рестораном возле бензоколонок. Сел у окна в пустом зале, заказал парню-официанту яичницу, блинчики, чай.

— Яичница будет минут через пять, а блины придется немного подождать.

— Приносите, а я пока номер закажу.

— Извините, но сейчас все занято, — сказала администраторша в холле, — погуляйте немного, после одиннадцати должна освободиться бронь.

И вот тут сонную тишину холла раскололи крики и хриплый гогот. По лестнице спускалась толпа мужчин. Женька краем глаза следил за ними и за напрягшимся лицом женщины. Четверо рослых парней со всклокоченными волосами в мятых спортивных костюмах, в тапочках на босу ногу. С ними — пятый, лет под пятьдесят, сухощавый блондинистый: брюки, рубашечка, белые туфли, перстень блестит на руке. Прошли через холл к дверям ресторана.

— Спортсмены?

— Ага, — скривилась женщина. — Те еще... спортсмены.

Женька вставил вынутый из сумочки паспорт в бумажник, но положил бумажник не в сумку, а в задний карман джинсов, то есть у него уже было ощущение, что не надо ему в ресторан возвращаться, но вроде как и харч заказан, да и... с какой это стати. В конце концов, зал там просторный.

Хрена тебе! Компания расположилась рядом с Женькой. Более того, их стол располагался боком к Женькиному, то есть он оказался зрителем в первом ряду, и даже не в зале, а почти на сцене: совсем близко перед ним четверо в профиль, и пятый, лицом к нему, напротив, через стол — кудрявый, с выпуклым лбом, с остервенело-радостным свечением глаз навывкате. Красавец лубочный. Нижняя губа разбита. Другие не лучше. Морды отекающие, белки глаз покрасневшие. Сделав официанту заказ, дожидаться заказанного не стали, — двое ринулись к бару, один брал пиво: «Пять бутылок. А водка у тебя какая? — Нет водки, — пискнула опрятненькая девочка за стойкой, — только коньяк. — Давай коньяк. Без разницы»; второй уже нес фужеры и пивные кружки. Торопливо расставили посуду, кудрявый зубами открывал пивные бутылки. Разлили по фужерам коньяк, запрокинув разом головы, влили коньяк, поставили пустые фужеры и

тут же присосались к кружкам с пивом, типа трубы горят. Не суетился только светловолосый, ждал, когда осядет в кружке пена.

Женька ел остывшую яичницу и слушал разговор про баб, которых вчера привезли из Питера и до которых дело так и не дошло, очень уж быстро все заторчали, только вот этот их старший оставался на посту: ну что, Сыч, ты за нас всех оттрахал, или выборочно?

Сыч молча усмехается. На удивление холеные руки, пальцы длинные, но — с наколками. На руках остальных Женька отметил мозоли на костяшках. Классика — быки и пахан.

Официант расставляет на их столе заказанное пиво и салаты. Сыч повелительно кивает: открой и разлей. Парень послушно разливает по кружкам пиво, на пару минут разговор притихает, быки чуть сомтели, залюбовавшись повелительным жестом Сыча. Вот так они еще не умели. Потом, уже не торопясь, степенно почти, подняли кружки, кудрявый с разбитой губой открывает рот: «Ну что, пацаны, на всю компанию — он повернул голову к барной стойке — только вот эта телочка и осталась. Но, так даже интересней, главное, чтобы стояло у всех! За это и выпьем».

Припали к кружкам.

Кудрявый, разинув рот, громко рыгает, и Женька, не удержавшись, поднимает глаза. На несколько мгновений они сцепляются взглядами.

— Ну и?.. — запрокинул голову кудрявый. — Что-то не так? А-а? Не слышу!

Еще четыре лица повернулись к Женьке.

Женька повел плечом, типа, извини, конечно, но о чем с тобой вообще говорить.

Женька ждал реакции Сыча, но тот наблюдал молча.

— Нет, а ты что? Под крутого косишь? Ты крутой, да?

Женька опять же непроизвольно усмехнулся.

— Ну, ничего, — продолжил кудрявый, — ничего, сейчас на крыльцо выйдем, тапочки мне вычистишь. Языком. Мне тут, знаешь, друган вчера, сука, блеванул на них. А я вони не люблю. Чистоплотный я.

— Ага, выйдем, — подал голос Женька. — Чай только допью.

— Ну чо, нормально. Как же без чаю-то!

Быки заржали. Глаза загорелись — утренняя разминка предстоит.

Сыч разлепил губы и что-то тихо сказал. Мгновенно замолчавшие собутельники даже головы к нему наклонили, чтобы услышать. Потом радостно закивали.

Вот теперь Женьке стало страшно по-настоящему. Но и смешно. До чего же глупо, а! И ведь на пустом месте! Нет, с каждым из них, если по одному, — не проблема. Да он и с двоими разберется. Но эти-то — скопом. А стволы далеко — в машине, под сиденьем. Да и не то место, чтоб светиться.

Повернул голову к стойке

— Девушка, чай когда?

— Сейчас-сейчас.

Женька неторопливо встает, сбрасывает курточку на соседний стул, перекладывает на стол сумочку.

Кудрявый вскакивает.

— Да в туалет я. Или тоже — со мной на толчок?

— Пусть, пусть проссытся, — подает голос Сыч и кивает двум амбалам, сидящим ближе к Женьке.

В холл к туалету Женька идет под конвоем.

Ну, двое это не пятеро.

Один остался в холле, достал сигарету, второй толкнул ногой дверь туалета, откуда потянуло холодом, — сквозило из откинутой под потолком продолговатой фрамуги окна.

Женька встал у писсуара, расстегнул ширинку. Моча не шла. И вдруг вошедший с ним встал рядом. Опустил руки, начал развязывать шнурок на штанах, — локоть левой руки Женьки сам въехал в подставленный кадык. Потом Женька подхватывает икнувшую голову и вмазывает ее в кафельную стену; после второго удара в лице амбала что-то хрустнуло, после четвертого — морда его уже была куском хлюпающего о кафель теста.

Выпустив из рук отяжелевшую голову, Женька запрокинул ногу на ручку двери кабинки, левой рукой ухватился за верх ее перегородочки и взлетел вверх, к приоткрытой фрамуге окна, и как ни была она узка, пропихнул свое тело наружу, головой и плечами вперед, вниз, и, падая уже, успел ухватиться за край фрамуги и развернуться на лету — на асфальтовый бордюр под стеной он грохнулся боком. Вскочил, подхватив вылетевшие из кармана ключи, метнулся через непомерно широкое поле стоянки к своей «Хонде», открыл дверцу, сел, вставил ключ, повернул, чуть подождал, слушая заработавший мотор, бережно прикрыл дверцу и тихо тронулся. В боковом зеркальце проплыло крыльцо с выскочившим на него быком. То есть время есть — Женька затормозил перед въездом на шоссе, пережидая проходящие фуры, а они как назло, все шли и шли, ни просвета. Правой рукой вытянул из-под сиденья и положил под ноги «Кедр», за спину на сиденье сунул «Магнум». В зеркальце было видно как бежали к синей «девятке» на стоянке Сыч, кудрявый и еще один. Почему только трое? А, ну да, четвертый «скорую» вызывает. Выкатившись в образовавшуюся, наконец, прореху на шоссе, Женька повернул машину в сторону Питера. Через пару минут сбросил скорость, крутанулся на месте, и, уже не торопясь, не больше семидесяти кэмэ, двинул назад. И еще через несколько секунд слева по встречной пронеслась синяя «девятка» со знакомыми, как показалось Женьке, мордами за стеклом. В сторону Питера пошли, если, конечно, это они. Господи, как же ему повезло, что в мотеле мест не оказалось, что администраторша в ресепшен даже паспорта его не открывала. И что, судя по тому, как стремительно уходила назад синяя «девятка» в зеркальце, номеров его машины тоже не засекли.

Навстречу редкие машины. Сзади тоже. Черный «бумер» обогнал. И как шмель вперед ушел, уменьшаясь на глазах. И еще одна «Хонда», такая же, как у него, с шорохом прошла слева вперед, в стеклах силуэт одинокого водителя.

Саднила содранная на локте кожа, ныло колено и бедро. Женьку била дрожь. Отходняк. Отходняк счастливый: из своих Женьку сейчас не видел никто. Никто. Женька был один. Женька был здесь никем. Проезжающим. Лохом. Он мог делать все, что хотел. Все! Он имел право убежать — трусливо, позорно! Спина Женькина выпрямилась, и он обнаружил, что выкрикивает: Ссыкун я! Ссы-ы-кун! И хрен вам всем в рожу!

Но... но без Андрюхи Женьке уже никак. Трудно ему становилось с пацанами, особенно с новыми, которые с плеерами и жвачкой и в бейсболках.

Которые уже не просто бухали в свободное от работы время, но и ширяться начали. И хоть выдавил Женька цыган из города, но откуда-то дурь по-прежнему шла в Лукошино.

Да и просто, вдруг, ни с того ни с сего, город начинал ощериваться. То менты вдруг сатанели, хотя с ними-то уже давно мир да любовь. То пацанов его в ДК вдруг свои же, городские отмудохают. С некоторых пор Женька перестал чувствовать себя на положении городского героя. Слишком часто он натывался на косые взгляды. Почему? А что тут гадать — за эти годы Женька с пацанами много чего наворочал. Счет рос. И счет этот надо обнулять. Вот только вопрос, как?

В конце июня 2001 года Женька ехал в Глебовск, на очередные переговоры — покупал Глебовский пивзавод. Поначалу торг шел вроде нормально, и вдруг все затормозилось. Кто-то еще вступил в дело. А кто, не понять. В марте еще должно было все разрешиться, но из области никак не могли прийти нужные и уже проплаченные (хорошо проплаченные) Женькой бумаги.

В тот день с утра все пошло наперекосяк. Почему-то Толик, Женькин водитель, забыл машину заправить накануне, обнаружилось это уже на полдороге, пришлось заворачивать на Северское шоссе к тамошней бензоколонке, четыре кэмэ туда, чтобы потом еще четыре пилить обратно. Да еще в очередь пришлось встать. И только когда Толик снова сел в машину и потянулся закрыть бардачок, Женька увидел, как дрожат у него руки: «А ну, козел, дыхни!» — и пару раз двинул его по роже. Голова Толика мотнулась, но — молча.

— Садись сзади, сам поведи.

Ну, падла! Ну, сучара! — никак не мог успокоиться Женька, притормаживая и съезжая на обочину у моста, возле которого шли дорожные работы, — заскрипела под колесами щебенка, застучали камешки в днище машины, тенькнуло звонко что-то сзади, как будто стекло лопнуло, остро кольнуло в правое плечо, и тут только до Женьки дошло, что он слышит: лай АКМ он слышит. Стреляли слева, из кустов за полянкой. Женькина нога вдавила педаль газа, машину повело, передними колесами он уже зацепился за асфальт при въезде на мост, в этот момент тяжелой цепью рубануло по левой ноге, засветились внизу слева три дырочки в дверце, но машина уже выползла на асфальт, мимо летели перила моста, Толик пропал из зеркальца сверху, коротко глянувший назад Женька успел увидеть черно-красный пульсирующий родничок из шеи набок завалившегося Толика, а машина уже неслась по асфальту; до Глебовска оставалось километров семь-восемь, боль в ноге становилась невыносимой, простреливало в пах и поясницу, по спине текло; Женька смог затормозить перед автобусной остановкой на въезде в город. «Скорую!» "Скорую" вызывайте!» — крикнул он стоявшим на остановке и вырубился.

В больнице из него вынули четыре пули, одну — из плеча, и три — из левой ноги. Пуля в плечо ударила рикошетом — пробила кожу и уткнулась в кость, три остальные — разодрали мясо выше колена и тоже остались в ноге. В общем-то, ничего страшного, но — большая потеря крови. К вечеру в больницу примчались Андрей с пацанами, потом — Наташа. Наташа осталась на ночь сиделкой, двое лукошинских расположились в коридоре на стульях по обе стороны дверей палаты.

Утром приехал следователь. От него Женька узнал подробности:

— Стрелков было двое. Оружия на месте не обнаружено. Ждали они вас,

судя по оставленным следам, часа три, не меньше. Дорожные рабочие видели в кустах неподалеку желтые «Жигули», «шестерку». Место, где предположительно стояла машина, мы нашли, но самой машины там, естественно, уже не было. Ну, а Анатолий ваш умер сразу. Из него одиннадцать пуль вынули. Думаю, столько же и осталось. Ты-то почему за рулем оказался?

— Толик с вечера перебрал, и утром уже никакой был. Ну и я, так сказать, отстранил его от работы.

— Типа по роже дал?

— Не без этого.

— Бывает же такое, да? Никогда заранее не просчитаешь, что тебя спасет.

Прощание с Толиком организовали во дворе Лукошинской больницы, куда накануне перевели из Глебовска Женьку. Наталья с санитаром выкатили его на коляске к гробу. Собрались все. Отсутствовал только Андрюха.

— Где он?

— Сама не знаю. Я его вообще эти два дня толком не видела. Носится где-то, взмыленный весь, но слова из него не вытянешь.

И вот тут, раздвигая толпу перед больницей, во двор вкатился Андрюхин «Крайслер». Андрюха вскочил наружу. Черный костюм, белая рубаша. Морда осунулась, но — глаз горит. У Женьки заныло от нехорошего предчувствия.

На кладбище и на поминки Женька поехать не смог из-за слабости. За Женьку на похоронах был Андрей. В больницу он вернулся только к вечеру.

— Жека, давай покатаю тебя по двору, душно тут у тебя.

Выкатились наружу.

— Ну что, Андрюха, колись. Я же вижу.

— Все, Жека. Все! Их теперь никто не найдет. И тех, кто стрелял, и Терентия, который из Пскова их привез. Они в старой свалке за восемнадцатым километром закопаны. Стрелков зарывал Терентий, ну а Терентия — я. А замутил все Дименчук, который первым торговал завод. Он и к Пахому подъезжал, помощи просил, но Пахом влезать не захотел. Послал его. И тогда Дименчук к Терентию, как к шурина, по-родственному обратился. Это мне Терентий все выложил. Разговорился напоследок. С Дименчуком оказалось проще всего — сидел дома один, пьяный в жопу.

— Ну?

— Повесился он. Сегодня, в половине восьмого. Думаю, еще никто не знает. У него семья сейчас в Турции отдыхает... Не волнуйся, Жека, все чисто. Я все делал один.

— Как нашел их?

— Элементарно. Я, как только про желтые «Жигули» услышал, сразу к мосту поехал и смог найти место, где их машина с травы съехала на землю. У «шестерки» этой шины стояли мои. Ее пару месяцев назад Терентий ко мне на шиномонтаж из Глебовска пригонял. Потом я сутки почти в сарае у Терентия просидел, дожидаясь, когда псковские на толчок выйдут, разговор их послушал. В трех шагах стояли от меня в огороде, обсуждали, что им теперь с Терентием делать. Ну а все остальное — дело техники.

— Но почему... — («Почему же ты, мудака, узнав все, не сдал их в милицию? Ведь все же чисто с нашей стороны. Все! И менты и суд взяли бы под свою защиту закона законопослушного бизнесмена. Зачем ты меня снова кунаешь в ваше пацанское говно, сука?!»), но вслух — почему мне не сказал?

— А это уже, Жека, мое личное дело. Когда тебя убивают, это, считай, меня убивают. Кроме нас с тобой тут вообще никого не осталось. Настоящих пацанов уже нет. Кончились. Уж я-то знаю.

Из Испании прилетела Маринка. Женьку перевезли домой. По вечерам, когда расходились ребята, они оставались вчетвером — Женька с Мариной и Андрей с Наташей. Обсуждали Андрюхину идею бронированной машины и телохранителей для Женьки, перебирали кандидатуры: или Олега, который в Москве инкассаторов охранял, или Диму, служившего в спецназе, или самого Андрея. На последнем варианте настаивал Андрей.

Упаси бог! Но Женька послушно кивал: надо? Пусть. Бронежилеты ему уже привезли. Теперь к ним в комплект еще Олега или Димку пристегнут.

Лишним все это, наверно, не будет, но разве ж в этом дело? Тогда на похоронах Женьку в коляске скатили с крыльца больницы, подвезли к гробу, он попросил шепотом прощения за то, что по роже его двинул на прощанье, и Наташа с санитаром повезли его назад в корпус. Вот оттуда, со второго этажа, из окна в коридоре Женька и увидел эти похороны. Сверху. Пацанов своих увидел у гроба Толика. Толпа, конечно, но — не такая уж и большая. И пацаны его, пусть и «крысы», как говорит Андрюха, были в тот момент другими — по лицам их видно было, что каждый из них, глядя на гроб, как будто сам приноравливается. Уроды, конечно. Кто спорит. Но — за спинами хоронивших Толика пустая вытоптанная трава больничного пустыря. И уже дальше, за этой вот ничейной полосой, икрой черной толпа лукошинских. Вот там, да. Вот там была толпа. Толик ведь здесь жизнь прожил, и сколько там стояло его знакомых, приятелей, соседей, девок его, одноклассников бывших, но никто не вышел к гробу попрощаться. Никто. Они не хоронить его пришли, они пришли посмотреть на похороны. Не люди это — трава. Куда ветер подует, туда и лягут, потому как сами стоять не могут. Погоды ждут. И вот дождались, сползло поторжествовать. Издали. Что, такие они все хорошие, честные, чистые? Да может в душе они еще в десять раз хуже его пацанов, но они — в стаде. И нутром чувствуют, что в этом и их сила. Ну а мои, пусть с корявыми, пусть с уродливыми, но — стволками; пусть хоть так, но смогли отбиться от стада.

И это еще вопрос, на чьи похороны они пришли посмотреть.

А Андрюша, простая душа, про телохранителей ему талдычит.

Полтора месяца Женька просидел дома практически безвылазно — готовил с юристом и бухгалтером бумаги на покупку «Пивзавода», разбирались с документами глебовского «Хлебозавода», который тогда был у Женьки на очереди. Плюс завмаги его, плюс Родя и прорабы с дачных поселков, арендаторы комбинатовские; мэр приезжал, начальники коммунальных служб и т. д. Маринка принимала звонки, составляла список посещений, носила гостям кофе, и по вечерам стонала: «Не дом, а горисполком какой-то! И как только Наташка со своим хозяйством управляется». Ну а пацанами занимался Андрюха — и охраной дачного хозяйства, и трассой, и все городские точки тоже были на нем. Теперь он был везде.

В середине августа, после жаркого удушливого дня, в сумерках, Женька спустился из дома во двор. Олег, Дима и еще двое пацанов сидели в каптерке охраны, играли в карты. Женька немного посидел с ними, потом прошелся по двору, зачем-то открыл ключом дальнюю калитку и постоял снаружи над уже темнеющими в сумерках кронами деревьев. И неожиданно для себя сбежал вниз по глухой тропинке к затону. Затянутая ряской вода отсвечивала холодеющим

желто-зеленым небом с уже набирающей свет луной, по дороге с той стороны затона проносились с горящими фарами машины. Женька достал из кармана сигареты и тут же, услышав шорох шагов, отступил в сторону за кусты. По тропинке от дороги кто-то шел. Похоже, Андрюха.

— Ты, что ли?

— Я. А ты, Жека, чего тут? В засаде сидишь?

— Ноги размять вышел. Откуда?

— Лехе новую «Тойоту» пригнали. Думал, заскочу на минутку глянуть, ну и застрял. Классная тачка. Мы попробовали. Так что Наталья мне сейчас устроит дома.

— Ну, давай, я с тобой. Отбивать буду.

Они двинулись по Андрюхиной тропинке к подножию их горы. Андрюха шел впереди, Женька сзади. Совсем близко перед Женькой двигалась обтянутая белой футболкой могучая спина Андрюхи. То есть в нескольких сантиметрах от него билось сейчас, как пишут в художественной литературе, огромное сильное сердце его друга. Рука сама опустилась вниз к вшитым в джинсы ножнам. Единственная мысль была, не мысль даже, а так, интерес — сразу получится или нет? Получилось — нож вошел легко, не зацепившись за ребра. Андрюха сделал еще один шаг и как бы запнулся, левой рукой провел по воздуху, ища, за что уцепиться, и начал заваливаться назад. Женька подхватил оседающее на него тело, запрокинутая голова Андрюхи откинулась ему на грудь. Жест ищущего защиты.

— Жека... больно как...

Совсем близко увидел Женька бледно-зеленое под луной лицо Андрюхи. Из лица этого быстро уходила жалоба, как будто Андрюха на чем-то сосредотачивался. Глаза затянула влажная пленка. Осторожно, придерживая под мышки, Женька положил его на землю, на бок, так, чтобы Андрюхе не мешал торчащий из спины нож. Андрюха отходил. Глаза так и не закрылись, в них блеснул лунный свет.

Потом Женька повернул Андрюху на живот, вытащил нож — крови почти не было. Непроизвольным жестом пригладил его волосы. Голова послушно поддавалась при каждом нажиме. «Спи, Андрюха, — прошептал Женька. — Спи». Выпрямился, еще раз глянул на привалившегося к траве щекой Андрюху. И быстро пошел назад к своей тропинке. Наверх к дому он взбегал уже налегке.

Через три дня, на кладбище, дотронувшись губами до холодного твердого лба Андрюхи, Женька заплакал. От бессилия.

Вместо эпилога

С Новым годом!

Метель стихла к обеду. И даже солнце еще успело глянуть в окно Елисеевского магазина, — магазинчика, на самом деле, к купцу Елисееву никакого отношения не имевшего, но в Лукошино его всегда называли Елисеевским, возможно потому, что треть торгового зальчика занимала старинная печь с изразцами. Изразцы засветились, заискрилась фольга чипсов и сникерсов на магазинных полках, и тут же небо за окном начало желтеть, холодеть, синеть.

Закрывались сегодня они в шесть. 31 декабря. Новый год. Ну а на первое Григорьев разрешил их магазину не выходить на работу. Выходной.

Кассир Татьяна уже считала выручку. В кабинетике директора Антонины Алексеевны нарезали в тарелку ветчину и сыр. В подсобке, на пустых мешках за коробками спал, натянув на голову пальто, подсобный рабочий Витька Бибииков.

В магазин он заявился часов в одиннадцать с оплывшей после четырехдневной пьянки мордой, в сопровождении трех дружков-собутельников, высыпал на прилавок перед продавцом винного отдела Тамарой несколько мятых бумажек и мелочь:

— Здесь на бутылку «Северской особой». И дай еще две, пусть тетя Тоня запишет в счет моей зарплаты.

— Тамара, ему только одну бутылку, — подала голос Антонина с другого конца зала. — Никаких «пусть запишет».

— Ну, я же должен мать помянуть? Сорок дней все-таки? А, тетя Тонь?

— Вот именно. Поминают на сороковой день. А не на сорок пятый.

— Ну... тетя Тонь.

— У тебя хоть немного стыда осталось? Я уж не о работе. Ты о матери подумай! Она оттуда видит все. Каково ей сейчас, а?

Стоявшая за Витькиной спиной компания угрюмо молчала.

Так же молча смахнули мужики с прилавка бутылку и, выходя, грохнули дверью. Сорвалось, типа. То есть это они надеялись, что Витька, пользуясь своим положением в магазине, водки им добудет, нет уж, слипнется! — Антонина краем глаза поглядывала в окно. Никого не видно. Это значит, укрывшись от снега и ветра за крыльцом, водку они сейчас сосут прямо из горла. В окне появились только минут через пятнадцать. Витьку уже мотало.

— Татьяна, тащи этого дурака назад. А то ведь бросят его где-нибудь. Как отца.

Отца Витькиного, бывшего когда-то главным технологом комбината, и через пьянки скатившегося до рабочего в упаковочном цеху, вот так же зимой нашли наутро после зарплаты замерзшим в парке у затона, под ногами пустые баллоны из-под спирта «Роял».

Могучая Танька в накинутах пуховике сбежала с крыльца, догнала, дернула Витьку за рукав, — дружки его даже и не затормозили, рукой махнули, бери, не жалко, — и потащила через двор в подсобку.

Нет, алкашом Витьку не назовешь. Немного придурковатый, может. Заторможенный. Это да. А так, нормальный мужик. Хотя вид, конечно, жутковатый. Сорока еще нет, а почти старик уже. Голова наполовину лысая, остатки волос на затылке в хвостик завязывает. Лицо в морщинах. Нос кривой, в школьной еще драке свернули. И на правое ухо он тогда же оглох. Запивает Витька редко, но — капитально. Потому и на работе долго не держится. После того, как с молокозавода уволили, Витькина мать попросила соседку по лестничной площадке и давнюю свою подругу Антонину взять Витьку к себе в магазин. Временно, пока место для него нормальное не освободится. И он уже три года как временный. Но работник хороший. Не слишком умелый, зато старательный и покладистый, у Антонины он — и столяр, и грузчик, и дворник, и электрик, и сантехник. Нет, мужик на самом деле нормальный. Если б, конечно, не пил.

Антонина постучала валенком по подошве Витькиных сапог.

— Вставай, мы закрываемся.

Витька открыл глаза.

— Откуда я здесь?

— Дружки привели. Иди, умывайся.

— Ага.

С красным после холодной воды лицом Витька проскользнул в тесную комнату и пристроился с краю.

— Ну, девки, с наступающим! — подняла рюмку тетя Тоня.

Витька, не обнаруживший перед собой рюмку и потянувшийся к бутылке, получил по рукам:

— Это не тебе. Тебе — пиво.

Витька послушно взял открытую для него маленькую «Балтику».

Ну да, это то, что надо ему сейчас.

Антонина вынимала из сейфа конверты с декабрьской зарплатой.

— А мне? — спросил Витька.

— А ты получишь второго. Когда на работу выйдешь. Ты слышишь? Второго открываемся в девять. Не в восемь, а в девять. Запомнил?

— Запомнил.

— И нечего мне! Нечего!! Ты хоть соображаешь, что у тебя прогул недельный? А я ведь в штат хотела тебя с нового года взять, и как теперь, а?

— Да ладно, Антонина, праздник все-таки. А, Вить? С Новым годом тебя! Давай трезвей для новой жизни.

— Чего?

— Чего-чего... С Новым годом тебя, Витя! С новым счастьем!

— Ну что, девки, по домам? Подарки от Григорьева в углу. Вон те шесть сумок.

Витька стоял на крыльце и ждал, пока тетя Тоня проверит все замки, и включит сигнализацию.

Мороз. Небо черное. Звезды. Снег под фонарями блестит. Во всех домах окна горят. И дым стоит из труб. И месяц над каланчой повис. Блин, как на открытке, подумал Витька.

Сзади уже возилась с дверью и ключами Антонина.

— Спусти сумки и помоги мне, — Антонина грузная, а Витька сегодня даже снега со ступенек не сгреб.

Сумки тяжелые.

— Чего вам Григорьев сюда наложил?

— Как обычно. Шампанское, икра, пастила, консервы.

Они шли по расчищенной полосе посередине улицы, уступая дорогу редким машинам. Пористым куском темноты закрыл полнеба дом Григорьева. Ни огонька. Ни в его доме, ни у Наташки Вавиловой. Свет только из домика охраны.

— А Григорьев со своей Наташкой опять на Новый год за границу уехали.

— Каждому свое, — отозвалась Антонина.

(...в коричневой полумгле бара Наташа допивала латте, смаковала сладкую ломоту в теле после лыж и бассейна. У стойки уже нарисовался тот русский, что утром у подъемника уступил им с Антоном очередь. «После вас, — сказал он, когда подплыла люлька с двумя сиденьями. — Только после вас». — «Спасибо». А ничего так мужичок. И одет правильно, и на лыжах стоит. И час назад плавал по соседней дорожке в бассейне, демонстрировал Наталье свое спортивное тело. Жаль, конечно, что она здесь с Антоном. Но ничего, в марте приедет одна, даст бог, не хуже будет. И в бар она сегодня спускаться не собиралась, не фига мужика дразнить, это Антон ее затащил, хочется ему в европейца настоящего поиграть.

«Мам, это здесь прилично или нет — снимать на видео дискотеку. А? Я девочек хочу поснимать. Как они отнесутся к этому, а? Очень хочется — такой натуры у меня еще не было» — ну да, натура хоть куда, две юные пражаночки выются вокруг Антона, покалывая друг дружку взглядами. «Я думаю, девочкам только приятно будет. Ну а если неприятно, скажут. Ничего страшного. Ты же здесь иностранец, и не обязан знать всех их порядков». И тут же в дверях появились эти две юницы. Замахали Антону руками, и он сорвался с места, оставил свой кофе практически нетронутым.

Уловив движение стоявшего у стойки мужчины, который взял свой стакан и начал разворачиваться в ее сторону — решился-таки, наконец! — Наташа достала мобильник, нажала единицу и, прижав мобильник к уху, двинулась в холл:

— Привет! Ну что, с наступающим тебя?

— Это у вас в Европе наступающий, а мы уже два часа, как в Новом году.

— И как у вас там насчет Деда Мороза и Снегурочки?

— Деда не видел. Снегурочек прорва, и половина уже в купальниках. Тут в отеле два бассейна под пальмами. Мои там. Девочки то есть. Маринка за ними присматривает.

— Трубку ей отнеси.

— Ага.

— Ну, целую тебя.

— И я тебя целую.

Женька встает из-за столика и идет к дальнему бассейну, ему неловко в шортах и в легкой рубашечке, но тайская ночь теплая, душноватая даже. Небо расцветает очередным фейерверком.

Протягивает трубку Марине, но — не отдает.

— Может это зря, что ты разрешила. Все-таки Новый год, а они тут голышом. Не маленькие уже.

— Вот именно, Жень, что не маленькие. Да расслабься ты, у них тут все по-другому. ...Алло, Наташ, привет, ну как ты там, не мерзнешь?

— Папа, ау! — кажет из воды мокрую мордочку Яна.

— А Алиса где?

— У них заплыв. Немец-теннисист похвастался, что сделает всех молодых. Ну и наша компания Алиску выставила. Сейчас он жилы рвет, думает Алиску обогнать. Слышишь, как наши там ржут.

«Наши» — это кучка молодых испанцев, отметил Женька, а ведь тут и русской молодежи много.

— Может, все-таки вылезете, а? За столиком посидим как люди, в одеждах. Новый год встретим?

— Ну, пап, чего ты опять...

Ага. Яна права. Плохо ему за границей. Не надо из дома выезжать. Вообще не надо. Дома он человек. А тут в кашу манную превращается.)

Витька с Антониной медленно спускаются к затону, Антонина дышит тяжело, но говорит, не останавливаясь, Витька напрягается, разбирая слова:

— ...а Ленку гони. Гони! Это я тебе говорю. Думаешь, нужен ты ей? Вселится, квартиру на себя переписшет, а тебя дурака или посадит, или еще что сделает... Слышишь?... Слышишь, спрашиваю?

— Слышу, слышу.

— Ты лучше Верку возьми. Как за каменной стеной будешь.

Не, Верке с Ленкой не сравниться, Ленка — она вся как из телевизора. Но Верка — и это точно — не кинет его так по-черному. Ночью, когда через комнату из спальни шел в туалет, Герка кого-то одеялом накрыл — иди-иди, говорит, это у меня Танька тут, она тебя стесняется. Ага, нашли дурака. Платье-то на полу Ленкино лежало. И потом, хоть и глухой, но слышал же он из спальни, как Ленкиным голосом верещала потом эта Танька под Геркой. Сука!

Не, Верку завтра позову. Мамину комнату будем разбирать.

— Стой! Да стой, тебе говорю, — толкнула Антонина Витьку в плечо — куда несешься?

Витька остановился.

— Я спрашиваю, на Новый год опять с друзьями дома квасить будешь? Или куда уйдешь?

— Не. Дома. Один.

— Ну, тогда вот эта сумка твоя.

— Да мне ж вроде не полагается.

— Это не от Григорьева. От магазина. Там, конечно, не шампанское с икрой, но хлеб, молоко, яйца, селедка. Курица. Пиво. Все-таки Новый год. Ну и пельмени твои «Глебовские». И сметана.

— Сметана наша? Развесная?

— Наша, наша.

Рядом машина тормознула, высунулся мордатый Кудинов.

— А вы чего, закрылись уже?

— Закрылись. Остались только дежурные — гастроном на комбинате и еще на переезде. Туда заворачивай.

— Ну, тогда с Новым годом!

— С Новым годом! — отозвались Антонина с Витькой.

Справа от них забор, высоченные сугробы, в которых по колено — черные корявые яблони, и сквозь ветки их из окошка елка разноцветными лампочками мигает. И даже запах Витька уловил — курицу в духовке запекают.

Да ведь и правда — Новый год!

И сейчас он разгребется у себя на кухне, плиту отмое. В комнате большой приберется. Время еще есть. Потом все с себя снимет и запихнет в стиральную машину. А сам в ванну сядет, не под душ, а — в ванну. Ну а потом — в комнате стол себе накроет: селедка, пиво, пельмени. И — телевизор, «огоньки» на всех каналах. Девки там будут офигеть какие!

У Витьки аж похолодело внизу живота. Или это от голода?

Ну и тетя Тоня обязательно салат «оливье» принесет.

Блин! Холодец! Они ж сегодня утром нашли на балконе миски с холодцом, который тетя Тоня на сорок дней варила. Обрадовались, хавка, думали, а оказалось — ледышки. Но за день-то, наверно, оттаял уже.

И пельмени горячие!

И Витька опять заторопился. От счастья.

— Осади! — прикрикнула Антонина. — Мы уже дома почти.

Мамед Исмаил

В смене настроений

С азербайджанского. Перевод Михаила Синельникова

Внешние потрясения совсем не обязательны в судьбе поэта, его жизнь экзистенциально трагична и без них. Но Мамед Исмаил не избегал и ударов судьбы. Здесь главное обстоятельство — затянувшееся пребывание вдали от родины. Впрочем, в Турции азербайджанский поэт достиг почетного положения: не переменив гражданства, стал профессором крупнейшего университета в Чанаккале, книги его стихов и стиховедческих исследований регулярно издаются. Да и в Азербайджане он ежегодно появляется, много печатается и выступает. И в России Мамед Исмаил не забыт: недавно в Москве вышла книга его стихов и поэм «Вместо письма» в избранных переложениях трех переводчиков: покойного Юрия Кузнецова, Александра Кушнера и моих. И я не в силах преодолеть привязанности к творчеству моего давнего благородного друга, и, что важнее, искренне верю в значительность этого творчества, считаю Мамеда человеком судьбы, как будто бы ею мне и посланным... В стихах он всегда, и в советскую подцензурную эпоху, мучительно правдив. И сегодня не таит самых болезненных своих переживаний, мгновений полного отчаяния. За это и любят его читатели, прежде всего, конечно, на родине. Но здесь важно и обращено не только к русским поэтам верное наставление Анны Ахматовой: «Не должен быть очень несчастным/ И, главное, скрытным. О нет!/ Чтоб быть современнику ясным,/ Весь настежь распахнут поэт»...

И вдруг под свежим веяньем меняется настроение. Что же спасает поэтов, вырывая их из полной безысходности, заставляя забыть и грусть, и набежавшие годы? Только внезапная любовь, которая навещает нас и «на склоне наших дней».

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

Мамед Исмаил — азербайджанский поэт, писатель, публицист. Автор десятков книг стихов, одна из последних — «Вместо письма» (2012), более 50 романов и монографий, изданных в Азербайджане, России и Турции. Профессор университета им. 18 марта в г. Чанаккале. Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Турции.

Синельников Михаил Исаакович — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1946 году в Ленинграде. Автор 20 книг стихов, в т. ч. однотомника (2004) и двухтомника (2006), составитель поэтических антологий. Лауреат Премии Арсения и Андрея Тарковских (2012 г.) и др.

Дух этого дома

Ступишь — дверь распахнётся перед тобой,
Тень твоя шевельнётся перед тобой
И дыхание чьё-то коснётся лица...
Иль в жильё обретённом живёт домовой?
Растерзают всю душу предвестья утрат,
Всё случится, что было тебе невдогад...
Или, может быть, взгляды давнишних жильцов
Оживут и, как гвозди, тебя просквозят...

Мотылёк, что успел в эту мглу залететь
И с огнём, раскрутившись, затеял игру.
На балконе — лоза, виноградная плеть,
Жестяная труба, что звучит на ветру.
Пар над блюдом, пятно на обоях, вода,
Что поёт в батареях, должно быть, года.
Ещё многого здесь ты не знаешь...
Но дух...
Неотступен дух этого дома всегда.
В частом неводе стёкол разбитых — луна.
Ночь, что с жадностью втянута оком окна.
Вечный запах из прошлого,
Резок и сух.
Сгусток спутанных снов.
Дома этого дух...

Этот звук неспроста.
Ты и Муза...
И всё-таки тут
Бродит кто-то ещё,
Хоть квартплату с тебя лишь берут.

Не вспомнишь обо мне

Ты ли ведаешь, облако, участь свою?
Ты куда полетишь после солнечных дней?
Есть развалина с именем «сердце» в краю,
Где из памяти ты удалась моей.

Может быть, превратятся в дожди облака,
Светлым ливнем покинешь ты очи души.
А куда тебе плыть, есть, должно быть, пока...
Ты из памяти точно уйдёшь, так спеши!

Знаю, сердце твоё ждать устало давно,
День склонился к закату, и сумрак вокруг.
Иль войти в мою память тебе суждено
В час, когда твою память покинул я вдруг?

Тронув душу ущелий, тоска разлилась,
И вершины в печальной стоят пелене.
Но ведь в память твою не заедешь, селясь...
И теперь ты не вспомнишь уже обо мне.

Цветок

Разве юность виновна, что мир твой поблёл?
Невозможно постичь, что она вдалеке...
Так бездумно сорвал я мельчайший цветок,
Чтоб взглянуть, как подходит он к старой руке.

Но, как видно, душой наделён и цветник.
Видит: чужды друг другу цветок и рука.
Уколол меня шип, словно в сердце проник,
А цветок чуть осыпался, вянет слегка.

И смотрю я как будто бы издалека,
И мутится мой разум, и сердце в огне.
И, поверь, мне почудился лепет цветка:
«Пусть сорвут меня руки, подобные мне!»

Звук небесный разлился, смиряя, целя...
О, не вечно постылые годы молоть!
Одрахлевшую душу не примет земля,
И к чему ей, скажите мне, старая плоть?

Ты должна была появиться

Как мне тесно в себе, как мне мало меня,
Мало мне, что отчизна узнала меня,
Мало неба, чья сень укрывала меня,
Жизнь мою озарила, спасла только ты!

Нас с тобою по странам чужим размело.
Что бы там ни нашли мы, добро или зло,
Но друг друга найти было нам тяжело,
Я был прошлым, грядущим была только ты.

Все соблазны отринув, пылая всерьёз,
Лжи чураясь, ничьих не пугаясь угроз,
Устранив между нами завесу из слёз,
Разделить моё горе могла только ты.

Знай, у ангелов неба тебя я молил,
И не зря, неспроста бушевал этот пыл!
Ты — надежда надежд моих, где бы ни жил,
И в мирах, где грядущего мгла, — только ты.

Словно воды потопа, стеленье растёт,
Боль моя остановит и времени ход.
Можешь, раны коснувшись слезами невзгод,
Оживить, что сгорело дотла, только ты.

И открылась нам тайна, блаженство суля,
Небывалое поровну счастье деля...
Словно зал ожидания, томилась Земля,
Чтоб откуда-то чудом пришла только ты!

Андрей Белозёров

Мой Аурел

Маленькая ополченская повесть

1.

Ты был мой первый. И единственный — в этой войне, Аурел. Я тебя породил в воззрении сепаратистском, интеллигентском (как и ты, приверженец целостности конституционной, — меня), и я не выдержал испытания; низко пал в глазах казачков, которые верховодили нами, и теперь вот оттаскивают тело изрешеченное, стучат прикладами по костяшкам пальцев, чтобы я ослабил хватку; а я вперяюсь в твои глаза наперекор явному — оно-то однозначно... Я и автомат готов был изничтожить, как мальчуган деревянную штукину; будто и не им я выбил тебя из круговерти городских окрестностей, вздыбленных потом и гневом, — тебя, мой друг, мой брат, моя роза и крест, откровение мое и мое же искупление.

Железяка, курва, ничтожество! Полагался один на пятерых. Плавился в обожженных порохом ладонях. Им крошил, раздирая пейзажи окрестные, гасил волю взбешенную — под натиском плевков огненных... Казачки еще говорили, что умолял тебя встать, забрать *этот взгляд*, исполненный неба степного, тянул за грудки, вырывая пуговицы блестящие со звездами (не успели кутюрье обшить нас по обе стороны), обещал, что никогда-никогда брат не поднимет руку на брата, такого же горемыку, поддетого на пропаганды крюк. Ты хотел очистить землю от нелюдей, кроящих ее. Я же искал отстоять почву под ногами, защитить право выстрадать в мир *ассоциацию*... Я — не политик, не враг, не чужак, а гражданин государства самопровозглашенного...

Я знаю твою семью. Мать — с загоревшим до неумоимости лицом: труд в три погибели на солнцепеке, чтобы стар и мал имели фрукты-овощи на столе... и вот сейчас: ее первенец — *мой!* (Немногим младше я тебя, Аурел, но нынче в старшие гожусь — властью оружия вверенного!) Ты целовал ей руки; она благословляла; ты обещал, молдаванин, уверовав в патетику той, прошлой войны: *Жди меня и я вернусь*... Но возвращения не будет. Была жизнь; я ее отнял из железяки «калашникова»! Тень твоя, пряма и строга, как тень отца Гамлета,

Белозёров Андрей Борисович — прозаик, родился в 1966 г. в г. Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького.

Проза публиковалась в периодических изданиях: «Дружба народов», «Кодры. Молдова литературная», «Литературная Россия», «Новый журнал» (Нью-Йорк) и др.

Живет в Подмоскowie.

надвигается, *требуется*. Президентов же, завязших по бункерам в кумаре алкоголическом, не винит. Да и кто б признался: «Я — убил»? А ведь каждая смерть на войне — акт, инспирированный государством...

Сестры... Сколько нужно мгновений, чтобы известие домчалось в Кишинев? Шестьдесят километров от этого места. Там мирная жизнь чванливая, а здесь... стонущие дома и деревья, асфальт вспоротый; и взрывы, раскаты — как на горках американских... У министерства обороны вывешивают списки; газеты вечерние напечатают имена. Сестры поклянутся отомстить. Поедут в переулки, усыпанные гильзами патронов; явятся с фруктами — шприцом в каждое яблоко — на рынок: наслаждайтесь, сепаратисты, *дарами земли!*.. Не поедут. Восемнадцать и двадцать два им: женихи заждались; но под венец отменяется в этом году. Это по моей вине в доме, благоухающем гвоздикой, в доме тружеников молдавских — горе! Нет прощения! Глава семейства, вмиг постаревший отец твой, до конца дней грозить будет в пустоту перед глазами; искать будет меня, — молить, чтобы *не стрелял*... А я вот он — своевольный: пластаюсь, трясую тебя, вопию, чтобы ты, олень-принц, обратил иначе взор: изрек *свою* правду, — но принял и *мою*...

В переводе с молдавского — Золотой — тебе имя. Только возник ты на перекрестке задымленном в ватаге своих с автоматами, я понял — Аурел; и не просто Аурел, каких тысячи по Молдове, а единственный, тот самый, грудь к груди, с которым не расстаюсь!.. И выстрелил; рожок и ухлопал, не убоявшись промаха, ведь казачки же засмеют... чтобы ты, Аурел, не достался никому!.. Не успел усомниться: хорошо ли, что мой? У него же сын и жена, мать и отец, и сестры, и собака, и кролики, которым он носит траву с холма виноградного... Держал палец на спусковом, гадая, насколько всерьез; водил прицелом, как и учили казачки, верховодившие нами, ополченцами со вскипающими — при каждом всплеске трескучем — взорами... Мы ждали. Вы наступали. Все готовы стрелять — дураков нет подставляться. И вот, словно в игре, — я и не понял, что и как, — а ты уже мой! Содеялось! Установлено и зафиксировано всеми прочими и казачками. Убит!

Казачки в сторону Днестра отгеснили ваших; ты же остался — лежишь, уклонившись ответственности: распахнутые руки, ноги, загребающие... жалкость животная... и в глазах — пунктир Плоскости, в которую нас задвинули.

В высоких штабах, как в сообщающихся сосудах, они все просчитали за нас. И про себя решили — общались: дружили семьями. *Полярные*. А мы думали война за дело правое. Казачки, на трели слетевшиеся геополитические, подсвистывали нашим; твоим же — грезило (под Полярных дуду), что вгоняют обратно в «совок». Расчертили в Плоскости квадраты черно-белые, и мы рады обману (велика сила коллектива!), лишь бы не слоняться в себе — с веерным отключением электричества и воды циркуляции; а потом с паводками, затопляющими села-города (с плотиной опыты, не только с душами)... Мы хотели перемен и движения, потоков, какие являет Днестр... О, если бы мы не стреляли, рванулись бы в объятья, не думая о территории дележе; и, возложив руки на плечи, как на гравюрах гайдуки вольные, повел бы я тебя в свой дом, потом — в твоё гнездо, севернее Кишинева... Испугался: не выдюжим «не стрелять!». (Если я не буду, ты — будешь!) Не доверился!.. Меня же приучили казачки; и Полярные; им было все равно, *кого* я буду убивать — главное, убивать!.. О, если

бы мы *иначе* сошлись: берег правый и берег левый! вместе — по Днестру и к морю! Море — это свобода, ворота в мир...

Твой дом на пригорке под высокой, что шапка у чабана, кровлей. Увитые виноградом холмы, серебристая лента дороги железной вьется между ними, роща буковая, ручей и запруды, корыто в стволе дерева упавшего... Помню, как ты, Аурел, в соломенной шляпе и рубаше вышитой являешься с утра под окно (из праздных городов слетались русские к бабушкам и дедушкам: агрономам-инженерам-бухгалтерам, село поднимавшим). Смотришь ты долго большими, как у оленя, глазами: не знаешь языка; а бабушка улыбается: «Вставай, *твой* Аурел пришел!» И мы дни напролет, *мой* Аурел, пропадали в роще и на лугу, где в ручьях звонких плескались рыбки... *понимали* друг друга... Помню тебя с ранцем (ты пошел в школу раньше меня): «Азбука», карандаши в пенале, палочки; ты был горд, перестал являться под окно. (Открывая завесу будущего, скажу: улица, по которой бежал ты с ранцем от меня, называется теперь твоим, национального героя, именем.)

Я отыграюсь, Аурел, через эпоху.

Студент вуза столичного, калымящий фотосъемкой на свадьбах, я прибуду до начала празднества. Твои дяди-тети, как пастырю, поведают о тебе. Ты вернулся с войны Афганской (ни один моджахед не позарился на *моего!*) с гонором, с ощеренностью смыслов. И впрямь, делая распоряжения, ты высказывался нешуточно, поглядывая косо на меня, что виноваты в положении тягостном народа чужаки. В шатре обрядовом я, *чужак*, буду снимать брачующихся: лебедь-невесту и тебя, жениха надменного, в котором готовность на *некое* уже бросается в глаза (ты баюкал смерть геройскую в груди, как плод косточку), а также буду строить в пары и трио всех твоих, требующих пьяненько: «Уну кадру, маэстро!.. Уну кадру!..» А на другой день с сумкой гостинцев за плечом и канистрой вина я двину в город по автостраде. Сдам фотоаппарат и засвеченные негативы бригадиру, сказав, что *случайно* запорол халтуру. И это будет дарственный цветок всей той высокомерности из глубин, что ты воззвал в мир. А может, и не виноват я; уж не припомню при каких обстоятельствах *проявленное* обошло твою свадьбу. Твой крест, Аурел, моя роза!

...Перед войной еду в этих краях. Поезд медленно скользит меж холмов, так что из головы состава виден хвост, будто змей царя Сераписа замыкает кольцо времен. Твои, Аурел, отец и сын встречают вагоны. В числе других сельчан тянут к окну ведро с черешней. Пассажиры сыпают плоды, бросают деньги. Когда же поезд набирает скорость, Аурел-младший бежит вдогонку, раскинув руки, как для объятий. Запечатлеваю на пленку — для коллекции. Бегущий мальчик, напористый, глаза большие, как у оленя... Вот и ты в объятиях моих — как *он* бежал и глядел!

Заведу обычай приходить на могилу, что направо от входа — в ряду с «афганцами». Ты взираешь на живых в униформе советской. Склонюсь к пирамиде с холмиком... яйца крашеные и кулич... Табличка с латиницей: *Пал, защищая целостность Республики Молдова*... Прозрение к месту-времени: «Долг интернациональный тебя не сгубил; *национальный* — сгубил!» Припаду к лику твоему, Аурел, не страшась воронья готического. Зделаюсь стражем: чтобы каждый день *вместе*. Чтобы лицезреть и *твоих*, — сродников и друзей в День памяти. Поят вином тебя в землю; а я за крестами, стреляю — быстрыми и короткими, — взглядами... Я дал тебе бытие — в себе; мы теперь поровну в

Живом и Мертвом Свете: ты во мне, а я в тебе. Свершениями мирскими и небесными обращены друг к другу.

Об этом я и возопил, Аурел, *тогда*, то есть *сейчас*! Казачки плеснули водкой в лицо мне. Не ведая, что самих пора — в чувство. Туда командировать, откуда и прибыли с прискоком. Убираются пусть! Они гикать примчались, спирт жрать, да баб тетехать; шашку выставляют: рубить ус тому, кто в карты проиграется... Им всегда и во всем везло... в смерти, прежде всего, — и *ее* боготворят; будто не жить народились от матерей, а сразу и помереть: в любой момент по приказу от Бога или от начальства усатого... Вот и пинали, потому что невдомек: как же, радоваться нужно, — врага в цель располосовал, — удача, — свистеть, а не размякать в ничто! — поглядите на молодца: *убил*!

Обоюдоострый тот меч. Открылось: *моя жизнь* схлопнулась! Будто бы прожил ее за тебя (как в ремиксе); умирал ты, *прокрутилось* — во мне... А они говорят: плевать на поверженного, лучше налицо помочиться, чтобы *не являлся*, — вот отвага!.. А казачков, впрочем, жаль, Аурел. Затравленные; но в отличие от нас с тобой, — взять барьер, прыгнуть выше головы хотят. Словом, зря вы в них причину изыскиваете — есть и покруче ребята! Тысячу раз зря, ваши, Аурел, с казачков скальпы снимают; вывертов киношных про индейцев насмотрелись, их-то кураторы и подсовывают (как педофилы порно подросткам) — у памятника излюбленного царю Штефану.

Итак, Бендеры, Аурел. Конец июня, 1992 год. Город-призрак. Линии оборванные электропередач, провисшие сосульками черными; асфальт, истертый танками; бордюр вздыбленный — от попадания снаряда; вишня и шелковица под ногами, вперемешку со множеством желтобоких гильз, спущенных в пароксизме наступления-обороны... И наконец, Аурел, первый круг оцепенения: спазмы, ледяной пот... — видишь *их*! Кого на броне, кого на земле — с металлом искореженным в обнимку, кто-то у развалин ничком, кто-то навзничь — и руки под корень, как столбики бордюрные; чем ближе к центру городскому, тем больше *их*, — только *их* и замечаешь, все остальное *плывет*: и бронетранспортер, и выжженные одно- и двухэтажные постройки, «Икарус», дымящийся по остоу, и легковое авто в лепёху, — фокусируешься только на *их* абрисах, на позах враскоряку.

Если *их* не уберут сегодня — под солнцем начнут раздуваться, как утопленники. В детстве я видел. Водолазы вытащили *его* из реки и при транспортировке сошло лицо о стапеля дебаркадера. Яйцеголовый разбухал, как на дрожжах. Долго я знал с *этим*. Ну, а потом стихи про лошадь Бодлера поставили точку в ряду, когда надеешься еще: человек, мол, особая особь, и хоть выглядит мертвец мертвецом — случается ведь рано или поздно, — но что-то в нем теплится поверх-телесное, лучам неподвластное палящим... Ни в этот день, Аурел, ни на следующий никто никого предавать земле не собирался. Народ-утопленник-богоносец брюхом кверху являл откровение небес. Все глотают спирт и жестикулируют весомо, оглохли и мечутся по периметру отчужденному, желая преодолеть себя — над муравейником взлететь разворощенным. В какофонии каждый и находит расщелину, чтобы срастись с плоскостью бетона спасительной, припасть щекой, умыкать «я» в угол... Город поделен. По одну линию ваши: полиция и волонтеры; по другую наши — милиция, казаки, ополченцы... И всем будто в назидание неприкаянность и экспрессия мертвых: их позы и жесты, оскал заледеневшего в зной крика. Особо в присутствии веском — не поймешь где: всюду! — в присутствии снайпера солнцеликом...

2.

Мы выходили в полдень из Рабочего комитета, Аурел, пятеро нас, добровольцев молодых, и трое казачков-сопроводителей, которые и должны на марше посвятить в *искусство*: научить маневрам при наступлении-отступлении... В сторону крепости пробирались перебежками — к объекту историческому, что значится и ныне дислокацией воинской. Там должны принять на довольствие, экипировать... Питали усердие иррациональное, угадывая в казачках иной субстрат культурный... Казачки повоевали в Дубоссарах, но то, что разразилось с вашей, Аурел, подачи *здесь* — ни в какое сравнение: бендерчан одарили огнем — будто скотину, инфицированную сепаратизмом, чем же еще! — чтобы другую *скотину* по городам и весям не заражала...

Автомат полагался на пятерых. Пока не доберемся до твердыни зодчества фортификационного: ров, стены, бастионы, валы... в мироздании распахнутом — под разрывы мин, снарядов и трассеров!.. Все именно так и начиналось у нас с тобой, Аурел: я уже ступил на тропу, за автомат ухватившись, минуя жребий. Казачки ухмыльнулись; у них были «ксюши», версии укороченные «калаша», такие приняты у ментов после развала страны. У меня же засверкал в руках *тяжелее* на полтора килограмма. Я должен был, Аурел, разойтись, — если что! Всем себя показывать! Пострелять, так пострелять, обжигая порохом пальцы и глаза щуря, входя в раж. Мы ведь накапливали оценку. За месяц до войны я расхаживал по Бендерам в костюме-тройке и с прутом металлическим. И многие так ходили из интеллигентов... И вот теперь государство санкционировало убийство железяками огнестрельными!..

...У входа в Рабочий комитет — пулемет; мешками с песком обложен. Вдоль фасада по асфальту взрытому — окопы; пара пулеметов с флангов; стрелки курят в траншеях, — на линии генеральной перед исполкомом, за который ведется драка... Мы должны миновать наши цепи и судьбе себя предоставить: кварталами центра, распознавая чувством шестым, *где* не должно быть засады; оказаться у полотна железнодорожного (по соседству с российской частью воинской), а там уж и до крепости доперекувыркаться. В мирное время, Аурел, я покрывал минут за сорок это расстояние, ныне к заходу солнца доберемся. В крепости располагаются силы регулярные приднестровские, вернее то, что от них осталось. Бендеры отрезаны от Тирасполя по Днестру...

Волонтеры. Так называли ваших, Аурел, без различия званий и рода войск; формирования, отстаивающие ценности конституционные государства Молдова. Казачки же твердили: кто как не мы обязаны защитить жен и сестер, себя самих, когда волонтеры желают погнать всех (чемодан, вокзал, Россия!). Но многие стучались в дома, оружие слагали, просили одежду — переплыв Днестр, «ховались» в Украине. Дезертиры. Случались и те, что промышляли. Могли и за глотку взять, страшая лозунгами страны единства... Аурел, ты был сыном отечества: *исполнил долг* в Афганистане, женился, работал механизатором; задумывался и о праве нации; все было у тебя, праведного, впереди. Сепаратист помешал, стремящийся доказать: судьбу историческую надо выстрадать!.. По сути, и вам, воякам от сохи, и нам, от станка и кульмана, *помогали* — лишь бы война была похожа на войну...

...Можно и переждать в подвале войну: с недоумением-презрением к себе. Я б уж точно свихнулся; ведь имел опыт, — видел *бег о сорока ног*. В начале

войны. В первый ее день... Между небом и землей топот: пыль из-под каблучков и подметок, нерв сознания ухватывает смыслы быстрые, о чем обувка галдит. Скукоженные, ирреальные, сеющие отчаяние пары стопные — дробь суматошная. Флотилия беспорядочная взрослых, и вскинутые бурей (но все же на привязи рук родительских) *кораблики* детей — белые, розовые, голубые. Волочатся волоком чеботы-ладьи стариковские, с визгом вворачиваются в пыль костыли и корявые клюки. Не дай Бог, *телу о сорока ног* о единственной задуматься!.. И вдруг — пьяных обломков груды — в подвала щель смотровую — обдает едким запахом: взрыв! — красные кубики: крови! — первая кровь, я ее постиг... на своем лице!.. то ли женщины, то ли мужчины, старика или ребенка... Пока не участвуешь — боишься. Встанешь в строй — не горюй!.. Ушел я в ополчение, как и товарищи (пятеро нас, мыслящих, обуреваемых сомнением), когда были позиции определены, хаос начала молниеносного вверил себя муторной, недовольной по пустякам, будничности истерической — обмену любезностями в виде пулеметных и автоматных очередей днем, да залпов «Града» ночью. Это длилось без малого полтора месяца, пока не вошли в Бендеры — такой же психоз коллективный — миротворцы...

...Горожан в первые дни войны избывал снайпер, помимо мин и снарядов, а также взысканий идеологических. Орудие террора, поборник неведомой *третьей силы* действует по сговору: бить и наших, и ваших. Даже кошки-собаки спотыкаются под окуляром леденящим, — их, кстати, и уколошит иной въедливый весельчак. Снайпер — звучит веско: метко и жестко. Безысходно. Страшен его *взгляд*. Смотровые щупы виртуоза маскировки-наблюдения, поражающего цель с первого выстрела. Нездешний он, этот взгляд, подкравшийся к нам в очередь на рынке, — способен свернуть молоко и сгноить пристальностью яйцо. Этот взгляд «лелеет» жителя местного задолго до часа «икс» — и вплоть до момента, когда падает мягкотелый-розовощекий (на фруктах и солнце) мертвее мертвого — *жертвенный* — во имя покупки пришелицем дачи или авто. Но и снайперов заманили в ловушку. Единицы разбогатели, уйдя от возмездия. Им вменили сеять упаднические настроения: чтобы помимо обстрелов в ночи из орудий разного калибра, от которых, в принципе, можно укрыться, — сработала и дневная остратка: прятались бы людишки по ячейкам, не смея носа казать на воздух, пропитанный гарью пожаров, приторный от забродившей в зной крови. Чтобы живые позавидовали мертвым!..

3.

Пробирались под снайперским приглядом улицами центра, который опустел, как после радиации выброса аварийного (на станции атомной, если б таковая была), чернели трупы в округе и галдящее воронье. Что мы могли — укрыть убитых? В жару прозрений — в холод предчувствий... Смежали веки, затыкали уши, были беззвучно... Встречались, не без этого, *живые*, пришибленно-осажденные, в немыслимых расщелинах почв и среди уступов домов... И вот трусим мы, Аурел, големами по проулкам неузнаваемым, под ногами гильзы и гильзы, в ушах гвалт от сражений дальних, от сражений близких, пот обжигает ледяной; трусим, — в ожидании големов, явью ошпаренных, — чтобы схлестнуться: рвать друг друга и жалить металлом!

Казачки наблюдали нас. Подзадоривали: дефилируем, мол, в местах проверенных, но позицию снайпера меняют; вылазка в крепость и есть проверка на

собственных мишенях частоты разброса по кварталам стрелков. От шуток казачков тошнило — даже в таких негодящих (для снобизма) условиях, как вывернутый город: канализация выведена из строя, все на поверхности. И улица Ленина, и у памятника вождю подтеки фекальные. Нашел время — ведь если сочтут профнепригодным или, чего доброго, сотрут ластиком огненным с Плоскости мироздания... уж лучше сносить юмор казацкий... Я *чувствовал* (все сильнее) предстоящее, Аурел, мне казалось: вот, я уже и постарел лет на тридцать — за три дня войны!

«Пригни-и-сь!» — разнеслось в затылке, как в фильме «Сталкер».

Боже ж мой! Обстрел, крещение боевое, которое и принял в составе формирования. Казачки среагировали, распинав нас, тюфяков, по тротуару. Но я постиг, ей-ей, *контакт огневой*! Впечатление: зажат на пяточке между составами железнодорожными, громящими в обе стороны. Сантиметр влево-вправо — перемелет! Бросаюсь под бордюр у переполненного мусорного бака жилой пятиэтажки, что напротив сбербанка. Группа, стрелявшая по нам, в банке и находилась. Казачки, будто эквилибристы, занимали позиции за деревьями, приказав отступать в парадное. «Поезда» уже грохотали над головой, раздирая перепонки. В роздыхах кратких — звон опадающих витражей банка!.. Замечаю: мои ребята с хвостами поджатыми влачатся в подъезд...

Я же обращаюсь в камень. Каждым пупырышком ощущаю, как ложатся пули слева и справа, взвинчивают «мусор культур» в жестянке бака... Вечность, Аурел, другая... Открываю глаза. Вижу обрушенный в себя город... Вспоминаю, что в руках автомат. Стыдно перед казачками. Встаю и бегу — за дерево, выдав очередь в направлении банка. И казачки, расстреляв рожки, оказываются рядом. Нет, Аурел, те, что засели в банке, вовсе не нападали, они боялись — потому и открыли огонь. Они видели какое-то будущее здесь (слышна была их-наша речь космополитическая), охраняли деньги. И мы, наверное, озаботились — соблазн азартом «зеленым» мелькнул в глазах казачков. Чертыхнувшись, командиры решили не будить лиха.

Нас было пятеро (не считая казаков) и у нас (казаки не в счет) штаны в дерьме. Мы их затирали, скрывая позор, но по большому счету никто не комплексовал. Шутки «про говно» были как раз, чтобы привлечь к реакции адекватной молодцов двадцатипятилетних, побужденных взять одно на пятерых оружие... Привал в кинотеатре. Сидели на паркете выщербленном у стен, посеченных пулями, в фойе полуциркульном: зал — «синий», зал — «красный». Обдумывали битву из битв. Казачки хохмили, почитая нас за идиотов, не способных и шагу ступить.

— Отличный день для учений, ботаники!.. Жаль «мухи» не было под рукой: раскатали бы банк в нулевку! Пусть даже и бабло б сгорело!..

— Я врага убить не смогу, да и *никого*, — проговорил один из наших, вдавливаясь в стену; и все затаились, сглотнуть бояться.

— Ты все еще *не мыслишь* врага? — принял за чистую монету казак. — А если он пришел убить тебя, будешь целовать его?

— Можно найти общий язык... Но убивать...

— Ты рассуждаешь, как педик! — вскипел другой казак.

— Не думаю, что человек должен бежать в этой жизни, пока его не настигнут... — гнул линию самый, казалось, малахольный из нас.

— Ты оставишь свое мнение здесь! — отрезал их предводитель. — *Вы* вляпались в это дерьмо! И мы пойдем до конца. Отныне любой в мыслях

посторонний — враг! — метнул взгляд в зачинщика спора. — Бей его быстро и сильно!.. — и запустил поверх голов пустой магазин в бунтовщика.

Я не старался отгородиться. Что пришло на ум — свидетельствую. Детство и юность я ухлопал на культпоходы в кинотеатр, смотрел про войнушку и разные другие неурядицы, — и все, Аурел, было фальшивкой. Дяди, создающие и прокручивающие целлулоид несуразный, и капли не извели из того, что *проносилось-зналось* сейчас. Вот здесь, с опадающими, как листва, фотопортретами со стен: Тихонова и Быстрицкой, Мордюковой и Бондарчука... Новая реальность, она обойдется без фильмов... Казачки не давали закончить мысль, придавая хаосу очертания типические: строили нас, угрожая надрать задницы! Они на *все* способны; им все равны: заслуженный артист, студент-филолог или инкассатор; убивают с поводом и без.

Мои чувства, Аурел, к казачкам. Отчет. Мне кажется, я их уважал; или боялся, бог знает! Глаза их сверкали огнестремительно: коктейль гремучий из спеси белогвардейской и неприкаянности красной. Но — по порядку. Я их не любил: за то, что они знали, *как* нам быть, — не мы, местные, знали, а они, пришлые! Я их любил: за то, что рисковали собой! Я их не любил: рисковали и нашими жизнями, указав на тебя, Аурел, и продолжают указывать. Я их любил: отдадут последнее. Я их не любил: пьяницы-дебоширы, наркоманы! Я их любил: душа у них нараспашку — не дремлет ни днем, ни ночью, звезды сводит и луны подвигает! Я их не любил: маньяки, страдающие безрассудствами и комплексами!

Когда они разглагольствуют о еврейском засилье в сферах жизни, включая телевидение и кино, то чувствуется — завидуют; и будь воля казацкая, устроили б *шабутное* сообществу цивилизованному, похлеще масонов. Любят казачки *про евреев*. Не ведают, где оказались. Молдавия — уголок земли обетованной. По сердцу каждому еврею молдавскому Бендеры: стены древней крепости напоминают Иерусалим. Значителен камня символ; известняк из карьера вывозится для облицовки московских синагог. Ефрем Баух — председатель Союза писателей Израиля — родом из Бендер... А казаков хлебом не корми. Вот и подбросили им в услужу сей архетип. Кто? *Полярные*... Я не ревнитель этих иерархий сложно-подчиненных. И я, Аурел, за Империю не бодаюсь. Выпало родиться в городе с климатом и харизмой, и сам по себе не пришлый я герой. Не с теми я, кто задумал нам сказы сказывать — *про форпост*, какой мы из себя здесь являем на Днестре. Я бега сороконожки народной испугался. Потому и взял «калаша» железяку.

К намеченному. Тропами потаенными, садами-огородами, что и в центральной части города. Посвист пуль окаянный, шелест осколков. Где свои, где чужие, и как вообще прочерчена линия противостояния? Хаос вырвался из «заточения культурного», во всякой точке витийствует. И по следам нашим. Я в джинсах и в футболке, с автоматом. Ты, Аурел, — в военке образца советского; на каске у тебя повязка белая. Что-то детское есть в твоей фигуре большеголовой, в как бы еще не проявленной воле; ты и есть дитя света, посланец лада наивно-цельного... Казачки одиозные — в прикиде-амунии: со скрипом сапоги хромовые (в жару-то!), галифе с лампасами, аксельбанты и, конечно, чубы-усы. Обчистили костюмерную Одесской киностудии и вихрем обратно. Белых перчаток не хватает! Ряженные, ей-ей. Бессмертные!

Делаю шаг: расплавленные от зноя кроссовки наступают в бурьяне — между штакетником жилых малоэтажек и мостовой. Сигнал по цепочке, группа

встала; чувствую: нахожусь *за пределами* развязки. Облака закружились, и клекот чаек, и шум моря в ушах; но нет моря здесь... Под лопухом — труп девицы; у нее задрано платье, приспущены трусы (результат транспортировки тела под забор); и почему-то кажется, что запах идет от ее гениталий. Жужжат глянцевитые мухи, жужжат в разметанных по траве волосах. Большая виноградная улитка ползет по ноге — оставляет дорожку. Казачки столпились — и тоже на гениталии, будто не видели никогда... К лицу, прекрасному в смерти, их взгляды прикасаться боятся... Достучались в домовладение. У обретающихся на период обстрела в чулане выяснили: убитая жила на соседней улице, ее искали родные с того дня, как началась война. Снайперская мишень: в сердце навyleт.

...Нужно одолеть наскоком квартала четыре. Отовсюду мы, как на ладони. Тебе, Аурел, известно: сам и угодил в засаду! Справа по курсу здание библиотеки; голубые ели перед фасадом выкорчеваны взрывом, стекла выбиты. Вновь забирает ознобистое чувство: заведение, учившее думать (с кинотеатром наравне) — в стадии отречения; читатели-почитатели уж не те: зрят в иной корень... Два столпа — кинотеатр и библиотека — пали (в отличие от банков, Домов правительств); кто и что следующий?.. А может, все встало на свои места *зверские*? Когда несешься стремглав, кричишь с вытаращенными, будто наизнанку вывернутыми, глазами, жмешь на курок, до онемения стиснув зубы, лезешь к товарищу в живот, вправляя кишки, приноравливаешь голову к обернутому в полиэтилен погребальный владельцу, многое другое, изрядное, Аурел, — по накатанной ведешь себя: не как человек мыслящий, но животное ощеренное...

У библиотеки на перекрестке погиб в первые часы войны оператор телевидения; прошитый пулей, он упал, но камера с газона снимала. Тело и вещдоки доставили казаки в Рабочий комитет. Вчера, Аурел, прокручивали хронику того боя: припадающие на колени, молотящие из автоматов люди и пышные розаны взрывов. А сегодня — проекция легла на реальность: те же строения, сосны, обглоданные осколками, и свист пуль *тот же*. То, что заснял оператор, — на века; мои же чувства во мне: мне страшно, значит, я существую!..

4.

Детский сад; и не обойдешь: улица простреливается. Нет сомнений: через здание, рискуя встретить в нем *ваших*, Аурел! И мы друг за другом — в распахнутые от ударной волны ворота на веранду, виноградом увитую, и в окна; казачки по флангам секут ситуацию... И вот здесь, Аурел, я тебя *провидел*. Сквозь анфиладу, как вглубь событий и судеб. И через зыбкий облик твой я познал лик народа: я — такая же часть его: отринутая. Нас разъяли — тебя и меня: берег правый и берег левый Днестра, порвали жилы и ткани! Увидел в комнате разрушенной — *бегущего мальчика*, впечатанного в стену, — похожего на того, бегущего за поездом: распахнутые руки, как для объятий, и ноги, загребающие вбок. Припечатало взрывом, словно комара: ручки-ножки втерты в штукатурку, означены спекшейся сукровицей; и этот *отпечаток* наложился, сросся с тобой в силе и яви, став взглядом и жестом, — наполнил меня — навсегда!

...В умывальной сидела напротив окна разбитого, по кафелю стены съехав на корточки, воспитательница в халате. Пышные локоны белокурые. Смотрела в упор с интересом неподвижным — будто ждала — красивыми глазами подведенными. Сжимала до посинения в ногтях ухоженных флакончик с

парфюмом. Во лбу пятно, точно у индианки, а выше — отверстие от пули, ввинченной в бетон... Я познал запах убитых, вдыхал запах крови раненных товарищей, старался облегчить страдания, — но все они были «свежими». Эта же мадам источала в зной вершинную интонацию, достойную пера декадентского... Когда ныне, Аурел, я вижу на щитах рекламных Николь Кидман, презентующую линию «Шанель», то вспоминаю ее — мадам в комнате умывальной: тот же феминистский укор в глазах томных, судорожное цепляние за флакон. Ждала, чтобы поразить — не в сердце, а куда-то в сумрачные дали интеллигентского сознания...

Больше я не разменивался, Аурел. Вперед. Поверхвременной дух — над завалами раскладушек, горшками и велосипедами... Не внимал и шествующим рядом — на угрозы безотчетные, обращенные к тому, кого они убьют, или кто убьет их. Везде тела: дети, родители, сторож-старик и работницы кухни; но я *поверх* всего, — к тебе! На все времена мы связаны.

Миновали детский сад, изранились душой. Вдруг: очередь автоматная. Пять подряд! Проскакиваем, себя не помня, за угол. И уже маячит перед нами здание мебельной фабрики. Все живы пока...

Охрана встретила нас на проходной в количестве трех потрепанных бессонницей мужиков. Без оружия. Опасаются военных: не могут разобрать, кто в этой чехарде за кого. Мы объяснили: «чужие» носят повыше локтя или на каске белые повязки, да и усы у них (у тебя, Аурел) подковкой, коротко стрижены, а казачки любят пышные. (Зря вы их, Аурел, за усы третируете, скальпы снимаете, или вот еще новость дня: счет ведете по ушам; эти уши-усы нанизываете в гирлянду и повязываете шарфами победно. Казачки — статья, *им дозволено*.) Мы вот, ополченцы — тоже не по уставу одеты; идем за амуницией и до дальнейших распоряжений... Но не будет уж, видать, приличного жизни порядка, — ни уютных жилищ, ни умытых лиц, ни чистого белья, — только руины смрадные с выгоревшими глазницами окон, мода на хаки (как кора платанов вековых) у снующих по воду из укрытия и обратно, — у сограждан оробело пришибленных. Переживающие эту трагедию, Аурел, не догадываются, почему все это — будто с кем-то другим: из книги дерзкой, из фильма...

На территории фабрики новая жуть — трупы с улиц, подобранные в период затишья. Службы погребальной нет, по случаю присыпают землицей, накрывают холстиной... Под редкими утренними выстрелами охранники отыгрались, что без оружия. Итог: уложенные за крыльцом проходной мертвые с ошпаренными взорами... Остановка, Аурел. Взывали помочь могилы общей рытьем. Казачки согласились, разбодяживая в бутылки спирт из медкабинета. Наливают нам — и за работу... Руководили казачки с крыльца, беседа вольно «за жизнь». Сторожа лупоглазые, приложившиеся к спиртяшке, удивлялись, что не дотумкали воспользоваться зельем казенным, дабы умягчить разгул свисто-пляски. Подсказали пришлые и проворные, — *правые*, — как и все подсказывали на Днестре: где и чья граница, кому и когда «в ружье»!

Несколько часов на солнцепеке — соль брызжет в глаза, льется по спине и груди. Ломиком и лопатой куюм для жатвы *нового* времени хранилище, — местные, угребающие по стопам исповедующих идеалы имперские... Они же достают из мешков заплечных пакк (хлеб, тушенка, морская капуста), приглашают на приступок бетонный. Но в жару рядом с трупами только пить. В этом нет проблемы: хоть душ принимай из шланга. А в целом с водой в городе напярк; в

сиесту все спешат «на колодцы», из которых частенько выуживают мертвых, либо на Днестр, где течение предьявляет очередное зверство — распоротого бойца в портках, с раскинувшимся на десятки метров составом кишечным...

Омывали одежды, пили воду, терзали дальше пласт звонкий, оглушенные геополитикой неофиты, вбитые по пояс в землю. В крепость пойдем, как стемнеет, решили казачки, несмотря на то, Аурел, что перестрелки усиливаются в ночи.

Меня всегда отвращали запахи лакокрасочного производства, гнетущие город, но сейчас спасительные, хоть фабрика мебельная и простаивала. Между двумя цехами и столовой мы явили, наконец, яму; подсобляли мужики с проходной и какая-то женщина, чей кум или сват обретался в гробу наспех сварганенном. (Трупы изымут после прихода миротворцев, с целью установить личности; что станет с теми «яйцеголовыми», можно только догадываться.) Твое же тело, Аурел, — целостность священная: руки, ноги и голова в едином массиве — предадут земле с почестями при стечении представителей власти и сельчан. На третий же день в числе прочих героев (в обмен на погибших чинов казачьих) твой, Аурел, гроб, обернутый триколором, выставят при Кафедральном соборе. Спи спокойно. Вечная память.

...За собак они нас почитают в своих штабах полярных — за собак!

Только не спать, не спать...

А ведь мертвецы, Аурел, без рук, ног и голов попадались. Мы их заворачивали в целлофан с участка упаковки, опускали в яму. Казачки жестикулировали, отдавая распоряжения там, где мы и сами не лыком шиты, лишь бы показать громогласно, что все под контролем *неусыпным*... Один из нас во внушение сие поранился, когда брался за бедренную кость, перебитую осколком: вошла в ладонь, как лезвие сабли. Брезент рукавиц не защитил салагу-могильщика. Вид крови действовал впечатляюще: вокруг мертвые сплошь в сукровице и запекшейся костной жидкости, а *наш* с порезом мается, как школяр на субботнике, готовыйлизать ядовито свежую рану...

Нашлись, не без этого, бинты и зеленка, перевязали. Спирту накатали. Кто-то из бывалых в галифе предложил из запасов промедольчику задвинуть «раненому». Смесь гремучая — алкоголь и наркотик: для категории человеко-животных, кто шагает в неведомое, намеренный на каждом шагу распрощаться с *ведомым*, с явью. «И боль, и злость собрав в кулак, ударим в вену натошак!..» — куражились поводыри, то и дело справляясь меж собой о числе оставшихся ампул... Их ничего не брало, закалка среднерусская. Это мы *тут*, на Днестре, предпочитали «сухарь» безобидный; они *там*, в Рязанях-Тверях-Липецках, уедались самогоном, зная толк и в маковой соломке, в курительных дурях. А может, делали вид, что *не брало*, во всяком случае, в глаза им после «прихода» лучше не заглядывать... А кто найдет отражение в твоих глазах, Аурел, похожих на глаза оленя? Встреча наша отсрочена еще на несколько мгновений, распахнутых в вечность. Никто изваших и не сунулся бы на объект «Фабрика мебельная» — силы пущены на мост и на исполком, там проходят разломы тектонические. По местам же — мародерство, сведение счетов с активистами того или иного стана, криминальные разборки...

С тобой вот как *это* случилось. За две недели до войны ты прибыл с другом по совхозу, которому также не выдали за год зарплату, в столичный военкомат. Но прежде вы засветились у памятника Штефану, земли прашуров объединив-

шему в междуречье Днестра и Дуная. Здесь тебе, Аурел, и вскружили голову городских окрестностей виды. Вас обступили активисты Фронта Народного, убедили: Родина-мать в опасности! Большая еврейская Америка руками Расеи попускает расчленить цветущий край, а потом и вовсе искоренить молдаван; Россия, мол, и не подавится, так как по природе должна держать многохищность в тонусе, чтобы кровь не застаивалась, мышцы не хирели! (Пропагандисты по другую сторону гнали инако: руками Молдовы гнобят Россию!..) Итак, Родина призывает сыновей дать отпор. И в долгу, разумеется, перед героями не останется — двадцать зарплат совхозных за блицкриг наведения порядка конституционного! У подножия Царя с крестом и мечом в десницах *они* всучили направление с блестящей по орнаменту печатью в комендатуру. И пошло-поехало. Выяснилось, что прозябающий среди виноградников к северу от Кишинева усвоил и уроки Афганистана... Итог: товарищ, по наущению которого ты прибыл на раздачу тайнств конспирологических и денег, невредим, а тебя... в общем, известно...

Ну, а если бы не я? Ты б меня убил! Куда ни кинь — одни вопросы: *кем* быть, *с кем* быть, *как* быть? И ты — пешка в чужой игре. Мертвым нынче почетней. Всяк погибший — герой. А живому надо доказывать. Ведь так все заорганизовалось, Аурел, что в жертву на совете геополитическом решено принести тебя, хотя с газетного разворота — крик: Приднестровье подверглось агрессии!

5.

Начинало смеркаться. Отряд, восемь человек нас, двинул в путь. Но это, Аурел, было обманчиво — ожидание сумерек в периметре фабричном. Квартал, в котором мы оказались — на него обрушился девятый вал! *Сабантуй так сабантуй!* — как сказал поэт другой войны Твардовский, — из летящих навесом мин! На глазах был срезан, точно серпом, тополь: ствол с раскидистой кроной, как в съемке замедленной, поднялся в небо, завис, и, задрожав листом каждым, рухнул... Схлынет война, Аурел, залечатся раны, но останутся по местам истинные свидетели драмы — деревья. Буду припадать к ним, впиваясь пальцами в следы от пуль и осколков, предназначавшихся нам с тобой. Могу и экскурсии водить в память о жертвах насилия государственного, свидетельствуя, как террор катил волной, сметая и Молодость, и Веру-Надежду, и Любовь. В отличие от обновляемых фасадов зданий (где также отметину оставляла война) — деревья *помнят*. И транслируют всем проходящим мимо — нашу с тобой боль.

Застряли конкретно мы, Аурел, хоть отползай на фабрику. Но и туда путь заказан. Доскачем в двадцать прыжков — располосуемся на двадцать ошметков, как те двадцать, которых погребли. Кто мы? — мясо пушечное, ополченцы навыка сомнительного. Залегли в магазинчике разграбленном, с основательными, впрочем, стенами. Защита от осколков и трассеров, а насчет снаряда — как карта ляжет! Казачки крыли матом, обзывали нас гребаными сосунками, которым они, их высокоблагородия, свободу даровать вознамерились; но совладать, Аурел, со страхом и апатией не могли. Персоны наши невозможно было оторвать от пола, говном разившего (от нас и разило); мы готовы были сквозь настил дощатый просочиться — в подпол спасительный; и мы таки, Аурел, его нашли — люк.

В одной из подземных каморок обнаружили люди. Бомжи-подзаборники горестные, богом забытые, такие есть теперь в каждом городе. Высветили зажигалками их, тенями писанные, образины трепыхающиеся. Бедолаги не ушли за черту войны, мужчина и женщина возрастом к старости ближе (все они, отребье, старики с виду) сидели на подстилке; руки сплетены, трезвые; глазами тускло мерцали, как нужно, чтобы выразить безучастие. Кто мы — «за» или «против»; приднестровцы или молдаване; «или — или» — сплавлены в единое душегубство земное. Не проявили движений в свою защиту, видимо, полагая, что конец — награда за существование обезличенное. Ссыпавшиеся по ступеням казачки остервенело расстреляли в упор парочку, прежде чем разглядеть *кто*, — нам в назидание: будет и с вами так, если не унесете задницы из недр засранных! И мы, Аурел, отирая мелкобитую черепицу костей, крошево кирпичное с плеч, покинули оскверненное убежище, продолжили путь в аду... Я шел в объятия твои, смешав судьбы разноцветную смальту и не понимая, зачем было являться в *живой* белый свет? Ты и объяснишь: моя причина и следствие, и мое избавление.

Один из главарей ринулся к заводу «Электроаппаратура»: нет ли засады, кем вообще контролируется улица, выводящая к ветке железнодорожной и к пустырю перед ретраншементами крепостными? Казака этого разорвало на наших глазах. И мы приняли сие — здесь градус реальности преломления: каждый стремится к подвигу во имя общего! (Такие взяли эмоции после расправы «доблестной» над бомжами.) Они были героями, Аурел, усачи в фуражках; в отличие от гражданских, не прогибались под дугу воркующую, что описывает пущенная на кварталы мина; они относились к жизни — своей ли, вражеской, — как к тому, что необходимо преодолеть. Теорией не блистали, — потому и с присвистом, с кондачка, с наскока! Они жили этим — все бурные эффекты и казусы, алкоголь и наркотики... Герои на героине. С любовью преодолевающие жизнь; смерть возлюбившие.

Но для чего, Аурел, думаю, поглядывая на удальцов с аксельбантами и сабельками (что бьются о сапог, несостоятельные в бою, где решает порох), для чего преодолевать себя, будучи уже не в себе? (Рублю с плеча, но ведь и казачки рубят.) По сути, из-за идеи пресловутой величины, Аурел, мы все исстрадались — и русские, и молдаване, и украинцы, и другие народности, населяющие междуречье Днестра и Прута. Выскажись в таком духе казачкам на бивуаке — и преодолеют тебя с наскока: голову смахнут шашечкой. А надо бы и задуматься! Мысль — главное в человеке. Кто мыслит, тот существовать *заодно* со всеми не может. Вот трезвый источник сепаратизма!

Перенесли спеца обезноженного в частные владения — под навес, служивший гаражом. Надеялись, жив еще. Он полегчал, карлик; пока мы его передавали из рук в руки, прочертился след, рубили шашкой сгустки кровавые. Я где-то читал, что у живого лица полностью не смеется: что-нибудь печально — глаза, рот. Этот же умер всей статью лица *смеясь*: и прищур, и с ухмылкой ужимистой, — не человек, а Джокер из плоскости карт игральные, карт имперских. Ужаснее умер, нежели ты, Аурел, витязь в военке советского образца. В говне и сукровице, умытый кровью, как геолог нефтью. Смердный обрубок, к которому не пришьешь (посредством флэшбэк) хватку и командные с хрипотцой окрики...

Схоронили казака, Аурел, по усеченной программе. Как и его тело — усеченное. Как и его жизнь. Они сами (наши учителя) отмерили в Плоскости

жизни-игры: прошло время цельного человека, каждому необходимо стать увечным — телом, мыслью, душой... За какие-то минуты-мгновения парниша тридцатилетний, полный амбиций, спирт из горла хлещущий (и не пьянящий), словом, что хлыстом оглашая окрестности (пули передразнивая), рассуждающий и о вопросе еврейском (с притопом-прискоком), — получает и *скорое* разрешение: крест из тарной доски на огороде безымянном. На меже, откуда начало берет пресловутый великоимперский форпост... Жителей по погребам мы предупредили: лежит-де тут воин России... А двух ног его мы не доискались... Еще один день войны хоронился за черту на горизонте, — выхолощенный, истлевший. Удушающий дух мертвечины, горелых машин и обосравшихся людей живых...

6.

Шли цепью по территории хозяйства путевого. Бендеры — узел железнодорожный, здесь скопились платформы с лесом, цистерны с горючими и ядовитыми веществами. Попадание снаряда — полгорода снесет, катастрофа экологическая!.. Несколько раз залегали в щебень на насыпи, подползали и под составы. Близ ремонтных мастерских полыхали вагоны. Пожарный поезд маневрировал, но доступ преграждали машины путеукладочные... Думалось: в дополнение к библиотеке и кинотеатру пала и железная дорога. Не за горами время — и в других городах будут люди шнырять по углам: «библиотека-кинотеатр-дорога», тычась в мерзость запустения... На фоне чернеющих укреплений крепостных сигналит маячок; где-то поодаль, метров через триста, отвечают...

Вошли в теснину между цехом депо и забором базы военной. Крыли ее матом казачки, — за то, что хранит предательский, на их взгляд, нейтралитет. «Враз бы вымели вражью силу из Бендер! — кляли они генералов российских, выкуривая косяк на двоих (нас не угощали, ни к чему не склонных кроме вина). — Защищают жен и свои задницы!» Так полагали мутные от горя казачки, товарища потерявшие, упуская, что все вооружение формирований приднестровских, да и казачье (исключая опереточные шашки-нагайки) — со складов базы.

И вот, доложу тебе, Аурел, какую низость по отношению к нам совершили чины режимные, задумывая и проводя в жизнь анклава провозглашение. Разведки, угребающие на путях Империи, военные особисты, не желающие уступать, аппарат пропагандистский — по обе стороны Днестра. Никаких тебе посторонних ангелов и демонов. Играли друг с другом в поддавки за сферы влияния лапотники геополитические; и продвигались от зачина — якобы возникших у нас с тобой противоречий на почве языковой, — к цели: чтобы сошлись мы, Аурел, с железяками «калашникова»... Способен ли ты понять, в отрыве от лозы виноградной, что твоей любовью к Родине (как и моей) манипулируют за тысячу верст?

...В ночной свистопляске, размалеванной мерцанием трассеров, становище армии российской хранило вид добродетельный: в гнездах оконных пышный свет, будто рауты устраиваются, прожектора с жесткой ритмичностью очерчивают периметр... островок мира и стабильности в аду кромешном...

Проскочили разъезд (трех ветвей пересечение: Москва-Бендеры-Кишинев), нырнули в бурьян на подступах к сооружениям крепостным. Тут явилось, Аурел, — звезды и луна свидетели, — страшное (и странное, по сути) откровение. Хотя мы уж навидались в дни эти, вчерашние студенты-мечтатели-изобретатели;

и казачков не удивишь с их прошлым, мраком покрытым. Из юго-западных ворот крепости (метрах в трехстах от места, где мы залегли) выезжали фургоны в количестве шести, — фары потушены, скрежет камней, урчание моторов; бойцы рядами в кузовах крытых... — и колонну эту встречал с пустыря взхлест огонь пулеметный! С нескольких точек тесным упором били. Мы в непонятке суровой. Долину, описываемую линией рва и валов, и еще несколько раз по столько же вглубь позиции, ваши контролировать никак не могли; доказательство сему — обстрел минометный по фронту данному, плюс с тыла атакующих база.

Водитель головной не успел сманеврировать — в кювет. Остальные грузовики, запылав, и в гармошку друг с другом, тела заметывая под колеса. Все, кто *пока* жив оставался, — метались с «калашами».

Не чаяли, Аурел, ринуться на подмогу — с арсеналом-то: автомат на пятерых, нож, фонарь и ракетница. Если б мы открыли огонь, то пули по курсу ложились бы, добивали выброшенных из фургонов. Затаились, отчаянием давясь. Вершилось на наших глазах усекновение сил регулярных приднестровских. Для нас это и выяснится, свидетелей нечаянных. Для прочих всех — деза официальная: выезжающая колонна (двести бойцов) расстреляна своими, — ошибка роковая, на войне и не такое бывает! Обвиняли и ваших, Аурел, но вы непричастность свою доказали...

А колонна спешила в центр города. Молодые и в возрасте, знающие, как и мы с тобой, Аурел, куда себя деть в хаосе: «слинять» на побережье морское, отсидеться в камышах на лимане совесть не позволяла... Двести душ при снаряжении могли б отстоять исполком; и с мостом через Днестр разобраться, чтобы уж заступили в город войска, сдерживаемые на переправе. Но штабные выполняли приказ диффузный: не допустить *внятного*, решительного! Войне быть сроки максимальные! Вершили в сей час не мы с тобой, Аурел, не отвага наша и честь, не схлестка в бою кулачном, а предатели — с циркулем и в лаптях... Казачки, Аурел, наставляли палок в колеса — отстояли город под сивуху и наркоту. Как же, ведь город правобережный, пристегнутый к массиву левобережному, будет на десятилетия реять жупелом в этой корриде. Здесь расчет, здесь интрига!

И вот *свои* расстреливали *своих*, по приказу *своих*. Я, Аурел, был свидетелем. Обман вероломный не в чести даже у врагов: и ты, и я восстали бы, узнай, какие подлости уготавливали штабные. Горстка героев восстала бы!.. Но и по вашу сторону, Аурел, предательства и саботажа хватало. Три тысячи новобранцев, ведать не ведающие, куда их после присяги свезли, разбивающие бивуак в ближайшем лесу, вскрывающие банки с тушенкой и молоком, кидающие сухие фрукты в котлы, — предательски атакованы генералом Лебедем из орудий дальнобойных, когда уж война была завершена, необходимость в жертвах не значилась. Но *диффузные*, ваши и наши, положили *закрепить результат*. Нет ни одного села молдавского, где б не оплакивали новобранца. Погибших с вашей стороны, Аурел, за эту кампанию больше, нежели пришло «груза 200» в Молдавию из Афгана за годы. Уникальная дубрава вспорота огнем, деревья валились, как снопы в борозды; а мясо молодое солдат разлеталось на километры, усеивая автотрассу «Бендеры-Кишинев». Каждое дерево леса ксероморфного обгарено кровью. Выкошены под корень животные и птицы, вписанные в книгу Красную... Но вернемся, Аурел, к тем, кого сделали баранами жертвенными у крепости.

О, как вздымали к звездам и луне, здесь и сейчас, выхолощенные шары-оболочки подвергнутых вероломству. Как они *вскипали* во встрече с трассерами, режущими пляс огнестрельный в ночи, не доставляя уж мертвым хлопот: раскаленный металл супротив бледно светящихся пузырей ирреальных. Как сопровождается все это у стен крепостных канонадой беспрецедентной. (Для кого-то, впрочем, ожидаемой, а для нас, Аурел, для горе-ополченцев, соль на рану; от нее послухом вольным перепонки в такт вытекают из ушей кроваво.) Как превращается *этот* формат адовый — в музыку вдохновенную... Испепеляющая волю — музыка — нездешняя, сдвигающая тектонические плиты чувств и разума — музыка сфер небесных!..

Взгляд тонет в тумане кровавом. Нам велели — лицом в землю. Могли б податься на базу военную, что оставили позади, но великая страна упредила: воюйте, аборигены, за идеалы банановые, нас не вмешивайте, хотя и общеизвестно — *кто* держит форпост! ...Вбирали животами жар земли. Слезы и пот иссохли в себя. Над крепостью и над неостывшим в ночи пустырем, бурьяном заросшим, растекалось зарево морозное, — в последних числах июня... Еще раз стволы атакующих засветились и потухли; раздалась *неслышная* команда: «Отбой!» И воздух опять стал недвижим. По пустырю несколько групп снялись с позиций — полукольцом двинули широко в камуфляжах с пулеметами на плечах, как усталые косари, оставляя в зареве тела подкошенные. В направлении базы отходили. Дошли, Аурел, а, дойдя, передали поверх голов пулеметы; подтянулись и — через забор сами. Коммандос. Да, держались они ровно: уверенность маниакальная, сила власти кроющей... А где наша с тобой, Аурел, воля? Как в игре компьютерной забавляются нами, решая исход между племенами... Вот это и было откровение, Аурел, грядущего над твоей и моей землей Солнца. Ни гибель казачка, которого схоронили среди укропа; ни расправа над бомжами в магазине разграбленном; ни погребение изуверных на фабрике; ни бой у банка; ни драма в детском саду, — *иное* откровение: года, десятилетия, века! То ли еще будет, Аурел! Проявленный мир не объять с точки зрения сепаратистской или приверженца целостности. В сердце расколотом ищи истину.

7.

Никто ни к кому не спешил на помощь. В крепости, как и у нас, на подступах дальних, все завязло в момент. Царило поствзрывное онемение оглушительное. Раненые отползали от машин догоравших. Профи устранили погрешность в расчетах — так называемая *поправка выполнения*, говорили казачки: скovyрнули по живому геополитически-крупнокалиберно!.. Крепость снарядила лучших, от кого зависел перелом сражений в городском ядре: оружие, амуниция, паек, нацеленные *на Победу* смыслы. Ведь держался из последних реплик метафизических исполком; Рабочий комитет хранил величие лозунга: *За Родину! За Приднестровье!* После разгрома двухсот мозг лозунги не принимал... Тридцать их всего, Аурел, и осталось, готовых *в ружье*, на огромную, таящую сеть ходов, непобедимую в веках твердыню. Контингент. Включая два штаба, казачий и гвардейский, с посыльными, которые не в счет. Эти же, *тридцать*: караульные на бастионах, кухня, медсанчасть. Живой силы не более предвиделось (все прочие рассыпались по селам и побережью черноморскому)...

Зазвонил колокол: немногие *эти*, Аурел, взялись подбирать раненых,

пеленать убитых в брезенты. А мы, свидетели, прыгнули в ров, поросший лебедой, по тропе козьей, минуя ворота, взобрались на вал. Казачки говорили, позвякивая сабелями, что отряды разрозненные оставят исполком и Рабочий комитет, отойдут в крепость; последнюю оборону придется держать в осаде круговой, до вдоха последнего; нельзя надеяться и на Страну Великую (была да вся вышла!); только как во времена эпические уповать на гроздь виноградную от аистов, несущих в зорком клюве ее, дабы напитать защитников... Так-то, Аурел, — *всегда Сейчас*: и Прошлого, и Настоящего, и Будущего. *Всегда Война!*

Хоть и захлебывались мы — в себе и наружу — *знанием*, никому не было дела до нас! Казачий атаман зашивался у раскаленного аппарата телефонного, связующего с Тирасполем. В гвардейском стане у коменданта — тоже хаос; никто не хотел и слушать, *кто* были зондер-стрелки; и от постановки на учет ополченцев отмахнулись, будто война проиграна, по крайней мере, на бендерском участке: «После, после!.. дайте с мертвыми разобраться!..»

Мы стали высматривать, Аурел, куря беспрерывно, где бы могли пригодиться. На хозяйственном дворе бились смертной яростью два петуха; никого та битва не трогала, так как болью существ разумных затмилось все вокруг. Варил горшок — *кровь* — все ею выстиралось. В организме человеческом пять литров ее; если учесть, что погибших около двухсот, стало быть, тонна жидкости активной в минуты упитала мироздания *плоскость* — в нее-то и вбивают нас, табака цыпят... В переносимых с места на место мне чудились, Аурел, знакомые. Мыкали массив телесный: голову с левой рукой по груди, — и я узнавал однокашника со двора соседнего (на плече татуировка, завидная многим), ушедшего в ополчение тем же маршрутом на сутки раньше... Встречались головы, скошенные под корешок; присваивали им номера, уместали аккуратно по размеру в контейнеры пластиковые из-под солений, извлекаемых штабелями на задворках, где дрались петухи. Мы помогали с расфасовкой, с порядковым счетом... Все вокруг вязкой исходило морошкой. Выбранные накануне похода лица мертвых, словно окунутые в лаковый раствор элементы манекенов разобранных. У нас, пятерых ополченцев и двух казачков, одежда и руки *опять* по локоть в крови... Чавкающая под ногами и в обуви хлябь кровавая...

Занялись, Аурел, и нами. Как и полагается, свидетелями заявленными. Отнюдь не гвардейцы президентские и не казачьи служки, что при атамане (и не сам атаман), а явились по души наши — *диффузные*, непонятно как и возникшие: словно с неба ангелы внимательные и вежливые спустились; скорее всего, из подземных ходов, что идут под городом, похожие на туннели метро. Из недр возникли, не чихнув, представители *отдела* армии, которая и блюла в дела суверенные невмешательство; разведка увлеклась нами — военная или внешняя, бог ведает, этих сердцем пламенных индивидуалов с холодными умами: и не поймешь, в каких знаках отличия — под блеск очков в оправе металлической!.. Посадили нас в воронку бронированный, на сейф похожий, и через злополучные ворота юго-западные повезли — демонстрировали усеянные остовами машин и людей мертвых улицы; вместо того, чтобы пешком препроводить до КПП — через дорогу железную метров шестьсот... По транспорту этому никто не стрелял. Ни мои товарищи, ни твои, Аурел...

Когда выезжали из крепости, казачки-радетели в салоне душном без лишних приказали назидательно, жестоковейные, чтобы ни звуком-полусловом не обмолвились *о спецназовцах*: валите на аурелов-молдаван, они, мол, и уделали

колонну (поджидали в час урочный), — иначе утрут вас, как сопли, и на могилку не укажут родным: война! Так и поступили, Аурел, после дознания краткого: кто мы, что? На *ваших* гнали. Группа-де из двадцати бойцов, рассредоточившись вдоль насыпи и расстреляв из пулеметов колонну, ретировалась к Днестру — в сторону моста. Слышны были позывные рации — *по-молдавски*... Се хорошо, Аурел, по инструкции, как и велели казачки. Не учли одного — внутри воронка, отнюдь не ментовского, случилась прослушка... Нас отвели в баню, выдали форму (без погон), покормили, поднесли сигареты и спирт. А потом построили всех семерых (казачков включая) в коридоре дальнем... Мы стояли вольно, захмелевшие от почестей и спиртного. Главный разведчик расхаживал взад-вперед, улыбался и шурился в очки; походка расслабленная, левая рука в кармане, правая помахивает, бесцеремонно, как бы массируя онемевшую (от высиживания долгого за документами) ягодицу; даже снисходил к нам со словами вескими, относительно в городе боев, — о, как не вязались его интонации публичные с жестами плюс жужжание напряженное гнезд электрических в потолке... И вот последовала из уст его гаерских команда: «Смирно!» С фланга помощники *серьезные* двух вожаков наших развернули лицом к нам (взгляд у казачков смущенный был, чего не случалось за время странствий), и без реплик предварительных выстрелили им из «Стечкиных» в лоб.

Мы не блевали, Аурел, испытали из того, что лучше не слышать, не видеть; мы стали плакать разумом: это когда выхода нет; с холодным сердцем и *страшной* головой! В себя рыдали и пощады просили: у Бога, у дьявола, — лишь бы подальше от *этого*, когда свои расстреливают своих. Воплотиться в ином времени и пространстве, в земле *иной* — вне войн и политики: где-нибудь в Зеландии Новой; люди там ходят год напролет в одеждах белых, шлют друг другу *сердца привет*, но это детали... Внятно, Аурел, донесли нам агенты внимательные доктрину. От таких, как мы (пятеро нас, ополченцев), они ничего не скрывают; голоса у них ясные и громкие, их не понижают после расстрела старшин наших. Улыбались туманно: казачки, мол, путаются под ногами, толку от их доблести — ноль. Путают карты в отношениях с аурелами. С огляда горного нужно по-другому! Ангелы очкастые и научат: *как надо*. Берите оружие, забирайте и старое, получайте удостоверения спецсотрудников — и двигайте в комитет рабочих. Вызываться будете. По поводу же того, что видели, — блеск очков — как пинок, — вам все равно не поверят!.. Да вас тут и не было! Никогда!

Так нас назначили в палачи твои. Ведь доброхоты им хотя и нужны, но не дороги. Им нужна воля наша измороженная. И не просто палачи мы, но жертвы избранные, которым дано осознать механизм гибели собственной... Мы скрепили водярой *знание* новое на пятерых (мы действительно перестали быть каждый самим собой); проспали часов двенадцать в казарме, что нам еще оставалось; были изнурены, не то слово; наши головы и тела болели... Потом нас укололи амфетамином и на том же воронке, на шкаф с документами похожем, подбросили к комитету рабочему — под начало опять-таки казаков, снаряжающих смену в исполком осажденный... Я услышал от офицера казачьего довод, что в верхах и не думают защищать город — готовятся сдать: сохранив по сговору базу военную на месте дислокации и влияние политическое; но вдоволь попотчевать население жутью фугасной, не без этого... Казачки рассудят по-своему: стоять будут до конца! И ополченцев принудят к тому же. Не жизнь, а смерть вступает ныне в права. Воля Евразийская: биться до последнего, — и саблями, и врукопашную — во имя будущего, в противовес приказам диффузным!

8.

Весть о том, что автоколонна угодила в засаду, повергла защитников в шок. В какой уж раз спирт разнесли за душ упокой по окопам, окаймляющим периметр обороны узла; и взысканиям не было конца: *как* аурелы могли узнать время выхода колонны?! Войной руководят из обкома Вашингтонского! забавляются НАТОвцы в игру компьютерную!.. Такие, Аурел, пестовались мнения в среде бахвальной. Мысль о том, что *свои* — *своих*, на ум никому не приходила, да и не могла прийти: ведь как же — *свои*!

Мы, Аурел, пятеро нас, избранных, — держали рот на замке шифровальном, как и велено у аппарата с мозгой искусственной. Были бойцами при амунии. И вновь находились в здании повстанческом. В том самом, что три года вело агитацию в массах, провозглашая славный наш регион. Раскидистое строение старинное. В его подвалах задолго до войны складировались автоматы и коробка с патронами, а также провиант, наркотики и спирт в баллонах, оборудование госпитальное. Пылились кипы установлений в штабелях и листовки (на случай подполья), бланки для документов... При нас же, Аурел, имелись *бумаги*, которых достаивались немногие. Это означало «крышу»; например, если угодим в плен, то отмажут на уровне, а не оскальпируют без суда и уши розовые — на низку. Главное, головку держать перед гипнотизерами... Готовились подняться в ружье, и, возглавив «пятерки», ударить по вам, Аурел, с флангов — когда вы и предпримете на исполком вылазку очередную. На бессмысленный в стратегическом отношении объект, в бункере которого прозябала в кумаре знать городская; вход и этажи — в ведении казачков и гвардейцев, у которых уже и с патронами напряг и с доверием обоюдным... И ваши штабные, Аурел, сфокусировались на ржави, вместо того, чтобы обороняться по мосту. Если бы вы удержали мост, город бы тоже удержали...

Смиряться опять и опять с мыслью о смерти неминуемой. Ибо такая, Аурел, установка благая лилась из динамиков: *зачем жить*, когда румын торжествует! когда наши спины окажутся под кнутом, как в годы 20-е, 30-е и 40-е! не поскупимся — на алтарь освобождения!.. А то, что поэзию румынскую чтут в мире, драматургию и музыку — об этом молчали в тряпочку. Да и о *многомони*, Аурел, страшились: что преодоление жизни, к которому призывают, есть, по сути, преодоление и лозунгов, вещающих за жизни преодоление... И в далекой Москве к *преодолению* своеобразно относились. В одной из комнат Комитета телевизор работал, подключенный к дизелю; неумолимо раскручивался барабан-балаган «Поля чудес», по другим же каналам — сериалы бразильские с паузой рекламной...

Мы рвались из сводов душевных, пятеро нас, Аурел, предпочитая пулю снайперскую с верхотур дальних; готовы были грызть ломом асфальт, обливаться потом, переноса тела изувеченные, — лишь бы подальше от боссов в галифе, получивших внушение у здешнего (в подвале у листовок) аппарата с мозгой искусственной: *Румын будет разбит! За вектор славянский на Балканах! Умрем — но победим!!*

И вот тут, Аурел, в солнце закатном из окопа я и увидел тебя. Ты появился на углу здания суда полуразрушенного. Я встрепенулся. Взревел дико, вырвался из вольера. На врага вскинулся: на тебя, мой брат, *на тебя*! Казачки, что поблизости случились, также вскипели, будто чайники микроволновые, будто и

не ровню увидели с правом на землю и подвиг (во имя *ее* же подвиг!), а из космоса существо — *невозможное*: галдом засвистели с притопом, потащили шашки из ножен, схватились за «калаши»!.. Ты пробирался с отрядом из микрорайона, где у вас штаб, — к исполкому; но правее взяли вы в безумии, дымами чадящем, а о проводнике не озаботились, то и казус — к Комитету вышли. Метрах в ста появились, где обретался по душу твою: только и дожидался тебя *он*, Аурел, неотрывно палец держал на спусковом; думая-гадая, как открыть казачкам о колонне у крепости... Увидел тебя, Аурел, — понял: почему оставили пятерых? Кто, как не местные, спаянные в кулак разящий, обязаны вогнать по патронов рожку в брата; иначе ведь и не считается — если казачки пришлые победу будут добывать!.. Я приговорен пролить кровь твою, Аурел, — порождение ума холодного моего и сердца, которое почему-то тоже, как и у них, в Отделе диффузном. Но тогда все было наоборот: горячий ум и сердце холодное — когда стрелял в тебя! Это-то *им* и нужно: чтобы я *исполнил*; чтобы «долг» воспринимал горячей головой, а сердце каменное — и не ведал бы брата в тебе!

Вы поняли, что ошиблись, Аурел, — и все твои рванули в обратку, дав очереди наугад: урвать хотели времени исторического... Ты не кинулся в подворотню, как пес с хвостом поджатым на территории чужой. Ведь *твоя* под ногами земля, Аурел; *наша*. Стоял. Сердцем золотым вслушивался. Упал. Раскинутые долу руки и ноги, угребающие куда-то: как твой сын, бегущий за поездом, как и тот, другой мальчик, припечатанный в детском саду... Отдался в жертву. Волка возлюбивший, ставший мудрей его!.. Я загнипнотизирован тобою; а ты — мною: силой, которая вошла, когда казачков гвоздили диффузные. *А разделенный* ею — в пароксизме не осознал необратимости; итог: «правобережные», так и есть, растворятся (не за горами уж время) в Романее, как и возжелала элита национальная, интригующая, а «левобережные» — что будет с ними? — а они облачатся в вериги ожидания. *Признания*, по-видимому, и не состоится в их судьбе. Но это уже не имеет для нас, Аурел, значения. Я смогу быть тобой, ведь *познал* тебя, возлюбил. Я увидел многое, увидел *все*. Навеки разорваны мы — *здесь*, но *там*, за пределами слов, будем мы народом единым, небесным. Мы не подпустим к себе политика или военного специалиста; там, за облаками, будем взращивать виноград, пользуя его на манер ангельский. Это когда исчезает с куста одна, лишь одна гроздь малая — с поросшего виноградом холма, — и обретаются во множестве эти ягоды, будучи привнесенными птицами-аистами эфемерными, в том месте, где необходимость в них велика. В Крепости, которая держит оборону круговую, чьи герои, отражая осаду стихий, напитываются явленным свыше виноградом. И входят в воды, стремящие свои потоки к морю, и раны их исцеляются.

«Этот остров полон звуков...»¹

Голоса современной британской поэзии

Для этой подборки я постаралась выбрать поэтов с разными национальными корнями, живущих в разных местах и пишущих на разные темы: мне хотелось дать почувствовать читателю, сколь широка и многообразна сегодняшняя поэтическая сцена Великобритании. Возможно, взгляд со стороны позволил бы более строго очертить или охарактеризовать поэтическое творчество нашего маленького архипелага, но мне эта задача представляется крайне сложной. Поэтический истеблишмент послевоенного периода, с его школами и героями, судьями и обозревателями, остался в прошлом. Конечно же, он не разрушился в одночасье, а размывался исподволь: появлялись маленькие издательства, журналы и поэтические сообщества за пределами Лондона, зарождались новые формы поэтического самовыражения, такие как звучащее слово, входили в моду поэтический слэм, рэп-поэзия... Сейчас трудно поверить, что мнение горстки критиков или предпочтения одного-единственного редактора могли ощутимо повлиять на историю поэзии.

Интернет-сообщества и литературные курсы тоже начали оказывать влияние на читательские предпочтения любителей поэзии. Всё чаще стихи публикуются в Интернете, который зачастую становится единственным средством их распространения, читатели делятся своими открытиями и рекомендуют друг другу стихи посредством социальных сетей. И пусть многих поэтов не замечают остатки поэтического истеблишмента (пресса, жюри литературных премий) — эти поэты, тем не менее, сумели завоевать немало преданных поклонников благодаря наставнической деятельности и поддержанию сообществ, а также благодаря Интернету, местным читательским клубам и работе малых издательств, которые их публикуют. В чтении и, в частности, в чтении поэзии вершится тихая революция, открывающая новые возможности как перед поэтами, так и перед их читателям. Благодаря этим возможностям выходят из тени те группы, которые раньше считались второстепенными и были недостаточно представлены в пространстве поэзии: например, поэты-женщины или представители других национальностей. Я понимаю, что все мы по горло сыты политкорректностью, и всё же: в авторитетной антологии «Новая поэзия», изданной в 1962 году, не было ни одной британской женщины-поэта, а в первой серии поэтических сборников «Современные поэты» издательства «Penguin» представлено свыше восьмидесяти поэтов — и среди них всего три женщины. Лично мне это представляется вопросом первостепенной важности!

Несколько слов о географии. Томас Кларк — шотландский поэт, Шинейд Моррисси представляет Северную Ирландию. Менна Элфин — валлийский поэт, она преподает в университете Уэльса. Дэвид Константайн — поэт из северной Англии (он родом из Сэлфорда, что недалеко от Манчестера), Кэтрин Симмондс живет в Корнуолле, а я выступаю от лица юго-восточной Англии. Мониза Акви — пакистано-британский поэт, она родилась в Лахоре, но всю свою жизнь прожила в Великобритании. Этот спектр

голосов кажется мне важным сам по себе. Архипелаг у нас маленький, но его географическое, человеческое и историческое многообразие поистине велико.

Поэзия Монизы Алви сформировалась под влиянием переживаний, основным содержанием которых стало осознание поэтом своего смешанного культурного багажа и жизнь в отрыве от родины. В первом опубликованном ею стихотворении «Подарки моей пакистанской тётушки» рассказывается о том, как она получила в подарок наряды из Пакистана и ощутила их инородность: «Я никогда не буду столь же прекрасна, как эти наряды» (в Англии это стихотворение включено в обязательную школьную программу, в Интернете можно послушать его в нескольких разных исполнениях). В последующих поэтических сборниках, опубликованных поэтическим издательством северо-восточной Англии «Bloodaxe Books», она продолжает постигать свой «расщепленный мир» («Расщепленный мир» — название её книги избранных стихотворений, изданной в 2008 году). А в новом сборнике «В эпоху раздела» (имеется в виду раздел Британской Индии в 1947 году на Пакистан и Индийский Союз — время бунтов и уличных боёв с огромными человеческими жертвами) она прослеживает судьбы членов своей семьи. Кроме того, Мониза Алви переводила стихи Жюль Сюпервьеля² и Марины Цветаевой (совместно с Вероникой Красновой), в обоих случаях избрав для перевода стихи, в которых присутствует мотив изгнанничества и оторванности от своих корней. Этот мотив звучит и в нашей небольшой подборке: в стихотворении «Сари» наряд вновь становится основой для постижения собственной идентичности и особенностей восприятия: две семьи смотрят на героиню стихотворения, английская бабушка — в телескоп, а пакистанская семья — в иллюминатор, через который героиня, в свою очередь, смотрит на мир. Стихотворение заканчивается тем, что героиню всё оборачивают и оборачивают длинным сари, шепча ей: «Твое тело — это твоя страна» — и борьба за идентичность временно утихает, но образ сари, столь похожего на саван, намекает нам, что на самом деле она закончится только со смертью.

Стихи Томаса А. Кларка я впервые услышала в этом году в музее Вордсворта в Озёрном крае. Кларк читает свои удивительные стихи как заклинания, акцентируя слова и ритм характерным движением руки. Все прозвучавшие тогда стихи были из его последней книги, опубликованной небольшим поэтическим издательством «Карканет. Желтое и Синее». Эта книга — череда поэтических фрагментов, содержащих точнейшее наблюдение за миром природы. Каждый поражает пристальностью и оригинальностью взгляда, и стихи Кларка порой напоминают мне японскую поэзию с её лаконичностью и насыщенностью образов. На том поэтическом вечере, где мне довелось присутствовать, Кларк представил несколько маленьких книжечек и открыток, которые он сам сделал, и все они были прекрасны как по форме, так и по содержанию. Наша подборка дает читателю возможность почувствовать, насколько важны для него вопросы формы. Некоторые из представленных здесь стихотворений распускаются, подобно цветкам, в ходе чтения, в других он использует повторы, подчеркивающие медитативный, созерцательный характер этих стихов, в чем-то подобных молитве. Кларк и его жена, художник Лори Кларк, держат галерею и выставочное пространство для художников, работающих в русле минимализма и концептуального искусства, в деревушке Питтенвим в восточной Шотландии. Сам Кларк тоже работает в области изобразительного и концептуального искусства. Его персональный сайт и блог можно найти по адресу: cainredition.co.uk.

Дэвид Константайн — поэт, не менее чуткий к миру природы, однако его поэзия носит выраженный лирический характер, а у английских и немецких романтиков он унаследовал ощущение, что созерцание природного пейзажа может стать путем к спасению. Константайн много лет преподавал немецкий язык в Оксфорде и считается одним из лучших переводчиков своего поколения; он переводил, в числе прочих, Гёте, Клейста, Гёльдерлина и Брехта. Первое стихотворение в нашей подборке — тоже своего

рода перевод: «Старый городок» — вариации на тему португальской песни-фаду³, которую Константайн перевел для сборника фаду, однако в эти стихи влетают его собственные светлые воспоминания о Сэлфорде, промышленном городке, где в 1950-х был такой сильный смог, что перед трамваями и автобусами всегда шел специальный человек, следивший, чтобы никто не попал под движущийся транспорт. Все стихотворения, вошедшие в эту подборку, взяты из его новой книги стихов «Бузина». Поэзию Константайна отличает насыщенность мифами и аллюзиями (целый ряд стихотворений в «Бузине» — переложения «Метаморфоз»), а кроме того, особая гимническая интонация. Часто в его стихах сочетаются пристальность взгляда и истинный восторг, и в итоге рождается хвалебная песнь — островной жизни (каждый год Константайн проводит часть времени на островах Силли⁴), любви и переживанию счастья, порождаемому избыточностью бытия. Но в стихотворении «Зеркало, окно» улавливается смутная тревога, противостоящая этой радости. Лирический герой смотрит на свое отражение в черном окне и молит об избавлении от того, кого он там видит: «Ясное дело, мы не приносим друг другу радости». Это совершенно особое гармоничное сочетание переживаний счастья и ужаса, характерное для поэзии Константайна, трудно воспроизвести, и поэтому, как недавно написал в «Гардиан» Шон О'Брайен, «Константайн ни на кого не похож».

Шинейд Моррисси — поэт-лауреат Северной Ирландии. Она преподает в Королевском университете Белфаста. В этом году она была удостоена поэтической премии имени Т.С. Эллиота за пятый поэтический сборник «Параллакс», откуда и были взяты стихи для нашей подборки. Моррисси родилась в семье североирландских коммунистов (ее дед, член коммунистической партии, несколько раз бывал в России), и ее происхождение нашло отражение в первом поэтическом сборнике «Был в Ванкувере пожар». Она много путешествовала, жила в Японии, Германии и Новой Зеландии, и в ее стихах яркой россыпью культурных отсылок отразилась широта ее взгляда на мир. Но мне в стихах Шинейд Моррисси дороги прежде всего ясность и ритмический драйв, умение ставить вопросы духа и разума с потрясающей остротой, во всех возможных ракурсах, а кроме того, присущая ей способность творить поэзию из обыденных вещей и переживаний. В отличие от большинства англоязычных поэтов, Шинейд читает все свои стихи наизусть, в манере медиумической мелодекламации.

Кэтрин Симмондс — поэт, романист и автор рассказов. Она начала писать в 27 лет после скоропостижной смерти отца. Впоследствии она признавалась: «Это событие заставило меня всерьез задуматься о том, что я творила со своей жизнью, и тогда я поняла, что единственное, чем мне действительно нравится заниматься, — это литературное творчество». После этого она прошла по конкурсу в престижную школу литературного творчества в Университете Восточной Англии. Ее первая книга стихов «Воскресная стирка кожи в прачечной» была удостоена поэтической премии «Форвард» за лучший дебютный сборник. Прошлый год она прожила в Лонсестоне, что в графстве Корнуолл, в качестве поэта-резидента при музее Чарльза Косли⁵. Поэтическое творчество Кэтрин выбивается из главенствующих тенденций современной британской поэзии, поскольку зачастую религиозно окрашено как по тематике, так и по интонации. В таких стихотворениях, как «В церкви» и «Богоявления», она напрямую обращается к понятиям Бога и души, чего современные поэты всячески избегают, а в «Разговоре с липой», например, позволяет себе непринужденную и лукавую медитацию, одновременно забавную и глубокомысленную. Стихи в этой подборке взяты из её последнего сборника «Богоявления», выпущенного валлийским издательством «Серен» в 2013 году.

Менна Элфин — самый известный и самый переводимый среди поэтов, пишущих на валлийском языке. Ее стихи публикуются в виде двуязычных изданий, в переводах самых разных поэтов и самого автора: совсем недавно в издательстве «Bloodaxe Books» вышла ее

очередная двуязычная книга «Шёпоты» («Murmur»). Название содержит в себе игру слов: «mur-mur» переводится с валлийского как «стена-стена». Элфин интересуется валлийской историей и трогательно пишет о судьбе последней принцессы Уэльса, Катрин Глиндур, дочери лидера валлийских повстанцев Оуайна Глиндура⁶, заключенной в лондонский Тауэр вместе с детьми, где они и погибли при таинственных обстоятельствах.

Мои стихи⁷ тоже включены в эту подборку. «Красный дом» — своего рода «веночек сонетов»: это цикл, в котором первая строка первого сонета оказывается также последней строкой последнего. Цикл назван по картине художника Питера Дойга⁸ «Красный дом», однако выходит за пределы содержания этой картины и включает в себя целый ряд переживаний и событий внутри и вокруг «красного дома» — многоквартирного здания с легким налетом абстракции. Это стихи из моей одноименной книги, изданной в 2011 году. А стихотворение «Сказочник» — из предыдущего сборника, который называется «Усадьба» и открывается циклом, посвященным Михайловскому, усадьбе Пушкина. «Сказочник», о котором идет речь в стихотворении, конечно же, не Пушкин, но в тексте мелькают кое-какие подробности из историй о Пушкине, которые рассказывали нам экскурсоводы. Это моя попытка осмысления поэтического мифа и контр-мифа.

Саша ДАГДЕЙЛ

Перевод и примечания М. ФАЛИКМАН

¹ У. Шекспир «Буря». Акт III, сцена 2. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.

² Жюль Сюпервьель (1884-1960) — французский поэт, прозаик и драматург, родившийся в Уругвае.

³ Фаду (порт. fado от лат. Fatum — «судьба») — стиль традиционной португальской музыки, выражающей чувства грусти, меланхолии, одиночества и ностальгии. Разновидность сольной лирической песни (мужской или женской) под аккомпанемент португальской гитары.

⁴ Небольшой архипелаг в графстве Корнуолл.

⁵ Косли Чарльз Стенли (1917-2003) — известный английский поэт и писатель, автор множества книг для детей и для взрослых, родом из Корнуолла.

⁶ Оуайн Глиндур (1349 или 1359 — ок. 1415), коронованный как Оуайн IV Уэльский — валлийский рыцарь, поднявший восстание против английского господства в Уэльсе, длившееся более десяти лет, но в конечном счете оказавшееся неудачным. Национальный герой Уэльса, описан в пьесе Шекспира «Генрих IV».

⁷ Саша Дагдейл — поэт, драматург, переводчик, главный редактор британского литературного журнала «Современная поэзия в переводах» (Modern Poetry in Translation). Автор трех поэтических сборников, лауреат премии Грегори за первую книгу стихов «Notebook». Переводит с русского языка стихи, прозу и драматургию. Редактор-составитель и переводчик англоязычной антологии прозы о Москве «Moscow Tales» («Московские сказки»), 2013. Пьесы Саши Дагдейл публиковались в переводе на русский язык в журнале «Иностранная литература» (2009, 2011), стихи — в антологии современной британской поэзии «В двух измерениях» (М.: НЛО, 2009).

⁸ Питер Дойг (род. 1959) — британский художник, представитель магического реализма. Живет в Тринидаде-и-Тобаго.

*Мониза Алви**Сари*

Из маминого живота
я смотрела в иллюминатор
на мир снаружи, опалённый солнцем.

А они все смотрели вглубь, на меня —
Отец, Бабушка,
поварёнок, девчонка-горничная,
бычок с острыми
лопатками,
местные политики.

Моя английская бабушка
взяла телескоп —
разглядеть меня через континенты.

Все они развернули сари.
Тянулось оно от Лахора до Хайдарабада,
петляло в Аравийском море,
испещренное звёздами,
порхающее с воробьями и перепёлками;
расшили его дорогами,
вплели изгибы холмов.

А потом
меня обернули в сари
и тихо сказали: «Твоё тело — это твоя страна».

Перевод А. Строкиной

Я себя вижу точкой на полотне Миров

Я себя вижу точкой на полотне Миров.

Едва отличимой от прочих точек —
ну и пусть, зато на своём, на особом месте.
И оттуда тёмным своим нутром

я бы стала обзирать красоту линеажа
и прикидывать: может, стоит
скатиться к лимонной полоске

в самом центре, и боком неровным
прижаться к её кайме,
чтобы чаще меня замечали?

Но мне неплохо и тут.
Я никогда не узнаю, что происходит
вокруг. И это прекрасно.

Что до несовершенства формы —
так куда интереснее. На меня
можно смотреть часами,

даже самый бесстрастный придёт от меня в восторг.
Так что вот она я, хоть сейчас готова ожить.
Плод фантазии, танец, мечта,

детское приключение.
Ничему в этом буром небе
не сойтись и не разбежаться.

Перевод М. Фаликман

Слова, которые боялись рта

Одни слова лежали тихонько,
Им не хотелось, чтобы их будили.

Другим не сиделось на месте.
Они с нетерпением ждали начала драмы.

Слова, такие чувствительные, боялись рта —
Он был как рана поперёк лица, как дыра.

Её наполняли картошкой и пивом,
И слова, ещё бесформенные, часто терялись там.

Прочим везло ничуть не больше.
Им предстояло

Быть жестоко распятыми в воздухе.

Перевод В. Сергеевой

Свадьба

Я мечтала о тихой свадьбе,
в горах над заброшенным городом, —
чтоб нести её на голове

словно вязанку хвороста или кувшин с водой.
Церемония не имела ни вкуса,
ни цвета. Прибыли гости

крадучись, как контрабандисты.
Чемоданы открыли — наружу
хлынула Англия.

Они за фату хватались,
как нищий — за стёкла машины.
Я просила о скромном приданом:

мне бы тень, шёпот, улыбку,
дом — диковинную постройку
из бамбука и жёсткой дерюги.

Мы шли с женихом по дорогам
с английскими именами.
Цвет меняли наши глаза

словно огни светофора.
Нам не пришло ещё время
посмотреть друг на друга.

Мы глядели строго вперёд,
словно видеть могли сквозь горы,
жизнь вдыхать в города.

Я хотела со страной обвенчаться,
чтоб фатой мне стала река;
петь в садах Баг-э-джинна,

вёрткую мечту укротить
как заклинатель — змею.
Наши помыслы сонно дремали

словно буйволы в тёмной воде.
Мы повернулись лицом друг к другу —
взбурлила волна.

На ладонях — оттиски, словно карты.

Перевод С. Лихачевой

Рыба

Я завидовал снам, которые доставались моей жене.
Бывало, поймает видение и гордо положит его на кровать,

как переливчатую упитанную рыбу,
просит меня: «Распознай».

В редкие ночи везло и мне:
я собирался с духом,

погружал сети в иссиня-чёрные воды,
возвращался с уловом.

И две наши рыбины дерзко
впивались друг в друга ртами,

рыбы-души, неуклюжие,
голодные, жадно глотающие наши жизни,

словно хлебные крошки.
Неистово били хвостами

сливались в один общий сон,
и она пульсировала —

огромная рыба; и в брюхе её росли
наши жизни, радуясь и страдая.

Перевод А. Строкиной

Томас Кларк

*Из сборника «Сто тысяч пейзажей»
(поэтическая цепочка длиною в книгу)*

вот и снова
в первый раз
утро

на лугу кобыла
ветер со спины
развевает гриву
шею изогнула
и на горы смотрит

первоцвет
на островах
раскрылся
с рассветом
самый первый
на островах

стоять подобает
дольше всего у могил
отмеченных камнем
без надписи
втиснутым грубо
в лоно земли
на холме травяном
среди нив золотистых
в объятиях моря

брат, отец, друг
любящий супруг
и супруга тут
камни счёт ведут
дочери, зятя
мать и сыновья
линии родства
море, острова
камень и трава

то, что так обычно
но необходимо
доброту и солнце
и нужду в признании
ценят, если нет их

родники, колодцы
и плоды трудов
топи, вереск, дюны
сказки и напевы
дух гостеприимства
вековой обычай
чинность сельских сходов
где хранят порядок
джентри и священство

волны золотые
на ячменном поле
пленник наслаждений
на краю замрёт
времени не слыша

в сумраке закатном
ты сорви травинку
стисни между пальцев
и надувши щёки
протруби отчаянно
как подбитый зверь
чтоб ночные тени
вздрагнув, обернулись

будь ты моей
я бы обнял тебя
будь ты моей
я качал бы тебя на руках
будь ты моей
перенёс бы тебя
через изгородь
утру навстречу

Перевод А. Круглова

Дэвид Константайн

Старый городок

Старый городок, грязный старый городок,
Тридцать пять миль до моря.
Но оттуда к нам
Средь болот и полей курослепа ползли
Огромные корабли,
Вступая в большой канал
со свитой чаек. Скажу вам, братцы,
этим стоило полюбоваться!

Грязный старый городок.
В утреннем смоге тянулось робкое стадо
автобусов, и казалось, что их за собой ведёт
Господь, в своём форменном кителе
идуший неспешно вперёд.
А когда мы в восторге зимой
с рождественской пантомимы неслись домой,

вокруг фонарей сиял ореол дождя.
Шли корабли-исполины,
огромные как дома,
мимо кротких коров в полях.
И был там шлюз,
куда мы гоняли на великах,
а матросы, лодыри-весельчаки, распевая песни,
нам апельсинов сбрасывали чуток,
из тех, что везли на продажу в грязный старый городок.

А парочки возвращались домой
на верхней палубе автобуса номер девять
с воскресной прогулки
в колокольчиковых лесах.
И на каждой из остановок поток колокольчиков тёк,
как ручьи со склонов холмов,
в грязный старый городок.

Перевод М. Фаликман

На мосту

До самой черты он тяжело доплёлся, встал,
А из-за спины его лился рассвет золотой
И, скуку ночного дождя растворив, играл
Камней и деревьев сверкающей наготой

До боли в глазах. И здесь, у последней черты
Блеском разбужен, он видеть готов, как она
Мчится в объятия солнечной правоты,
Почти задевая его — так дорожка тесна

Вдоль ленты машин. Как славно, что он ощутит
К ней на секунду любовь, без надежд, без интриг,
За то, что красива, за то, что дано ей уйти,
Как только захочет... А после пойдёт, как привык,

На мост, где в жару и в дождь пьяницы вслед свистят
Девичам, что крутят педали, не оглядываясь назад.

Перевод А. Круглова

Совы

Проснулся, а совы кричат. Проснулся и помню:
всю бессонницу напролёт их слышал.
Кличут совы друг друга во мне. О, виденья,

настырные лощманы на мелководье сна
до этого берега — здесь предел,
кого не преjdeши¹. Вернитесь обратно

во тьму, и не появляйтесь,
пока я вползаю в сумятицу будней, пока я
корчусь в сверкающем шуме.

Лишь бы знать, что вы прячетесь там, в потёмках
души моей, и что там, мои кормчие,
голоса ваши кличут и отвечают.

Перевод Г. Курячего

* * *

Узнал — золотая рыбка умрёт к утру.
Нахмурился, пряча глаза, не ответил маме.
Вывел велосипед и стал нарезать по двору
Круги за кругами, круги за кругами.

¹ Иов 38:11

Что толку? И он вернулся с тем же назад,
В спальню поплёлся, где прятал запас шоколада,
Но как малышу обмануть материнский взгляд?
Окликнув, в лицо заглянула, ей больше не надо.

Нет и пяти, а сколько печали в душе!
Знает так много, а там и домыслить несложно
И все остальное. Легко не утешишь уже —
И слышал, и видел — усвоено непреложно:

Отмечены все, кто живёт, печатью одной —
Они умирают — все-все, и мудрец, и невежда,
Червяк и синица, и кошка, и жук водяной,
Великий и малый, мы все, и тщетна надежда.

Что делать? Разве что к сердцу родное прижать,
Когда прорывает плотину печальное море...
О рыбке рыдал он, и с мальчиком плакала мать,
Деля на двоих безутешное, страшное горе.

Перевод А. Круглова

Зеркало, окно

В час перед рассветом окно становится чёрным зеркалом,
В котором ничего не отражается — только я.
Лицом к лицу. Смотрим друг в друга. Тот, второй, знает не хуже меня,
Что творится у меня в голове
И на сердце. Он не жесток,
Он просто мне не может помочь. А я могу —
Я мог бы отвернуться и выпустить его
Из мира с той стороны окна, освободить.
Но нет, я вглядываюсь пристальнее. Он тоже. Ясное дело,
Мы не приносим друг другу радости.
И я надеюсь, что он исчезнет, когда прокричит петух —
Как бывало всегда — и за окном откроется мир:
Земля, море, небо, чьи-то шаги.
И я не увижу себя,
Радостно выглядывая из окна.

Перевод А. Строкиной

Шинейд Моррисси

Шостакович

Я тайне учился у ветра и его инструментов:
На Подольской играл для мамы —
Нота за нотой, без партитуры, а ветер мне вторил
В продуваемой насквозь квартире: постукивал тучной рукой по стеклу,
Стонал в печи, хлопал входную дверь —
Призрак в машине бетховенских «Двух прелюдий
На все мажорные тональности» — и твердил: они лгут.

Позже в пшеничном поле я слышал, как ветер слагает музыку
Из всего, к чему прикоснётся. Верхние ноты — лузга,
Капризные, нервные, шаткие, еле слышные;
А под ними — бьётся мелодия, мощная, странная,
Как будто зерно — это рангоуты или лес.

Во все свои гимны и хоралы
Я вписал тяжёлую поступь сапог из-за гор.

Перевод С. Лихачевой

Мигрень

И опять понеслось.
Вандалы роятся среди гобеленов,
оруруя острыми ножей. Чудесные виды —
белая шелуха сегодняшних облаков,
всполохи алых цветов
на пустыре —

внезапно обезображены —
пробиты ножами сзади;
россыпь мелких светящихся дыр
то тут, то там. Теперь они ширятся. Вскоре
пропорота даже трава,
иссечён можжевельник.

Мне отныне не разглядеть твоего лица.
Рукава мои распускаются,
тают оборки. Не видно конца
разрушениям. Словом, уцелеть не дано вам,
обезьянка под апельсиновым деревом,
растрёпанный соловей.

Перевод М. Фаликман

Прошлой зимой

Прошлой зимой всё было иначе,
а в эту — мороз не на шутку оскалил стальные зубы: в Белфасте
теперь холодней, чем в Москве. В полном затмении
китайский фонарик луны висит над солнцеворотом.
Прошлой зимой ходили мы нараспашку до самого ноября
и теряли перчатки, и не мёрзла герань,
и пузатая новая печка стояла нетопленной
целыми днями, но в лёгких и в горле у нас,
в каждой клеточке нежились, множились неубиваемые вирусы:
им было легко и вольготно,
той зимой. Наш сын заболел.
Ночами мы глаз не смыкали,
прислушивались к его дыханию. Совсем ослаб,
по утрам не вставал. Оглушённые грудным кашлем,
комнаты и коридоры будто замерли,
в них появилось что-то неизъяснимое —
как в день нашей свадьбы, когда из какофонии праздника
мы вернулись в мою тихую крошечную квартиру,
и внезапно смутились, оставшись наедине
среди цветов.

Перевод А. Строкиной

Кэтрин Симмондс

В церкви

Некогда, не до того.
Гул городской снаружи.
И книги, конечно,
книги.
Здесь, внутри, темно, ибо солнце
ускользнуло.
А дел в избытке.
Без меня несутся машины, летят себе мимо,
а дни, мои дни — установлено каждому место,
предназначение и цвет.
Мне пора.
Мне давно пора, я человек занятой.

А душа мне в ответ: *постой*.

Перевод М. Фаликман

Разговор с липой

Ноябрьский день. Внезапно — солнце,
и липа —
она одна видна из нашего окна —
вспыхивает, как лампочка, спрашивает:
Кто здесь живет? Что делает целыми днями?

Я здесь живу с ребенком, — отвечаю. — Мы читаем про храбрую мышку
(эта мышка пылесосит в собственной избушке, и у ее друзей —
слона и крокодила — тоже есть свои дома).
Я учу дочку произносить ее имя.

Липа внимает.
У нее нет дома, кроме улицы, и ее она ненадолго
венчает листвою.
А кто живет этажом ниже?

Там хозяйева дома,
это они установили здесь сигнализацию,
еще у них серебристая машина.
Деньги с нашего счета перелетают на их — незаметно, как во сне,
упархивают, как листья, и пока хозяйева спят,
они собираются в надежном месте.
Найти себе место — вот главное.

Липа разглядывает игрушечную гориллу,
разлегшуюся на диване.
У нее нет имени, — говорю, — и пускаюсь в размышления
о том, как все изменилось, и саженцы
вдоль дороги стали деревьями,
о том, что молодежь и те, кто постарше блуждают,
точно израильтяне, но найдется ли выход?
Нет у них Моисея, который бы провел их через море
кредитов и безденежья.
Ничего нет, кроме Твиттера, заполонившего их головы.
Твиттер? — спрашивает дерево.
Ладно, не важно.

Расскажи мне еще о соседях.
Они милые. Сгребают в кучи свои — наши листья.
(Точнее, — мои, — поправляет липа).
Их мусорные баки всегда в порядке.
Липа обдумывает, переваривает в полоске света, спрашивает:
Трудно любить людей?
Бывает... особенно, когда знаешь, что внутренне мы похожи.
Когда волнуемся или спешим, или же протекают ботинки.
Лучше быть бессловесным деревом,
о котором все известно заранее, и оно зла не делает,
и ему зла не чинят.

Но липа против романтики:
ветер разносит пепел — ее сухую верхушку
спилили и сожгли.

Мы сочувственно молчим.

Кучевые облака напомнили кадр из фильма:
безипотечная Мэри Поппинс летит по закатному небу,
парит над лондонским туманом, над трубами дымоходов,
ее воспитанники выросли, она летит к новым.
А если я заберусь на дерево и помашу ей?
Может, она спустится к нам?

В наше время ребенка можно растить в одиночку...
Кружки по выходным, развлечения — столько их, что все встало с ног на голову.
И пока вы вкалываете на работе,
голова за вашего ребенка
болит у кого-то другого.

Дерево согласно кивает ветками.
Дневные программы по телику не заменят живого общения
(исследования доказывают, что они хуже, чем наркотики).
Ты вот
точно умнее участников этих ток-шоу,
игра теней в твоих ветвях завораживает.
Заколдованное, милое мое дерево.

Липа смущенно шелестит листвою: настоящее английское дерево.

А как насчет общества? Ты когда-нибудь представляла себя в лесу, липа?
Слишком грязно там. А ты?
Пытаюсь представить и не могу. Длинная цепочка дней,
и как их все прожить?

А, может, и правда объединиться с кем-нибудь, липа?
Уехать куда-нибудь подальше от этой непосильной арендной платы,
от тебя, чересчур дорогая липа?
Туда, где дочка сможет резвиться, не привязанная к интернету,
где ее волосы спутаются от ветра и соломы?
Возможно.
Может, научиться красиво вязать?
Или купить моторную лодку?
Липа прячется в тень.

Ну что ты скажешь?
На наши нужды, долги, съемное жилье, наши банковские счета,
на то, что все наши проблемы кладут под сукно?
Эй, дерево!
Или ты всего лишь сырье для мебели? Будущая бумага?
Дрова для камина?
Живой символ достоинства и благородства?
Украшение наших кладбищ?

Отстань, — говорит дерево.
И, пожалуйста, не кричи.
Извини, липа.

Дрозд раскачивается на высокой ветке.
Еще немного — и запоет.

Перевод А. Строкиной

Опыт

О возлюбленном плачет вдова, милый друг,
Но с весной прорастает трава, милый друг.

Мы пришли, мы уйдём; всем отмерен свой срок,
Это вечный закон естества, милый друг.

Управляют верхи — голосует народ;
Quid pro quo — что ж, цена такова, милый друг.

Не торгуется Бог, и тем более в пост,
Бой с врагом — вот удел божества, милый друг.

Снова ест себя поедом в небе луна,
Но река обогнёт острова, милый друг.

Но страну разделить — не червя разорвать;
Да» и «нет» — это только слова, милый друг.

Канут наши желания камнем на дно,
Эхом всхлипнув не раз и не два, милый друг,

Не держись за утраты; вставай и иди —
Вот и всё. Эта мысль не нова, милый друг.

Перевод С. Лихачевой

Богоявления

Бог подкрадётся тигром,
Бог ароматом роз
Украдкой, втихомолку
Вам пощекочет нос.

Одним он — ключ от двери,
Другим он — телефон,
Иному дарит обруч,
Иному — лексикон.

Он по себе оставит
Как креозот, пятно,
Придёт как тот, чьих мыслей
Понять вам не дано.

Порой придёт он с солнцем,
Растапливая лёд.
Порой — с ударом в челюсть,
Порою — не придёт.

Перевод С. Лихачевой

Менна Элфин

Шёпоты

В этом мире человеческим быть
есть ли способ?
Вот вопрос вопросов.

Как пройти в тени мертвящей,
не отпрянув с криком,
в этом мире диком
сумрачной ступая чашей,

будто за стеной — ребёнок спящий,
всё отдать, его не разбудить.

Шёпот благословенья
в объятиях стен-утёсов,
милосердной любви основанье.

* * *

Шёпот-ропот,
древних стен стенанье —
старой речи вкус и цвет.
Сызмала знакомое «сибболет»:
наше «с» привычно на губах,
только «ш-ш!» — прошепчет страх, —
язык твой родной — для молчанья.

* * *

Прислушайся — ропот ветра
над полигоном для пушек
и вереска хриплый шорох.
Военный в форме парадной
нам рассказал в Майнидд Эппинт,
как разувался в Афганистане
из уваженья к туземцам — но прежде
двери ногою вышиб, —
в могильной тиши мы стояли
вдали от шептанья лозы виноградной.

* * *

Очень советую: всегда подмечайте, когда вы счастливы, и восклицайте, или говорите шёпотом, или даже про себя: «Ну разве это не чудесно?»

Курт Воннегут

Мы шепчем,
бурчим в дороге
непонятное
остальным.

Извиняемся,
если застали нас

бормочущими
под нос
монологи —

но как же приятно,
когда замечаем
подчас,

что кто-то на улице
или в машине
солидный, седой

живую беседу
ведёт сам с собой
и доволен —

и тот, и другой.

* * *

Безобидные шумы в сердце могут продол-
жаться в течение всей жизни и не требовать лечения.

Национальный институт сердца, лёгких и крови

Рокот и шум на сердце,
вечные перебои —
это судьба поэта.
Ту-тум — и проснётся голос,
песня в душе забьётся
ритмом сердечной боли.

Перевод А. Круглова

Саша Дагдейл

Сказочник

Детка, ты спи, а я тебе расскажу
Про сказочника, живущего по соседству.
Он встаёт до рассвета, купается в озёрке,
Где плещется рыба, и отправляется в путь.
Самодельная удочка у него в руке.
И окрестные женщины спешат на него взглянуть.

Равнодушных нет, даже рыхлая повариха
Заправляет за ухо рыжую прядь
И раскатывает тесто так тонко, что корж вот-вот
Порвётся. Бедняжка пытается не замечать,
Как он, впиваясь зубами в яблоко, топает мимо.
И склоняется над коржом, излучая нежность.

Даже знатные дамы — и те влюблены, не иначе,
В некрасивое это лицо и поджарый живот.
Он слегка не от мира сего, потому —
Он соткан из сказок своих, потому —
Он берёт их всех, а взамен отдаёт
Сказки, что делают их богаче.

Он опасен? Как знать. Он их отправляет летать —
Одиноких, грузных, замотанных, несуразных.
И они взлетают, и смотрят вниз, а внизу — река,
Отражающая не птиц и не рыб, а обычных женщин.
И они, спохватившись, падают, словно звёзды с неба, в кусты,
А мужа с изумлением смотрят на их исцарапанные бока.

Чем сразить его? Хочешь сразить — не верь.
Он наврёт с три короба, выстроит целый воздушный замок
и расскажет, что было дальше, а ты всё равно уходи.
Стены замка рухнут, и гнев забурлит у него в груди,
Он обидится, как дитя, и станет махать кулаками,
И вот ты уже спешишь его утешать.

Любить ли его? О да. И всё же я с ним не останусь.
Там, где сказки его клубятся, места не хватит двоим.
И рыбкой его не стану, и не стану ловить вместе с ним
Золотую рыбку — создание для исполнения его желаний,
Золотое его желание — отдохнуть от этих созданий.
И потом, у меня дела: я сама сочиняю сказки.

Перевод М. Фаликман

Красный дом

Красный дом — вне прихода, где правит дух.
На деревьях иней, качели на сером дворе, ветерок лениво
перебирает ветви под легким снегом. И день за днем
за красным домом автобус собирает своих пассажиров.
Уехать или остаться? И не спросишь у Господа, ибо
это попросту не про нас. Но, быть может, тот белый круг
в небесах — дыра от престола господня? И сколько теней
болезных глядят вверх, бесцельными ружьями целя,
пуская бесцельно снаряды, и любой из них может попасть.
И осколок блестящей пули угодит в это зимнее солнце
и вдрызг разнесёт. И завтра будет кровь закат
день напролёт. Красный дом, красный дом, прости нам эти грехи.
Ибо разве не благословенны вдвойне¹ мы, выдавшие и не такое,
И тебя познавшие, красный дом?

¹ Цитата из пьесы У. Шекспира «Венецианский купец»:

Не действует по принуждению милость;
Как тёплый дождь, она спадает с неба
На землю и вдвойне благословенна:
Тем, кто даёт и кто берёт ее.
(пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник)

* * *

На чердаке и карнизах красного дома царят скворцы.
Птенцы глядят и галдят, заполняя комнаты гвалтом,
весь этот тошный день. Поди поработай. Но был же,
был он, век золотой. Подобно дождю золотому,
он приходит всегда. И чем дальше, тем слаще полощет любимое тело,
порождая свинцовые времена и свинцовые реки¹. И вот
безумец орёт из окна, клянёт покойных соседей,
до него уже и скворцам нет никакого дела,
но слышатся в птичьих криках теперь то страданье, то скорбь,
что давно уже стали предметом гиперинфляции
и упали в смертной цене. Красный дом, почему ты всегда
в городе, у автотрассы или железки, но не в горах
и не у моря? Он здесь, твой обыденный, гниlostный твой
запах — не так ли всё человечество пахнет.

* * *

Вот из красного дома выходит женщина, на руках у неё дитя.
Мать ей махнёт из окна, и такси унесёт их прочь.
Внучка и дочь — где-то они теперь?
А дочери красный дом является ночью во сне.
Разверстые пасти почтовых ящиков, запах курева и мочи.
Вонь облегает уютно, как детский чепчик.
Парой пролётов выше она различает свои шаги,
На лестничной клетке тихонько зудит оса.
А мать стоит с гантелями в кухне. Туда и сюда
бёдрами поводя, туда и сюда поводя глазами,
думает: вот бы чугун не гантелей, а колоколов
возвестил перезвоном о том, что её терзает.
Ибо среди неустанных своих материнских трудов
она и представить себе не могла такой тишины.

* * *

А один чудака притащил в красный дом медведя.
Из зоопарка, ещё медвежонка, в наморднике, на поводке.
Когда он играл, детей не пускали во двор. А жилец курил
И дёргал за повод, туша каблуком окурки.
А мишка выуживал из-под скамьи обёртки и прочий мусор.
Его привезли в подарок — хозяин, в душе романтик,
Думал, его любимая растает при виде мишки,
В дом понесёт молоко и сласти, тепло и ласку,
Но она его не впустила, и он на лестничной клетке
Спал в обнимку с медведем, учил его танцевать
на задних лапах нескладное бесконечное ча-ча-ча.
По лестнице клацали когти. Пролёт рокотал. На третий
день мишутку забрали. Он пошёл легко. Но хозяин
выбросился из окна, да так и остался калекой.

¹ Ср. А. Ахматова, «Лондонцам»:

Двадцать четвёртую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники чумного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой.

* * *

Двери в квартиру запрёшь — весь мир остаётся снаружи.
Однажды за девушкой в красный дом скользнул человек.
Вытащил чёрный нож и показал: давай, мол.
Другая бы, может, и согласилась, но не она.
Она обстоятельно думает о нависшей над ней угрозе,
Представляет, как нож надавит на кожу, как кожа поддастся.
Решает: в обычной жизни им никогда бы не стать друзьями —
ей и ему. И только потом начинает молить, и кричать, и шептать
«ну, пожалуйста» — входит в роль, отведённую ей остриём ножа.
А взгляд неожиданно падает на кованые перила.
Кто ещё мог наваять этих жёстких излишеств, как не мужчина.
А другой такой же приделал сюда, и о них позабыли вплоть
до этого вечера, когда её мучит вопрос: «зачем здесь лоза, и серпы, и снопы?»
Малышка, он ей говорит, сил моих больше нет. Уходи. Прошу, уходи.

* * *

А вот ещё одна комната в красном доме:
кавардак, какие-то тряпки, газеты, а в зеркале вечер.
Когда никого нет дома, она заходит с корзиной яблок
и садится на край кровати, в зеркале отразившись.
В комнате дух застарелый. Как давно это всё покупали
усталые, обездоленные владельцы фруктовых ножей
и щипцов для сахара, кто бы вспомнил, откуда всё это взялось —
кроме жёстких яблочек, упавших недалеко
от яблони. Так она убегает от детства, ища приют
в красном доме, который дышит историческим потом
и нематыми волосами давнишних своих жильцов,
что сбросили старую кожу отчаянных тех времён
и оставили на подушках,
свернув, как пижаму.

* * *

Мне бы без красного дома жилось распрекрасно.
Но меня туда тянет, будто бы вглубь колодца.
Когда я вне красного дома, я вне себя.
Но когда я внутри, то меня как будто и нет.
А его ни рука не разрушит, ни бомба,
Ни письменное оскорбление, ни шантаж.
Из осиною слюны он соткан и мыслей осиных,
Но держится крепко, как сапоги на свинцовых подошвах.
Я никак его не найду, да и стоит ли продолжать.
Между нами, должно быть, несколько сотен лет,
Он меня манит, ловушка для человек,
Он меня гонит, пугая комнатами пустыми.
Красный дом — внутри: я слышу, как он шумит.
Красный дом — вне прихода, где правит дух.

Перевод М. Фаликман

Гелий Ковалевич

Рассказы

«Каждому свое» — так назвал Гелий Ковалевич свою книгу. Поистине — так.

Без малого шестьдесят лет работает писатель в литературе, работает по сей день, и порой ему сопутствует редкостная удача. Это не только мое мнение — самые лестные высказывания о прозе Ковалевича я слышал от признанных мастеров нашего цеха. А «золотое перо» «Комсомолки» и «Известий» лучшей поры Т. Степанов с восторженным недоумением допытывался, прочитав подборку рассказов в «Дружбе народов»: «Кто это?! Я думал, у нас разучились так писать!..» (Мы в «ДН» тоже кое-что смыслим: подборка, удивившая чуткого читателя, была отмечена премией журнала за 1998 г.) Мне не составит труда припомнить десяток превосходных рассказов писателя, почему бы не сказать — шедевров. Но лучше предоставить слово автору.

Ему минуло 85, и годы не могли не сказаться на писательском почерке. Но он по-прежнему воспроизводит в слове то, на что откликается ранимая душа, что фиксирует чуткая фотопленка его художественного сознания.

Чтобы полней представить своеобразие этого дарования, «хрупкого, как пыльца на крыльях бабочки», я настоял на включении в подборку давнего рассказа «Стакан молока», — удивительно печальной и нежной истории, подлинной жемчужины, достойной антологии русского рассказа.

Александр ЭБАНОИДЗЕ

Стакан молока

Ей напекло голову, весь день она пробыла на жаре, намучило ее, и пока шла полем, туго повязав черный платок, все чудилась земляная сушь.

А на лесной дороге вспомнила речную свежесть, услышала запах рано отцветшей сурепки, мягкий тлен травы — тот особенный, невнятный в полдень и явственный, теплый от нагретой земли запах с лугов, который под вечер ненадолго берет силу, и оглянулась, и не узнала за слезами дорогих мест...

Уже и селцо Поречье затерялось вдали, затерялась, пропала из глаз и мелкая, вровень с травой речка. Только церковка все виднелась — розовела на взгорке. Недвижно стояли над ней облака с лиловыми и красными донцами.

Дорога ложилась двадцативерстная, неблизкая — за леса, что из лесов выходили, за поля. Женщине нужно было к ночи поспеть на поезд, и она знала, что нынче только-только и одолеть дорогу...

Третий год она ездила сюда к мужу.

Когда пришла похоронка, она поехала, нашла могилу и просидела возле нее с тупым сердцем. Горе в ней переболело. Лишь раз она зашлась в немом крике: стала прощаться — и сделалось так одиноко, так ударило ее, что, вспоминая потом этот день, видела все как в темном сне.

На второй год поехала уж совсем просто — по обычаю, который велел ехать ей, русскому человеку.

Потом не ездила целых два года.

И вот сызнова что-то вдруг накатило. Дочке с осени в школу, сама она работала на заводе, зарабатывала на двоих, жить в ее вовсе не старые годы как еще было можно. А ему было плохо. Ему плохо, стала она думать. И беспокоилась, что он ждет, а она не едет, не едет!

На станции дождалась утра и, когда миновала знакомый березнячок, когда потянулась дорога ржаными полями и лесом, и день поднялся, увидела: хорошо идти. Добралась она до Поречья к обеду — не то что в первый раз. Но вышла на предполье к селу — и сердце запекло, ну вот-вот умрет...

Кладбище было давнишнее и, верно, заброшено. Из-за высоких осокорей доносилась из церквушки работа токарных станков, она по звуку догадалась. Да, конечно, тут либо какие мастерские, либо МТС теперь... А сирень разрослась, но давно отцвела. Было много ромашек, они белели повсюду.

За два года, что она не была, холмик затравел. Дошечку со звездой дочиста омыло и повалило, она покрепче приладила ее и задумалась. «Это он, значит, зовет меня, — думала она, горюнясь, как старуха. — Жить мне не дает...» Раскрыла голову и сидела, глядя в траву, и делалось жалко себя. Но эта жалость была какой-то далекой... Женщина знала другую, когда одиноко и все больно. Он же любил ее и ждал, муж. Он чувствовал, когда она рядом с ним... И никак не могла поверить в свое горе, с ним согласиться.

Она не могла жить по-другому, пока он был где-то. Что он был, существовал — судила по себе: как же могла она жить для неживого! Он был в ее памяти, а помнила она чувством, и не надо было слов для этого чувства или вспоминать какой-нибудь прежний вечер, какой-нибудь прежний день, счастливые, как говорят люди... Дочурка наша подрастает, думала она вслух — для него. Нам ничего, ты не думай. Ты только знай.

Сказать нужно было обо всем мужу, словно он жив, ее солдат, только ранен и не скоро встанет... А могила — что ж, что могила! Ей показали, она дошечку с именем-фамилией приладила. Как же иначе?

Где-то собирался понемногу дождь, мглоило. Она чувствовала яркость и тишину дня. И в закрытых глазах у нее стоял несущий успокоение свет.

...Гроза застала ее в поле при сумерках, вблизи какой-то деревни. Плохо! — испугалась женщина. Она вошла в шумевшую рожь, ее закачало, как в дурноте.

Деревенька лежала за мелким овражком, улица в траве, и дом крайний был заколочен. Она постучалась напротив. А подождав, толкнула дверь в сени.

Погромыхивало, будто непрочным железом. Прощелкало по уличной траве, по крыше, и сорвался тугой ливневый гул. И черно стало в сенях.

Подхрамывающие шаги раздалились со двора. Кто-то перед порогом обил сапог о сапог, а войдя, чередом омыл их, выставляя ноги под дождь, — видно, хозяин.

— Здравствуйте, — сказала женщина.

— Здоров-здоров, — скороговоркой отозвался человек. Он затворил легкую дверь и придернул плотней. — В избу идемте. Это кто тут?

Женщина заторопилась рассказать, что прохожая, к мужу ходила, да вот непогода и сил дальше нет...

— А ночуй! — равнодушно сказал хозяин и ушел в глубь избы.

Она вошла следом и опустилась на лавку под хозяйской будней одеждой, навешенной на гвозде в углу. Осторожно устроила голову на этой одежде и закрыла глаза.

Плотники, сидевшие под мостом в солдатских гимнастерках, ей привиделись: полуразобранный мост она переходила за селом под вечер... «Хотя бы он приснился когда!» — с покорной страстью пожелала она о муже, переносясь из своего забытья в мир шепотов, стонов, полыханий, которыми взрывались окна. Заплакал ребенок на просонье. Сиплый его голосок сплетался с мужским бормотанием. Милый, теплый ребячий лепет она долго слышала за дождем...

Хозяин появился в дверях — показалось ей, среди ночи. Не зажигая огня, постелил на лавке и присел рядом.

— Муж — что, служит тут где? — спросил он.

— Да в войну погиб! Я на могилу к нему ходила. В Поречье.

— А-а! — сказал он, смешавшись. — Значит, такое дело...

Женщина замкнуто ждала: чего еще спросит. Большой, долгий, ушел день, и погасло в ней утомившееся сердце.

Молча они просидели, покуда, затревожась, не спросила женщина: один он, что ли, с ребенком? Ей легко было об этом спросить, она сама была одна.

— Рожать уехала! А мы тут вдвоем, — кивнул он на дверь в комнату, — с дочкой. Ну, вы молочка хоть с дороги... С мужем вашим вроде вместе воевали... И я в этой местности последний раз был тяжело раненный.

Пока он, хромя, приносил махотку из сеней, добывал стакан, он рассказывал о себе. Хмарь ненастья отступила от окон, зарницы светили. Женщина выпила нахолодавшего молока и, слушая, смотрела перед собой, по привычке сутулясь уже и под чужою бедой. Из местных его подобрала, говорил хозяин, искалеченного, слепого потом по госпиталям разыскала, к себе привезла... Стало быть, так тому суждено... Слепой и старый — что малый! Видеть начал, да, правда, в четверть прежнего...

Он тоже выпил молока, обеими руками держа стакан. Нежадное, детское было в том, как он пил с передышками. Уже она смотрела, не отрываясь, на чужого этого, тихого человека, на руки его, не по-мужски державшие стакан с молоком: она вспомнила такую же мужнюю привычку, и ей стало страшно, она пальцами зажала рот, чтоб не закричать.

Женщина проснулась под утро. Легкое облачко сна еще застило ей сознание, но она знала, где она, и надежда, счастье, соединенные с ужасом обмана и будто бы исходившие от прикосновений рук мужа, остановили в ней жизнь.

Она поняла тотчас, что вовсе не спала. Не спала, потому что в каком же это сне может присниться — мужние руки, их робость, их сладость?..

Она сидела на лавке. В избе было тихо, было перед рассветом.

Господи, так не бывает, покачала она головой, не бывает, чтоб не узнать живым людям, жене и мужу, друг друга. Проходит время, горе проходит, прошлое забывается. Да не всякое.

И опять находил на нее страх, опять она боялась, что закричит, позовет...

Женщина вспоминала потом эту ночь, точно пригрезившуюся. Нет, ничего не было, быть не могло! Пригрезилось.

Но она стала суеверно бояться гроз, ждала их и делалась сама не своя.

А грозы были тогда весь июль. По полудню смеркалось, заходила плоская туча, начинали сорить листвою деревья. И ливни опускались такой шальной силы, что казалось странным в их потоке снование молний.

1969

Возвращение Климука

Когда-нибудь она должна была появиться — «бабенка на время». Как и какого обличья? Тут воображению моего приятеля подыгрывала жиденькая струна, и варианты целомудренно воспитанный Климук прокручивал серые. Да и возраст не на уличные знакомства.

А началась кабала с зимы.

Кто-то из художников отказался от издательского заказа, не выдержал — порнушная работенка. И Климуку трезво бы рассудить: один дал отбой, взамен тебя всунули, без магарычeveго коньяка обошлось, стоп, что-то не так! Контора частная, какого-то заезжего хохла, с призрачной ответственностью. Пузырь. Климук же кривился: «Того чистоплюя еще не клюнула курочка в мягкое место!» Не на его, Климука, худредской зарплате.

Задачу новичку поставили четкую: книженцию чтоб рвали из рук, чтоб товарный видик (на обложке голая девка со всей атрибутикой) вызывал отделение слюны. Такой вот собачий рефлекс! Требовался не только броский марафет (это само собой). «Наличие отсутствия» требовалось... разборчивости — в первую голову. Сучья мораль перла вовсю, и небушко общественное здорово подрасчистилось. Синева — прямо черная, как со дна колодезя!

«Проба пера» не далась Климуку и чрез силу. Зализанные, точно с лупой прополз, старенькие акварельки со среднерусской природой оказались не к делу. И никакого договора. Не выдали и «текстевича»: на хрена тебе, копай, мужик, из личного опыта!

А где его взять?

Как-то, еще зимой, я позвонил и заехал. Купил и водочки по пути.

Ситуация у Климука складывалась кризисная: неудача — и все, в яме. Понимал ли он риск?

Встретил Климук настороженно: сняв цепочку, поводил носом и утопал. Байковая какая-то кофта, булавка у горла, волосы под сеткой. Постоять в прихожей, ну ты, мол, как, что и прочее? — у него не в обычае.

Я сидел, ждал, когда оторвется от своих кисточек. Что-то мазал, сжимая коленки, супился, копался в вырезках из рекламных изданий... Пожуживала муха над столом. Золотенькое, с изумрудцами, брюшко сыто лоснилось. Облетала Климука и, казалось, подглядывала. Хозяин убеждал, что с осени держит на довольствии, приучил и испражняться в отведенном месте.

От дармовой выпивки, за шахматами, Климук не отказался. И конечно, он как всегда белыми. Взабдривали себя помаленьку... Я намеренно делал неосторожные ходы. Он нервничал, в каждом подозревал ловушку. А я, разумеется, свое поражение. О чем прямо и говорил. Климук отмахивался:

— Не морочь мне голову.

Одна из черт Климука — вкрадчивость. Довольно жестковатая. Вообразив ее, скажем, в виде математического двучлена, общую величину получим непостоянной. Много разных степеней. Целая шкала!

Выпить за игрой — милое дело. Но с Климуком... Он в рамках, покамест не продует. Или что-нибудь ненароком не заденет в разговоре. С двучленом начинается ломка, дойдет вкрадчивыми намеками: словно ты удумал обвести его вокруг пальца (к примеру, просишь в долг, в то время как у самого в записке... сейчас он проверит твой кошелек!).

Я благоразумно отдал две партии кряду. Климук доволен: я слабак. Снисходительно похотывая, страшает: моей службе — кранты. Провидец! Такая, дескать, картина: на месте учреждения кучка мусора, рядом осина со спиленной верхушкой — повеситься... Пускается на шепотке и в откровения: «Только между нами... Позарез нужна женщина!» На необременительных условиях и временно. Не смог бы я все устроить? Понимаю: эти его вождельные подглядывания точно в замочную скважину... почти осязания. Спяну Климук выкладывает с вкрадчивой доверительностью: на отходе ко сну свирепо стягивает под животом... А мужик габаритный, тяжелый, медленный. Щекастое лицо, голова кубом на мясистых плечах. Все одно к одному — как бревна в срубе.

Иногда он выбирался из дому, куда-нибудь ехал. В людных переходах метро с огромных фото лыбились девки, свисали обнаженные груди... Климук отворачивался в смятении, в висках бухало. Потом брел под зимним дождем... С зонтами впереди телепали на каблучках молоденькие модницы. Задействованный неопределенным побуждением, пристраивался, семенил рядышком, как в связке. Все же обходил, этак впритирочку, с сосредоточенным лицом, даже излишне сосредоточенным, потому что в такой сосредоточенности глаза становились как бы выпученными: теряли всякое выражение. За спиной верещали: «От него дождешься!» — «Ты ему скажи, что за п... надо платить!»

В одну из таких прогулок наткнулся на молчаливую мужскую очередь — в винный стояли. И так захотелось выкушать! Недлинная показалась. Климук очень скоро ее миновал. И притормозил. Хвост замыкали двое расхристанных работяг. Эту публику Климук избегал по возможности и дождался пожилого гражданина с портфелем.

Мало-помалу продвигались. А по мере приближения дверной щели то отпачивало, то подавало рывками. Уж и рукой было дотянуться до входа, когда заюлили впереди крысиные морды. При каждом запуске кидались на приступ, в давку, в свалку!.. Помятый, утираясь рукавом, Климук вытолкался на воздух с дефицитом за восемьсот рэ, все только его и хватали. Под рукавом трещала щетина. Климук перебежал улицу, водил носом и наверняка видел, скашивая глаза, что и нос в щетине, смешно...

В холостяцкую свою конуру, бывало, входил, что в хоромы — не окна, а узорочье мозаичное: немые стекла отдавали в бутылочную зелень. И Климук погружался в покой и беззвучие, как иудей по субботам.

А в то скверное ненастье бушевала гроза под стенами дома, аж клочья пены стекали по окнам — вот какие дела! Из откупоренной бутылки погребом давило. В мокром от пота галстук, стоймя, раскрутить бы посудину Климуку и ополовинить. Он же, рюмочками цедя плебейский дефицит, принялся расслабленно вспоминать бедное впечатлениями детство, коммуналку, где с утра до вечера грохотали многочисленные примуса, да родительский сундук, с которого малолетним пузаном сползал и, затыкая уши, на толстеньких ножках убегал в конец коридора... Выходило, что примуса и сундук — моменты Истории. А главное всех примуса! Примуса и керосиновая лавка, куда водила мама. Волосатая рука с хлюпаньем выхватывала черпак, торчавший из железного чана,

сливала в узкогорлую бутылку... нутро кухонного агрегата дома наполняли по самую пробку, накачивали чадного воздуха, и от спички со свистящим громом взвихривалось рыжее пламя, Климук трепетал. Он не был любитель шумов, откуда бы ни исходили. И сам старался не производить.

Задувало в форточку февральскую сырость. Соловевшему Климуку чудилось: призраки пошаливают за окном, струятся по ветру их седые волосы.

Под утро снились примуса широкобедрые, а он, все тот же пузан на сундуке, в общении с чем-то женским. Но общение, признавался, замутнено, выражалось в слиянии противоположных чувств — счастья и нараставшей тоски...

Однажды заявил: у него сильнейшая энергетика, и когда подсознание берет верх, то позыв к обладанию перетекает в творческий акт. Скажем, женский манекен в витрине — почему бы не вообразить его живехоньким в своей власти? Впрочем, это вне обывательского (моего, стало быть) понимания. О Фрейде я наверняка слыхом не слыхал.

Задним числом доходит: людей, жизнь, вообще мир Климук воспринимал больше «по делу». И как-то по-птичьи: выключить зернышко. Все у него дробно, изменчиво. Целостным мир выглядел разве что в детстве. И тоже очень недолго. В лютую предвоенную зиму Климук захворал. И помер бы на крышке семейного сундука, придавленный одеялами. В больнице же кое-как ожил... наблюдая за белокуреньким мальчиком лет тринадцати, как одаривает соседей виноградинкой ли, огрызком ли яблока: прежде обслюнявит и подержит у себя под простыней. Так еще ребенком Климук усек роль компенсаций. Правда, на уровне интуиции, умишки не доставало. Позднее добрался до истины: белокуренький, неясно мучимый созреванием, и удовлетворялся гнусенько, пользуясь преимуществом в харчах.

Через какое оконце Климук заглядывал в людской мир, отыскивая в нем местечко себе? Оно оказалось мало похоже на угол за сундуком. И все же похоже!

Бедное впечатлениями... Было, пожалуй, одно — и то не из ряда вон.

С охапкой подобранных прутиков, рассказывал, взобрался на свой этаж, в разбитое лестничное окно снежок повеивал (декабрь сорок первого, надо полагать), отомкнул дверь, сел на пол, чиркнул спичкой... а над печуркой щерился маленький старичок в ушанке, в руке огонек...

Шестилетний пацан не узнал себя в зеркале и перепугался до смерти!

В лавочке Климук пришелся-таки ко двору, лед тронулся. Поплыли заказцы однотиповые. Климук худо-бедно одолевал их в полном затворе.

А перед весной состоялось знакомство с предметом волнений... хотя к тому времени поостыл, перевалив пик.

В автобусе навалились при толчке друг на друга, обменялись извинениями. Вместе сошли... Обнаружилось, что соседи, дома рядом. Галантный Климук донес даме сумку с картофелем до самой квартиры. Пригласила зайти...

За чаем узнал, что медсестра при военном госпитале. Разведенка. С виду за сорок. Лицо грубовато, волосы явно крашенные. А запястья плоские, широкие...

Тем не менее Климук был взволнован.

А вскоре призадумался. Что по соседству — плюс. С другой стороны и минус: мало ли какие обстоятельства-последствия возникнут! Простовата? Это на беглый взгляд. Климук анализировал, сопоставлял и итог подбил неопределенный. Не тянет ли незавершенную связь? А если шантажистка? Один из его знакомых еле отбил от такой.

Бежали к концу майские дни, допевали парковые соловьи, отцветала сирень в скверах. Ах, сирень, ах, соловьи! Они, думается, и доконали Климука.

И тот решился. И пошел на сестру милосердия.

Обернулось же конфузом...

По какой причине, в чем соль? Не сложилось? Этим бы все сказать и похерить, если б не обмолвочка Климука про конфуз.

Явился с тортом в руках. Допустим, дверь отворил гражданин в майке, тапки на босу ногу. «Кого надо?»

Нет, отпадает: не было бы у Климука и первой чайной посиделки. Скорее всего, самое застал. Не удивилась, потому что ждала.

Сызнава пили чай. Климук отщипывал ложечкой от принесенного торта, за окном шелкали соловьи... Перекочевав на кушетку, Климук привалился спиной и смежил глаза, начаевничавшись. Климуку было хорошо. Хозяйка вдоволь на него насмотрелась. Потом стянула с себя колготки, высоко поднимая согнутые колени, вынула из ящика комода сорочку, трусики.

— А я сполоснусь. Поспи. Еще чайку попей...

— Чего?.. Как? — очнулся Климук.

Пробираясь к выходу, заглянул в одну из приотворенных дверей. Голая, хозяйка стояла в ванне, в которую била струя из крана, наклонялась... В отсвете кафеля белели бедра и полные ноги.

Климук выпихнулся на лестничную площадку в совершеннейшем потрясении.

Надо заметить, лет до двадцати пяти вообще не думал о женщинах, не питая к ним интереса. А тут, возможно, зародились в нем благородные помыслы. И, помозговав, решил не торопить события.

Однако раздеться при госте и, пока тот балуется чайком, залезть в ванну, дверь не прикрыв!

Да, но и вздремнуть в присутствии дамы...

Наверное, его знакомая долго недоумевала, вспоминая полусонного мужика, притащившегося неизвестно для чего.

Между тем кормушку Климука лихорадило. Вдруг выперли со всем барахлом и шлопутным штатом... Отсиживались при гостинице, при каком-нибудь умирающем НИИ на долговой аренде. Прилепившийся Климук старался быть на глазах. На чемоданных обустройствах эдак даже распорядительно. Но со мной у него одно: не морочь голову! Боялся негладных соперников, разболтаю? Видать, имел кой-какой ломоть и дорожил...

Месяца два спустя сталкиваюсь с Климуком на улице (случайная встреча, людный центр, жара после слякотных холодов). «Привет! Как жизнь молодая?» Молчит. Куда-то за спину ведет носом. Вижу, не ко времени встреча. «Спешишь?» — «Ну, спешу». Ладно, не предлагаю где-нибудь посидеть, а всего лишь пивка. Усмехнулся подозрительно:

— Разбогател?

Пил Климук остороженькими глоточками. Подержит во рту, пожует и сглотнет брезгливо.

— Ну, а она — что? Медичка.

Само соскочило с языка.

Вот уж чего не ожидал: весь затрясся!

— Тебе дело к ней? Гульнуть с этой... у-у! захотелось? Адресочек дать? В зачет твоего пивка.

И с такой ненавистью!

Гм, перемена в Климуке.

Позвонил ему — раз, другой... Зудит в трубку, намекает на что-то (на что — не понять) и срывается на крик: дескать, у меня и жена (никак не разойдемся), и сын вырос (убежден, что лоботряс!), и работенка не бей лежачего (что он знает о ней?)... не выгнали, а еще копейку пристегнули, не иначе возле начальства терся-канючил, чтоб с бабами на стороне было бы на что...

Получалось, всем этим я ему личное оскорбление нанес! И мне вроде морального счета. Я недоумевал, пожалуй, не меньше, чем та медсестра.

Неладное с мужиком. Не из той бутылки хлебнул? Сбой какой-то... Но сбой сбоем (причины и поводы всегда под рукой), но мне-то за что влетело? Уж не с чьего-то подлого поклепа? (И этого хватает.)

Климук я знал с детства. Сказать, что его и мое проходили по-разному — уже кое-что. Мое — во дворе, беготня, игры, драки... Редкие соприкосновения с Климуким лишь на время выводили его из-под опеки мамы и бабушки (отец ушел из семьи): двор не принял, отторг. Впрочем, отторжение было взаимно. Флегматичный Климук вполне довольствовался моим ненавязчивым общением. Оно ему не докучало. А мне — его. Да и бабуля не всегда впускала: «Мальчик занимается!» То есть бренчал на соседском пианино (дальше гаммы, правда, не двинулось) или выжигал на фанерке «Трех богатырей» с открытки. Так бы и шло, наверно, кабы не случай, всполошивший весь дом: погнался на улице за каким-то обидчиком. С булыжником! Пена изо рта... Догони — убил бы!

Куда как давнее, а вспомнился мне булыжник.

Неделя-другая — снова звоню: не терзаться же попусту. (Тоже потихоньку завелся: что за нелепости? Да и в сущности, какого черта мне в Климуке?)

— Эй, какая муха тебя куснула?

И — все то же! Тот же булыжник...

Я ломал голову: зависть? Нет, эта простота не к Климuku. Что-то сложнее... А если действительно зависть, то с дурноватым привкусом. Верно, давно таил неприязнь. Не виделась много лет (так сложилось), а она холодила ему душу. Однажды расфилософствовался, положив меня в шахматной партии на обе лопатки: человеческая особь — тьфу! Большинству слабаков нехитрый ординар «от» и «до», коротенькое проживание — и к ногтю. А он — не слабак!

Я тогда зря мимо ушей. По Климuku, я — как все. Он же тонуть не тонул, да всегда на отщепе. Ведь чем-то завистливая неприязнь питалась! Два года назад отыскал меня, позвонил: помню ли я его, Климuku, друга детства?.. Чего-нибудь просто так он сроду не делал. Не хотелось бы думать, что и других «друзей детства» обзванивал. На предмет какого-то самоутешения, что ли. Но я больше подошел: и ближе был ему, и сейчас, выяснилось, жили друг от друга за несколько остановок метро... Я как бы олицетворял это притягательное для него и ненавистное «как все».

Случилось сызнова побывать мимоездом в его «краях»: перерыто, застрое-но, где-то и серенькая пятиэтажка Климuku в охвате железобетонного вала... если еще стоит. Шесть-семь лет по нынешним временам это срок.

Ни звоночка за все годы. Может, попросту вымел меня Климук из памяти.

Накануне улицы первым снежком завьюжило, а нынче солнце, к полудню тротуары и деревья просохли, из-под снега газонная трава мокрехонькая... Кабы не она да не облетевшая листва — апрель, месяц лукавый. И загорелся сам позвонить.

Представил себе: грузно шаркает к телефону, настороженно сопит, соображая, кому понадобится.

— Как жизнь?

— Кто это? А-а...

— Повидаемся?

Молчит, прокручивает в голове «за» и «против».

— Что ж. Почему бы и нет?

— Тогда завожу моего мустанга и выезжаю.

— Свой автомобиль?

— Обуза, конечно...

Недоверчивое «хм». Но, похоже, зауважал.

— Здоровье-то как?

— Не надейся, не при смерти.

Само собой, не пешочком от метро: три автобусных остановки. И покружил, покуда добрался до глухого проулка меж старых корпусов и стройкой к пятиэтажке климуковой за рядком тополей. Точно в обхват взяли высотки да еще тот самый вал позади отсек от улицы.

Сидим, поглядываем друг на друга и «сухаря» потягиваем, люди в годах. Не водочку, как встарь.

Эх, годы, годы...

Разговор скудненький — не молодость же дворовую вспоминать! А вот про поход на медсестру (был веселый такой эпизод в климуковой биографии) так и просилось. Посмеялись бы... Нет, вижу, не до смеха моему Климуку, не до амуров. Иные заботы: кухня, стирка и прочее то да се.

— Что ж, и интересов никаких?

— Интере-есы! — брезгливо, с раздражением. — Дом вскоре на снос! Как, куда одинокому?

— Друзей-приятелей нет?

Сейчас, подумалось, скажет: «Не морочь мне голову». И — точно!

Из общения с Климуком, на диване возлежавшем (и было сумеречно, ни краешка неба в пыльном окне), вынес я впечатление не то чтобы житейской порухи... а что неизвестность, страх едят его поездом. Еще пацаном превратился в старичка, с фитильком в руке сел на пол, и душа в нем остановилась... Давно докарабкался до дивана, а все тот же: настороженное мурлишко и муть во взоре.

Лопнула ли его контора или, устояв, поглотила кого послабей, я не спросил. Да один итог: вот тебе четыре стены, диван — и полеживай. Где было угнаться за молодой шустрой сворой! Климуку и полеживал.

А там и там, в местах людных, прослышал, бывшие поделщики толклись со своим рукоеслом на продажу. Климуку с чем? Ни закатов с ветряной мельницей, ни прудика с лебедями. А такое и шло. На рынке же дремал за прилавком приметный бородач: скупал антикварный хлам. Климуку снес ему повыцветшие акварельки. И было духом воспрял — не с грошовой выручки на пакетик молочка и кило картошки, на которых просидеть день-другой. Затлел! Только с какого прибыльного боку к делу подойти? Затлел и погас...

И вот бормочет о какой-то полоумной старухе невнятицу: со студенческих лет домогается (да неужто?), явилась как ниоткуда и опекает «по велению свыше»...

Под вечер ждет условленного звонка. И мается, не знает, как быть на этот раз со старухой. Не разделяет его убеждения, что возрождение нации — в реванше. В каком — видно будет.

Когда-то к дому Климука с улицы напрямик вела натопанная тропа. Теперь придавило бетонной стеной. Сквозь мутное окно Климуку представляется муравьиная цепочка стариков и старух, карабкаются по стене над ушедшей в землю тропинкой... Глухая стена тоже лезет ввысь, теснит каменный двор. В затылок друг другу жмутся тополя со спиленными верхушками. «Аппиева дорога!» — язвит Климука. Вот-вот заковыляет по ней гостя на каблучищах, отчего походка... бог ты мой!

Первый, полугодичной давности, звонок все смешал в Климуке. Помнит ли он такую-то! По институту. Вечерние прогулочки... Жажда встречи! Старше на три курса, рослая, в кедах со шнурочками... Одну из прогулочек не забыл: в скверике невмоготу приспичило бабенке, а выйдя из-за кустов, объявила: «Ты бы знал, какое блаженство!»

Сейчас тетке семьдесят с хвостом. Но «почти девственница». Как это понимать? А так и понимать — загадка.

Мистическая опекуна, свидетельствует Климука, с виду крепка, как дубовый обрубок, а когда у них дело к ночи, сердчишко сдает, не испустила бы дух на диване в бурном волнении, теребит бессильного Климука, страшные слова нашептывает: и по смерти не оставит!

Нет, не скучно жить на свете, господа!

Неделю спустя — звонок Климука: во всю грозят переселением! А нажитый скарб? Бросать?... Точно ли у меня машина?

Верно, почуял, что никакого «мустанга».

...Он выходил из дверей вагона (метрополитен, поздний вечер) в почтительном сопровождении кожаных парней с бритыми затылками — особый люд сучьего времени. И в упор не видел меня на опустевшей платформе. Черный плащ, фуражка с лакированным козырьком. Из-под плаща мятые штаны по каблучки...

Что «сей сон» значил?

Да все на время. Как холода и пузыри на лужах.

Или пасмурная погода.

И в ведро, и в ненастье

1. Коля-маля

День Девятого мая стоял озаренный, резко голубел державшийся по теням снег. Но отошел горький праздник, и отошла погода.

Немолодой холостой парень Коля, бригадный моторист, в прошлом человек непутевый, из вчерашнего мало чего помнил. Увидел поутру хмурые окна и что сам он, слава богу, живой.

Помнился лишь сон, можно сказать, издевательский: вроде бы начальником каким-то стал, и все к нему: что прикажет? Но среди собравшихся тоже начальники...

Изябнув, босой, вернулся со двора и долго пил в сенцах из ведра. Там и услышал машину, потом в окно углядел. Это снова выкатил на своем «Запорожце» инвалид войны Степаныч. Вчера за рулем орал песни, встречным-попереч-

ным гудел, развевались по ветру красные ленты над капотом — как жених разъезжал по поселку, смешил и пугал людей.

Коля высунулся в окно, выдавив забухшие створки. Степаныч нешибко ехал, и дверка наотмашь. Окликнул.

Сердце Коли дрогнуло. Натянул штаны, сапоги на босу ногу и, шумно дыша от такой спешки, минуту спустя принимал из руки Степаныча стакашок плодово-ягодной, в чем нуждался сейчас позарез.

— С прошедшим!

— Ничего не с прошедшим! — возразил Степаныч. И в сотый раз завел про войну, где лишился ноги. У Степаныча имелся свой «стратегический план кампании», который, будь его власть, провел бы «со всей категоричностью». О «плане» Коля знал наизусть и до второго стакана предусмотрительно отмалчивался, делал умное лицо. Дождик не унимался, и не понять, который час. Сколько до открытия магазина — на часы не посмотрел. Коля выбрался из машины чуть ли не на ходу...

Мать-старуха глядела на него с жалостью, пока он, поболтав ложкой во вчерашней лапше — от всякой еды воротило — пил чай вприкуску. Патлатый и вечно небритый, чернявый ее сын был худ, мосласт, весь какой-то крученный. Вчера прошатался по поселку, не побыл с матерью дома по-людски, радости от него не было и не будет. Отработал неволей два годика на стройке, где-то еще пропадал больше года и вот только зимой вернулся. Сказал, что насовсем.

Запорошило снежком, улица побелела. Натянув углом мешки на головы, брели бабы. И старуха засобиралась.

— Ты бы нонче не ходил никуда, — попросила она. — Принес и сиди себе, пей ее, эту... Ох, засудят тебя еще! Чую, засудят.

— Я не разбойник, а честный труженик.

— Труженик — с бутылкой.

— Ладно-ладно...

Он послушал радио. Раньше песни пели, теперь гнали политику с рекламой. Снег повалил густо, мокро налипло на окнах.

Течение мыслей вокруг магазина на магазине же и обрывалось. Дальше не шло у Коли: о хозяйстве либо о будущем, о котором многожды думал — жизнь заставляла. Всякий раз к тому сводилось, что еще не пора будущему этому, не вырисовывалась картина. Потому что *там* воли хотелось, а на воле — какой-то другой воли...

Все же он сходил в сарай на овец отошавших глянуть, поросенку накидал картошки с полведра. И когда из погреба вылез с миской квашеной капусты, застал соседку Верку, сидела на кухне. Голова раскрыта, снег таял в волосах.

— К матери, что ли?

Его неопределенно томило. И еле-еле насобирав табак в газетный клочок, налушил из раздавленных окурков.

Мимо окон протатился с кошелкой замбригадира Сашок. Остались на свежем снежке два длинных следа — как на лыжах прошаркал. И Коля поднялся, отжал за уши волосы.

На магазинное крылечко всходил, не раздумывая, чего и сколько взять, а у прилавка — баб сразу оттеснил — настоялся, не замечая кулаков по спине. Он колебался, пока не дошло, что на корешей и двух бутылок не хватит.

Прибавляя шаг, потому что в чем был выскочил из дому, сам с собой рассуждал дорогой: к кому из поселковых заявиться? Завтра фраерам легкая работка с сетями в сарае, не дует, это ему с техникой на ветру-холоду...

Верка шла к калитке, нахмуренная. Коля, еще у магазина закулив, быстренько дососал сигаретку.

Верка не упиралась, когда, полуобняв, ворочал в дом. Там в шутку подхватил под колени... И получилось, чего ждать не ждал — молча уступила ему. Ни слова и у Коли не нашлось.

Одевалась, не отворачиваясь, не стыдясь.

— То ни гу-гу, а то вот...

— Чего — вот?

— А то самое! Чего мы раньше-то друг от дружки хоронились?

И насторожился: не сам ли и зазвал вчера? Где-то, понятно, был... может, в чьем-то доме наткнулся...

Не до корешей теперь. Да и особой дружбы с ним не водили. Бригаду похожка собирала, а причалют — и по домам. Бригадир вовсе не в счет, мужик костяной. Не видели, чтоб к нему кто-либо заходил, даже Сашок, его приятель. В представлении Коли — ненормальное дело. «Не по-человечески. Мы не люди? Бездоказательно!» Коля уважал книжные слова, уверенней себя чувствовал. Как всякий, не сказать, чтоб глупый, но недоучившийся «по причине сложившейся жизни» человек, Коля почитал форму. И брал от нее, что западало. В колонию в первый раз попал «за компашку», и там усердно-долго боролись за его душу. К чести не дотянувшего до совершеннолетия Коли, он устоял: ни блатнякам, ни начальникам-перевоспитателям не удалось взять над ней верх. А трещинку оставили... Вторично Коля угодил в зону уже в возрасте и, как говорил, «исключительно из-за превратности шоферской профессии», когда работал на вывозке леса. Подсадил «шляпу» до города, в пути привязался: скинь да скинь несколько бревнышек. Сперва с посулами, от посулов к угрозам. И в итоге несдержанному Коле вышла статья, потому что «шляпа», которого самого вместо бревнышка скинул, оказался со связями... Надо было серьезнеть, и Коля травил и терзал себя мыслями, что его жизнь, как за тем лесом глухим — дойти-то дойдешь, да не выйдешь: пятый десяток скоро откупоривать, по такому десятку должна быть голова, не в плечи втянутая. Десяток этот — последний для человеческих возможностей...

В окне изломалось и поплыло, опять сменилось дождем. Смутное отражение маячило: в упор смотрит незнакомый человек, весь в каких-то оплывах. А позади старая баня и озеро... Чего Коля не любил, так праздники. Нынче хоть буден день и по погоде, а где он, будний-то?

Коля побрился, надел что поновей: наведаться к Верке честь по чести, при параде. Так и так, если согласна, оформятся... и все дале-прочее по-людски. Дух захватывало от этого «дале-прочего» бесповоротного! Что у тетки живет, бабы злющей, и что пацан у нее малолеток, — этим Коля пренебрег.

Вьюжило вместе с дождем. Как на волне, на хорошем ходу, снегом-брызгами осыпало... Запахи прелого дерева, откуда-то и дыма Коля однако вдыхал с наслаждением и, оберегаясь луж, жался к заборам.

А дымом впрямь едко пахивало. Тряпки жгли, что ли? Вроде и под домом, старыми березами загороженным: из-за стволов отблески бросало на снег. Окна аж озарялись! Коля толкнулся в запертую дверь. Но опамятался.

Пока ближних соседок всполошил, и бабы повыбежали и заголосили — тут свое спасать впору, — жарко занялось. Снег отаял по двору, метался пар над крышей. С ведерками суясь, головешки бы и залили, если б дождь не надбавил. Побежали из магазина звонить... К тому времени Коля вышиб дверь, клуб дыма вывалился, словно из пушки пальнули.

Потом народ просто смотрел, как прибывшая команда орудовала. Слава богу, не уголь остался, хотя выгорело внутри. Сруб устоял.

Участковый приехал утром на другой день. Подняв бровь, обошел вкруг дома в сопровождении хозяйки. «Ой, оголили, ой, разорили незнамо за что!» Внутрь же побрезговал, в дверной проем лишь сунул голову и принялся.

Но не поленился придти на причал. Коля из машинной шахты увидел ботинки на палубе, ветер надувал брюки с милицейским кантиком. Выглядел Коля и нынче пасмурно, не до разговоров с милицией. А начальнику требовались показания: где был, что делал тогда-то, с кем? И упер на то, из чего вообще хреновина происходила: почему в дом ломился, чего надо было? Коля ему: горело, мимо пройти? Участковый рьяно исполнял службу: вопросы мы задаем!

— Показывают, что нетрезвый шастал.

— Так... И был-то — пришей кобыле хвост.

— Дела не завожу пока. Но понадобисься.

Моторист Коля за полдень провозился на судне. Бригада по домам разошлась, протопала улицей. Стого часа, как этот, белесой бровкой поигрывавший, в угол его загонял, Коля корил себя на чем свет: о Верке память отшибло, когда в огонь полез...

Простыл он вчера, познабливало. Ударяло волной в ржавый борт, терлись и скрипели швартовы. До озера, до первой похожки еще неделя была, лед не везде согнало — острова не давали разгона ветрам.

Но как раз неделю Коля проболел. Из милиции не являлись и не вызывали. На том врое и кончилось.

Однажды на «Запорожце» подъехал бездельный Степаныч. Отворил дверку и благодушно приставил пальцы к седому виску:

— Наше пожарнику! А чего волосья отрастил?

— По моде, — ответил Коля.

— Не бывает такой моды. Со всей категоричностью! — И насупился. — Я вон ездию, баб веселю. И дай, думаю, которую себе подышшу... Так и так жизни нету.

II. Шторм

В Заонежье, передавали, уже холода, мокрый снег. На такое и у них вчера поворачивало — весь день над головами стегало дождем и ветром.

А с утра резкая упала синева, как и не осень. Только ветер в озере прибавил силы. Пену срывало с гребней.

Зыков провожал жену в город. Тяжелую моторку вел поперек волны, под днищем бухало. И когда вбежали в разрыв камышей и, синяя, блеснула река, волну примяло, ветер за кормой остался.

— Ждать к ужину, да? Так я баньку истоплю?

— Ага, наладь.

Надеялся Зыков и за мукой сходить в материковом поселке. Бригадир-агроном отпускал. Хлебом на острове не торговали, пользовались оказией из города. Впрочем, неудобства с «хлебным вопросом» Зыков не испытывал, у соседа сын шофер, в городе всякий день. Но мучица в запасе должна быть.

Поселковая улица вытянулась в один порядок по озерному берегу — толстобокие, на практичный купецкий вкус, дома-лабазы. Мукой, солью, рыбой когда-то торговали. До недавнего, в праздничные дни, как на ярмарке: цветас-

тые бабьи платки, музыка громовая из репродуктора на столбе, народ с дальних островов...

От церкви брело стадо в пятокголов, обгладывало кору с сосновых хлыстов — заготовленного мачтового леса. Зачали лодку, но платить плотникам стало не из чего. Один килевой брус, вытесанный, пылился в сарае.

А агроном пластом лежал, таблетками перебарывая простуду. Зыков посо-страдал: не бегал бы в легком пиджачке по полю, когда картошку рыли. И не пожалел о муке. Уж и спину приноровил к мешку и теперь чувствовал, как запросила покоя — слабо ныло в позвонках. Да и день больно хорош: за рекой в синей тени еловые леса, чайки греются на песке, редко теперь выпадает погода.

Зыкову хватило бы чаю на скудный обед. Все же ошкерил несколько мелких сижков. Разрубал надвое и кидал в таз. Рыбья кровь капала с рук, когда носил к берегу ополаскивать.

Доедая костлявого сига, слушал побрызгивание уносимого ветром дождя, привычно ждал: вот-вот подступит под грудь вялая тяжесть. Она стихала с первыми глотками чая. Леченная-перелеченная болезнь по-разному себя вела. На сегодня было терпимо. Как и ногам в шерстяных носках после резиновых сапог с голенищами под самый пах. Не мерзли, привыкли к холоду. Никогда не надевал лишнего на себя — чтоб и не повернуться. Да в резине век не проходить, сколько ни привыкай.

И в ведро, и в ненастье, как проклятье — это озеро! И люди, как коровье стадо, что уплывает к пустынному островку на пастбище и возвращается с закатом... По ту сторону озера и осенних лесов, верно, еще засветло поспешит жена к пароходу. Встретит на причале... Жена сорвет веселую косынку с волос, взойдут на бугор, и будет им светить озеро. И ждать ужин и банька. Воды, дров с позавчерашнего нанесено. Тогда же и хотели, да перебило соседями, зазававшими на поминки. Зыков вторую ладонью накрыл, считал: не молод. Пятьдесят пять — срок. Даром что из-за щуплости, прямо-таки мальчишеской, пацан пацаном... Поминали же почти одногодка, тоже рыбачил.

Немного и дров было надо. Сухая береза займется сразу. Дым оближет потолок, уйдет в раскрытую дверь. Сладко он пахнет...

Жена первая начнет, вместе стыдились, когда и молодые были. И в привычке, что порознь.

Уже не парился бы: из мыльного тумана вылезал не розовый, а кирпично-бурый, сердце давило. Банька, верно, на ночь придется. А потом — под ветер обоим, с полотенцами, накрученными на головы. Будет припахивать сырою золой из коптильни и ни зги, лишь в окне мутная желтизна, словно лампадка под иконой затеплена...

Еще свет не во всех домах зажгли — Зыков сошел к судовому причалу. Тявкала подворотная собачонка, лай отдавался в камнях бухты, как в бочке. Пожилые мужики и старухи с кошелками стояли на ветру: поджидали рыбаков с уловом.

Над пирсом, заваленном ящиками, над хмарью залива мерцал, раскачивался на судовой мачте фонарь.

Один за другим швартовались буксиры. Падая, взвизгивали чайки. Их крики смешивались с людскими. Не любил Зыков эту птицу — голос скрипучий, как у галок, что ночуют на церковных куполах.

В лодках бродили рыбаки по колена в плещущей рыбе, наполняли ею

сетки-черпаки и с насадой, на качке, вываливали в подставленные ящики — на борт судна, к открытым трюмам. Врубили прожектор, причал обступила ночь. Полог света отделил озеро от огоньков в домах и бредущих по взгорку старух...

Зыков поднялся в поселок вслед за ними. Представилось: дома жена, чья-нибудь шальная моторка подобрала! И все двери настежь, свет по окнам... станет, как бывало, показывать покупки-обновы, какой-нибудь дождевичок примерять на нем, на себе, из комнаты в комнату бегать, потряхивать седоватой челкой...

За полночь Зыков лег, не раздеваясь, лампы не погасив. «Как она заночует в городе? — тревожился он. — На вокзале, среди бомжей... Ни родных, ни знакомых».

Прошрое-пережитое было не самое страшное. Что без отца остались с матерью и сестрой, а через три года всю деревню с места долой на восток в Заонежье — мыкаться в одном доме по пять семей... что баржей гнали по каналу за Белое море, и баржишка не устояла на морской волне, не уплыли дальше Сорокской губы — не самое зло это было. И не бездомье, не голод. Оттого что все-таки детство. Четыре-пять годиков всего, что ли... Да и дом не пропал, не сгорел. Стоял, как покинули, когда возвратились в сорок четвертом.

Ударило в свой срок: мать умерла, а он и на поминки не поспел. С бригадой у Водлы-реки по корюшку ходили, двести километров от дому, и на третьи сутки нагрянула телеграмма. Бежал с грозной вестью к причалу, а отваливал транспорт под утро. Через всю майскую Онегу тихоходом добирался несчастный сын да от города на попутках. А дома уже помянули, сидела сестра с отупелым лицом, с собственной свадьбы сорвала ее смерть матери...

Легче не было и потом, быть не могло: как в какой-то бумаге за печатью предписали!

Одно выпадало из грубой, ничуть не менявшейся жизни, которая поколачивала и подгоняла, — женитьба на кареглазой студентке-педагогичке, вроде бы вовсе не ровне. Бумага та самая впопыхах, оказалось, была писана. Он погодно мог бы вспомнить, как в семейном согласии теплела душа. Не сказать, что себя не узнавал, но такой ли был заскорузлый мужик, если отсюда и пошел ему свет.

В быстрых полуснах виделись мать и жена: пьют и пьют чай на палубе баржи с какими-то старухами и у матери мертвые открытые глаза... мужики выбирают мутник на ходу, старый-престарый, гнилой, плетеный из сеток — называлось «мочало», — он поднимет придонную муть и та гонит рыбешку на светлую воду. На этом «мочале» и тащило деревянную баржу, вот-вот оборвется...

Лишь пополудни, как поутихла погода, вышли в озеро. И солнышко проглянуло.

В тыльное окно рубки Зыкову видны были плечи и голова моториста. Долговязый, долговолосый, в черной вязаной шапочке — монах в скуфейке. Он жадно пил, зачерпывая банкой из озера. На банку была намотана проволока с петлей: привертывал проволоку к штурвальной стойке, на качке чтоб не сорвало. Перекусит моторист, пока они в лодках намучаются. И не замерзнет: шинелишка в рубке на гвозде.

Как изо дня в день, так и с этой похожки вернутся, думал Зыков. Попрыгают в валуны, к сваленным под стенкой сарая старым мережам. Озеро нальется синью, в сарае словно пожар от бьющего в упор солнца: как дымом, затянет сети на балках, похожие на приспущенные паруса, рыбаков... А сдадут улов и разбредутся по домам.

Поспешит к судовому причалу чернявый моторист — на материке в доме-

погорельце обивать фанерой стены и потолок; в неизменном своем танкистском подшлемнике, свернет на тропу напарник моториста, отец девятерых детей (за длинным столом, без баловства, сидят, ждут — как отделение солдат), и, отобедав и разослав по делам приученных к послушанию чад, соснет и при этом никаких снов не увидит, отвлекавших от отдыха: хлебный домовой обережет его... покуда не пересечет улицу вечерняя тень, не почернеет песок, покуда сумерки не занавесят окна и ветром станет поколачивать ставни о бревенчатую стену... Посапывая, потащится по лужам давний дружок бригадира Зыкова, числившийся в замах. Доберется Сашок до своей хибарочки-баньки. В летошний год начал, а зимой до ума довел, печурку сложив. Стены предбанника под черным пластиком, вдоль швов рейки — выглядело как кафель. Топчанчик против окна, лежи, пощуривайся хоть на картинку из журнала, к стене приколотую: там озеро под тучами, девки голомя с купанья... А то и лодочный причалец надумает удлинить, пару досок настелет на вбитые колья. Но польют дожди, и будущим летом польют, все может, и уйдет причал в озеро. А не польют, причал и послужит: так и так не на сухом будет лодка... Чего надо от жизни, Сашок знал. Как и бывший танкист, настрогавший с женой на целое воинское подразделение.

Озерный свет сник к вечеру под облаками — мелкую сетку вроде накинуло. Лишь над дальним островком голубело, над золотистой березой, шатровым скитом вознесшейся. Слабый гул докатывался, будто колокол там качнули.

Догорали в низком солнце заозерные леса. И, казалось, не чайки орут, а кружившееся золотое воронье...

Едва повытрясли ставники и подгребли на веслах к буксиру, черно стало над озером. А само оно белело, как под снегом.

Судно швырнуло на высокой волне, сдернуло с якоря. И лодками зачаленными ударило в корму.

Несло сорванную с сосен хвою и песчаная пыль накрыла поселок.

Одна береза стояла в озере — как свеча.

Холодные месяцы

— Натe — жену привел! Шкафом отгородились, — жаловалась кому ни попадя из теток на скамейке в парке, куда выбиралась «воздухом подышать». — Сам нишета и девка под стать. Стенографисточка... Ей что ни слово — надуется. А то в слезы... Ну и сиди, говорю, за шкафом!

Та и сидела. Больше куда деться не знала.

Признавалась годы спустя: «Ноги домой не шли!»

Кабы вправду — домой...

Двоюродный дядька, в семье которого ютились с матерью, приживалкой считал и еле терпел.

Здесь же, увидела, вовсе чужая.

— Свою кастрюлю хоть сожги. А мою не тронь!

И за стол порознь.

Такая тебе, девушка, честь!

Она и была девушка, выходя замуж по своей поздней и единственной любви. Девушкой — в душе — и осталась. Это как и кому понять?

Свекровь что ни день: комнату ее пополам! Нелегко досталась, до председателя Президиума Верховного Совета дошла! И ни за что ни про что у сундука, где все нажитое? Под окном, за которым на гвозде в форточке что портилось вешала на холод. Из щелей дует, как в войну.

Тогда и форточки никакой — труба «буржуйки» дымила наружу. И наискосок по окну бумажные кресты от бомбежки, их было и не видеть, крестов, под инеем до весны.

Старинный стоял дом, потолки высоченные, печуркину военную копоть забелил длинной кистью дядька снохи: в подарочек девке, слава богу, замуж наконец взяли, попросторнело на его квадратных.

Теперь тут вроде квартирантки.

Обнаружилось, еще и детдомовка! После войны забрала родительница, сама незнамо кто на «квадратных», даром что вовсе не братца, самоволкой вселившегося, покуда по политике отсиживала из-за муженька. (А что свой, красный командир в Гражданскую, сокрушался о пролитой крови — было мимо ума.)

Как-то попалась в шкафу давнишняя фотография. Шкаф не запирался с износа, а что подальше положишь — поближе найдешь. Карточка и попалась... Годовалый мальчонок, босенький, у отца на колене. Молодая женщина в платье с кружевными оборочками по низу рукавов, прическа взбитая, парикмахерская. Красавица!

Куда подевалась — не стала думать. Может, и расстроилась бы, думая.

Она выхлопотала отпуск на первую половину мая и сговорилась со знакомой из Малаховки пожить на природе.

Малаховку помнила по сыну, когда ездила провести в детсадовском лагере. С того времени дач понастроили... На поселковой улице вся в себя ушла, гадая, как будет одна наконец.

Пожила, наобщалась с местными старушками. И тем делиться нечем было как не временной взаимной симпатией.

А вернулась — ни снохи, ни сына.

Этот явился на третий день с чемоданом.

Огляделся недоуменно:

— А где?..

Ей, матери, почем знать?

— То ли к своим собралась, то ли еще куда. Сам и ищи!

А он в командировке был...

Была командировка в приморский город, возливал под жгучее харчо да глазел на далекие, в морском мареве, нефтяные вышки... Из поезда домой — и на кавказские горы, похожие невесть с чего на грозовые облака.

Не «куда еще» пропала жена, а в роддоме. Одно понял из записки (буковка от буковки по отдельности), что прямо из консультации на «Скорой». И какая-то особая минералка нужна. Побегал, а не понадобилась. Родила, сказали, сама чуть не померла.

— Дочь у тебя, папаша!

Откуда взялась машина «Победа»... с букетиком топтался у роддомовского крылечка или с пустыми руками? Подставил их под кулечек с маленьким человечком, орущим: вот он я на белом свете!

Четвертого жильца уложили в кроватку на колесиках и выкатили из-за шкафа.

Хозяйка жилплощади сделалась бабкой.

Вспомнить бы: своего крикуна привезла на трамвае в перенаселенную коммуналку, с утра до ночи беготня соседских детей, гвалт. Длительные отлучки мужа: коллективизация, «прорывы». На ней и ребенок, и хлопоты о жилье... Выпала-таки удача под конец — с самим Калининым встретила и разговаривала!

Шел по коридору, без свиты, такой домашний, бородка клинушкой, заметил плачущую в очереди на прием, выслушал.

— Мы нашим людям помогаем!

Месяц спустя — вселялись с тем же шкафом и сундуком в однокомнатную квартиру.

Пришлась по душе: прихожая, ванна при кухоньке.

Бывший «барский» дом.

А его не порадовало опустевшее чужое гнездо. Темные были годы.

Потом была война.

Лютая зима сорок первого, разгромленное ополчение... похоронка.

С этой зимы будто не она жила, а незнакомка за нее. Выстаивала ночные очереди — сонные людские хвосты вдоль заборов... днем меж конторских столов бурки хромого зава поскрипывают... Очнуться — никакой не сон, а твоя жизнь, ты и есть незнакомка состарившаяся!

Привыкать к такой — себя не пожалеть. Люди пожалели: «То-то старуха! И сороковника не наберется. Снова бы замуж... Возьмут и с довеском!»

«Довесок» рос и рос сам по себе. И каждое лето в пионерлагере под общественным приглядом. Не улица хулиганистая, которая на беду.

Иная взамен: девка за шкафом! Точно неживая после родов, ребенок недокормыш... По утрам не ей с грудничком коляску возить — сыну-недотепа. И на работу успеть в газету.

Была солидная, на всю страну. (Не так себе, когда не станет страны.) Газета и света: в коридорах и случайно не разминуться, и в обед рядышком, локоток к локотку. Вечерние свидания на многолюдном бульваре... Весна, весна!

Что за свидания такие, со словами о себе и друг о друге, понятными обоим? Разглядел в ней себя, свою жизнь, она в нем — свою? Бывает, если с самого начала. Или уж никогда.

«Недокормыша» в ясли отнесли — бабка настояла. Только проку не вышло, а вышли слезы.

— Пусть к своей матери везет!

Это в клетушку. Повернуться негде, сколько народу: дядька с женой, двое пацанов-малолеток, мать. Сама с сосунком — наездами не обойтись. Там и будет.

Со зла хуже не придумать!

Мало на счастье — в спасенье: освободилась одна из зимних дач издательства.

— Девочка ваша хоть посвежеет на воздухе, — свекровь на прощанье.

Издали добра пожелать — не убудет.

Поначалу дни считала, вдруг воротятся. И стала жить для себя, как жила, да пенсию ждать.

Два годочка прибавили со свидетельств двоюродных старших сестер. Дата рождения ошибочная. Гражданская война была, неразбериха... вписали деревенской девчонке-сироте абы что: о рождении-крещении в церковную бумагу, которой нет уже и в помине, вполглаза глядели.

Новоселов встретили полы под старыми газетами, рухлядь по углам. Ни стола покуда, ни стульев... Спасибо, кровати со скатанными матрацами.

— Еще как жить будете! — утешила комендантша. — И газ, и печка чугунная зимой для батарей греть воду из бака на чердаке. Водичка из колодезя у поля. Молодым не в труд. А леса-то кругом! Как под крышей.

Лето погожее выдалось, редко когда отпорошит дождик под утро, и солнечно, тихо, туманно.

Воскресными днями — по грибы-ягоды недалеко. Уложив ребенка во сне из губешек пузырьки пускать, теща следом.

Вдвоем с дочерью набрали однажды на тонюсенькую березку с черными, с весны, разрубамы от топора: думал кто-то соку нацедить. Пожалели деревце, хоть и выжило, пошумливало листвой. Пожалели, словно на березке прошлое обеих сошлось.

Попадались свежие порубки по опушкам. Пни, ветер с поля.

Стаскивал с себя плащ, садились. Она долой босоножки, выпачканные в земле, на вытянутые ноги корзинку с опятами.

— Ох, уморилась, уморила-ася я!

Она и пошла, дачная жизнь, по нехитрой песенке-прибаутке.

Наране к колодцу, на тропе тени от елок... Наливал полные ведра, забирал у жены. Та рядышком полубегом, смеялась:

— Поняла. Я, значит, гуляю.

К урочному часу на электричку лесом. Бывало, и поселковыми булыжными улочками в непогоду.

Прекрасная, непривычная жизнь!

Светлая, за летом, простояла осень.

И зима смиростивилась, лишь погрозила, напомнив, чтоб не скучали, об угле и дровах.

Привела и соседа. Потюкивал на машинке, варил по утрам овсянку на воде, напевая про Ваньку Морозова, полюбившего циркачку. Так и пробыл со своей песенкой на холостяцкой овсянке.

В апреле ударили холода с метелями. Сугробы намело по окна. Девчушку обували в валеночки, на голову шапочка колпачком, выводили по заснеженным порожек на утренний морозец. Годик с небольшим, а вовсю ножками топ-топ и лопотала.

— Машенька, ты где? — окликали.

— Моня здесь! — из-за сугробца.

Моней себя называла.

Прошла эта весна и прошло еще одно лето.

Дядькино семейство откочевало в пятиэтажку-новостройку на окраине города. Дочь с матерью остались за хозяев в опустевшем жилье.

Догадывалась про свекровь, что по своему покою-одиночеству изгоревалась. Заодно с ней и сына невзлюбила.

Но позади, позади!

Вот и путевка на руках — в Крым, к морю! Что ж, что на глубокую осень, «горящая».

Впервые она увидела море. Было сизое под тучами. Моросили дожди, было

холодно и как-то пустынно... Но ни за что, написала в коротеньком письмеце, не уедет до срока.

Похоже было на нее!

Он навестил мать. Поставил на прежнее место шкаф, развинтил железную свою кровать и отнес в коридор. Жить, сказал, не придется здесь.

А уехал — достала из сундука и перебрала ношеное и неношеное.

На дне лежало мужнее пальто. Пуговицы застегнуты, рукава вперехлест на груди, будто это он сам как в гробу, ее муж. Человек, которого позабыла, каким он был.

Неурочная осень

Глазеть в окно — всего и занятий.

«Лист летит на лист, все осыпались, и дождь...»

Разве что пожилой гражданин прошмыгнет. Бегущий шаг, руки в карманах, ветхое пальтишко. Подумаешь, а куда это как не в ближайший?

И, повременив, сам пошмыгаешь.

Солидарность со спешащим.

Правда, уже никуда не спешу.

Присаживаюсь в скверике. Моросит мелко.

Жаль, не видать здешнего прилежнейшего завсегдатая. Эдакий рослый седовласец.

Бывало, посиживали-покуривали, наблюдая за каким-нибудь малолеткой: носился на электромобиле по асфальту.

Человек усмехался:

— А ведь будет тарашиться на такого же юркого пацана. Если доживет и добредет до скамьи и площадки. Но их вряд ли найдет: люди редко что оставляют после себя. В сорок третьем, помнится, холодные дожди, ветер с оста... Пустая дорога. Вдруг грузовик натывается на черные прутья: взрыв! Шальная мина. Из шестерых курсантов мореходки уцелел я один.

Он пережил войну, двух жен, сыновья почти забыли его, как и он свою жизнь, «эту прозу, которую читает уже по складам». А запомнил лишь те самые «путья»...

Не досадует, что проглядел наступление старости. Изредка стаканчик-другой, туманец от первой сигареты...

— Не приобретения, а утраты расставляют в памяти где чему быть. А будущее — что ж, это вечер, когда пора спать, как птичке.

Поднимаясь, подавался на грудь, упирался в колени. Пересекал площадку с лихим «кавалеристом» и брел по траве, шурша осенью, солнцем, ветерком.

Из-за ненастья нет и другого посетителя уютного скверика.

Чем он брал, собирая возле себя пенсионных теток? Ласковой болтовней, историями, шутовской веселостью?

Аккуратненько прилаживал единственную ногу на костыле, посмеивался. На скамье рядышком папка, раскрывал, шли по рукам пляжные фотки: нараспашку китечек с медальками, из-под шляпы чубчик кудрявится. «Курочки» полуголенькие... Снимки все в рамках. Самодельные стишки. Еще бы неинтересно!

— Молодость, знаете ли!

И так изо дня в день, если погода.

Нога на костыле (где другой лишился, бог знает. Чтоб на войне — по годам не выходило). Смотрит себе на мир, глазки смиренные. Но вот парочка пожилая. Оживляется:

— Присаживайтесь, голубушки мои!

О себе говорит, он бывший райисполкомовец, посты занимал, Европу повидал, хотите верьте, хотите нет. А нынешняя жизнь — она какая? Она шуточная.

— Приходите еще как-нибудь. Покажу курочек иностранных. Потешитесь! Чепуха какая-то...

Вспомнились послевоенные годы, ранняя юность... вспомнился дядя.

Многим казался неуживчивым, раздраженно шумливым. Но когда, случилось, брался за рубанок — верстак стоял в сенях у мутненького окошка и раскрытой двери — то добрел ко всему на свете. Я смахивал стружки с верстака и мне очень хотелось стать столяром.

Неладно ему жилось: вечные неурядицы в семье. Редкие отлучки по колхозным делам были днями свободы. Приезды же в Москву превращались едва ли не в праздник. «Ставь нам, сестра, бутылку!» — шутил дядя. Мать поджимала губы. Он доставал из мешка шматок сала, водку, огурцы, хлеб и внезапно мрачнел: худо мне, сестра!

А я любил и жалел его. Любил и грустную песенку, которую напевал за работой: «вот солдаты идут по степи опаленной»... Он отвоевал Гражданскую и в обозе Отечественную. Вернулся словно в чужой дом.

Да, я любил и жалел его.

В последнем письме он посылал «сердечный привет», звал: приезжайте.

Я приехал на его могилу. Шел полем, заросшим одуванчиками.

Шел, как по степи опаленной!

Не с кем поговорить, некого послушать.

Соседа, помешавшегося старика? Художник, заслуженный...

День за днем «ловит гармонию в себе»: мажет кисточкой по холщовой занавеске, разостланной на полу. Видятся ему синь елового леса, холмы, речушка, с ее глади — свет, озаряющий небо...

Старик в восторге!

Может, он-то и сбил оковы с души?

Моросит и моросит. Прохожие под зонтами.

Кто я им по смыслу занятий? Похож на бомжа недавнего разлива.

А всю жизнь пытался писать о людях, как они живут.

Они жили «неправильно».

То есть?

А не так.

Разъясняли: ибо вот-вот коммунизм.

Он не наступил почему-то. О чем сожалеют. И я в том числе.

Справедливость, каждому по потребности...

Вдыхаю и достаю из плаща недопитое. Посижу еще, посозерцаю, как лист летит на лист... покуда дождь не хлещет по дождю.

Семён Липкин

Стихи и переводы



Огонь вины

Электричество вины
Сыплет искры покаянья,
Эти искры нам нужны,
Как бездомным — подаянья.
Кто узнает наперёд,
Что из искры возгорится,
Что грядущее вберёт,
Что родится, чтоб забыться.
Значит, мы себе верны:
В грязь по горло погружённый,
Мир не умер, освещённый
Электричеством вины.

* * *

Как много прошло унижающих лет,
Когда, чтобы плакать, нужна была смелость,
Но с тенью, как прежде, сливается свет,
Ни чёрного нет, ни белого нет,
Одна только серость.
Ты чувствуешь близко начало конца,
Ты знаешь: враждебно душе то, что серо,
Не бойся глупца, не жди мудреца
И помни: тебе, как созданию Творца,
Нужна только вера.

Кличка

Луна грозна, во мгле ночной мала,
Она выглядывает из тумана,
Как бы зловещее отверстие ствола
Из детективного романа.
Убийца — слышим — движется шажком,
А кличка Старость. Птичьим, волчьим стаям,
А также человеческим он знаком.
Мы умираем. Умираем.

На рубеже

Гостиница возле мечети,
Когда-то приют школяра,
Но кельи теперь — номера,
В них воздух и день на рассвете
Заглядывают со двора,
А рядом готовится плов,
Глаза четырёх куполов
Глядят на тебя, Бухара.
Твои закоулки священные,
Как страж, берегущий Закон,
Как заповеди Авиценны,
Вошедшие в здравый Канон,
Но близко, так близко уже
Дыханье беды в парандже
И топот соседних племён.

«ДН», 1997, № 6

* * *

Ночь наступит не скоро.	Но как только взметнётся
Солнце всё ещё льётся	Без печали и боли,
На траву у забора	Ей светло улыбнётся
И ведро у колодца.	Судия на престоле.
А в душе так пустынно,	Скажет: «Знаю, в неволе
Так ей чужды и дики	Ты, душа, настрадалась
Острый запах жасмина,	И заглохла без боли,
Тёплый запах клубники.	Без печали осталась».

Музыка

В иной какой-то жизни был духовен
И музыкален, кажется, мой слух,
В теперешнем рожденье стал я глух,
И глухотой другою, чем Бетховен.
Но твёрдо знаю: музыка — весна.
Красноречиво, хоть и бессловесно,
Нам говорит о том, что всем известно.
И всё же в каждом звуке — новизна.
Что ей слова, когда есть шелест, шорох
И дальние признания скворца,
Когда сирень у самого лица
И юность яблонь в свадебных уборах,
И всё земное светом налито,
И сколько листьев, столько и мелодий,
И что-то просыпается в природе,
Я силюсь вспомнить и не помню — что?

Надпись на восточной книге

Зачем непрочные страницы множить
И в упоенье, в темноте надменной
Выделывать сомнительный товар?
Приходит Время, как халиф Омар,
Чтоб ненароком книги уничтожить,
За исключением одной — священной.

* * *

О, как балдеет чужестранец
В ночном саду среди пустыни,
Когда впервые видит танец
Заискивающей рабыни.
О, как звенят её движенья,
То вихревидны, то округлы,
Как блещут жизнью украшенья
И глаз стопламенные угли.
А там, за этим садом звёздным,
Ползут пески, ползут кругами,
И слышно в их дыханье грозном:
— Вы тоже станете песками.

Именам на плитах

Я хочу умереть в июле,
На заре московского дня.
Посреди Рахилей и Шмулей
Пусть положат в землю меня.
Я скажу им тихо: «Смотрите,
Вот я жил, и вот я погас.
Не на идише, не на иврите
Я писал, но писал и о вас.
И когда возле мамы лягу,
Вы сойдите с плит гробовых
И не рвите мою бумагу, —
Есть на ней два-три слова живых».

Земля

Ты Господом мне завещана,
Как трон и венец — королю,
На русском, родном, — ты женщина,
На русском тебя восхваляю.
Не знаю, что с нами станется.
Но будем всегда вдвоём,

Я избран тобой, избранница,
Провозглашён королём.
Светлеет жильё оседлое
Кочевника-короля.
Ты — небо мое пресветлое,
Возлюбленная Земля.

Утро по дороге в лес

Забудем о заботах книжных,
О запылившихся трудах:
Теперь дороже
Нам снизки ласточек недвижимых
На телеграфных проводах
И день погожий.
Под кровлей раннего тумана
Мне показалось: лес далёк,
Но он был ближе,
Чем мысль, пришедшая неожиданно,
Чем этот лёгкий мотылёк,
Плясун бесстыжий.
О чём же мысль пришла? О раннем
Сиянии деревьев и трав;
О бесполезном
Раздумье, слитом с умираньем;
О том, что, мир в себя приняв,
Мы в нём исчезнем.

«ДН», 1998, № 9

Кругозор

Зелёное, мокрое поле овса
С улыбкой — иль это смеётся роса? —
Взирает на утренние небеса.
За полем, одетые в белый наряд,
Берёзы свершают старинный обряд:
Молитву они бессловесно творят.
А дальше, за рошей, впадает река
В другую реку, наклонившись слегка,
И старшей подруги вода ей сладка.
А дальше, где в гору идет колея,
Глушилок-страшилищ торчат острия,
А дальше, а дальше — Россия моя.
Россия мздоимцев, Россия хапуг,
Святых упований и варварских व्यог.
И мерзко хмельных и угодливых слуг.
И пусть по России прошёлся терпуг,
Россия — росой обласканный луг
И памятный первый погромный испуг.

* * *

Если грозной правде будешь верен,
То в конце тягчайшего пути
Рай, который был тобой потерян,
Ты сумеешь снова обрести.
Так иди, терпи, благословляя
Господа разгневанную власть;
Если б мы не потеряли рая,
Не стремились бы туда попасть.

В палате

Смерть поохотилась в палате,
И ждёт ли труп,
Что безнадёжное проклятье
Сорвётся с наших губ?
Мы жертвы, мы и очевидцы
Страды земной.
Как весело в окно больницы
Глядит бульвар Страстной!
Как пламенно земное счастье —
Желанный дар!
От наших глаз Христовы страсти
Сокрыл Страстной бульвар.
Он утром густо разрисован,
Но чьей рукой?
А здесь для нас приуготован
Уже удел другой.

«ДН», 1998, № 9

Чинара

На ветвях деревьев дремлют куры
И, быть может, слышат иногда,
Как шумят седые балагуры
В чайхане на берегу пруда.

Близко — пыль и голоса базара,
Здесь — недвижно вечереет свет
И двухсотвесенняя чинара
Прожитых не замечает лет.

Сколько раз шумели эти ветки,
Эти шутники из чайханы,

И потомством становились предки
Человека, птицы и весны.

Неизвестна ей моя забота,
И моя тревога ей смешна,
Что ей жажда и боязнь полёта,
Что ей бесталанная вина —

Жить, не зная своего названья,
Жить и ничего не называть,
Разумея смысл существования
Только в радости существовать.

«ДН», 2008, № 11

Аскад Мухтар

С узбекского. Перевод Семёна Липкина

Закон

Ужели закон тяготенья всемирного
Касается только небесных планет,
А сердца, а рода людского обширного
Всемирный закон не касается, нет?

Ужели с друзьями делить нам не хочется
И радость, и горе, и бремя годин?
Никто на земле не живёт в одиночестве,
Мы вместе, никто не уходит один.

Мера

Мера есть всему: ты делишь сутки на часы,
Там, куда привозят хлопок, высятся весы,
Можно тоннами измерить уголь или сталь,
Километрами — дорогу, мчащуюся вдаль.

Чем же ты измеришь песню? Все слова проверь,
Мерой хлеба, угля, стали песню ты измерь!
Если хочешь разобраться в наших голосах,
То и хлопок взвесь, и песню на одних весах.

Адам Шогенцуков

С кабардинского. Перевод Семёна Липкина

Постоянство

Быстро исчезла весенняя прелесть,
с пламенем лета рассталась земля,
осень поблекла, деревья разделись
и опустели луга и поля.

Всё, что цвело, наливалось и зрело,
ныне в безмолвном грустит забыты,
лишь на стволах зеленеет омела
и над мякиной галдят воробьи.

Были нарядны сады не вчера ли,
будто невесты в серьгах и в шелках,
ныне старухами яблони стали,
шарят сухими ветвями впотьмах.

Старость, однако, видна лишь в убранстве,
копит земля свои силы в тиши:
вечная юность её — в постоянстве
зёрен и всходов, и светлой души.

Ольга Лебёдушкина

Небо над Ла-Маншем



Гайто Газданов. Полт: Роман. — «ДН», 1993, № 8-9.

Если бы Сергей Сергеевич, один из главных героев газдановского «Полёта», не держал под подушкой револьвер, если бы не проскользнуло упоминание, что ему чудом удалось избежать расстрела, и еще пара-тройка упоминаний, столь же эпизодических и беглых, о ком-то, кто «потерял все», можно решить, что революции, гражданской войны и эмиграции не было. Да и России, пожалуй, тоже. Так устроен «Полёт». Никаких «других берегов». Никакой Машеньки из невозможной прошлой жизни, которую ждут на вокзале и в последний момент бегут от нее сломя голову — в смысле, и от Машеньки, и от жизни. Героям Газданова некого, нечего и неоткуда ждать. У них все здесь. Они у себя дома. Один дом в Лондоне, другой — в Париже, третий — вилла на Лазурном берегу. («Со времени раннего своего детства Серёжа привык к тому, что слово "дома" могло значить одновременно очень разные вещи. "Дома" могло значить — Лондон, тихая улица Grove End Gardens в Hampstead'е, бобби на углу, старая церковь, каменные набережные реки Темзы во время ежедневных прогулок; "дома" могло значить — Париж, близость Булонского леса, Триумфальная арка, памятник Виктору Гюго на давно знакомой площади; "дома", наконец, могло значить — хрустящий песок под колесами Лизинового автомобиля, аллея за железными воротами и невысокий дом в неподвижном саду, непосредственно на берегу точно застывшего залива, который иногда казался синим, иногда зеленым, но, в общем, не был ни синим, ни зеленым, а был того цвета, для которого на человеческом языке не существует названия».)

Так что может показаться, что «Полёт» — роман о русских европейцах, идеальных global Russians, типичных представителях целевой аудитории «Сноба», как он мыслился в самом начале. Кстати, и перемещаются они по Европе с вполне современной мобильностью и на современных скоростях. Они вообще как с рекламной картинки — молоды, красивы, стройны, безупречно и дорого одеты, и все непременно с «прекрасными зубами», которые не только демонстрируют в ослепительной улыбке, но вполне могут ими поднять тяжеленный чемодан. Понятно, менее всего такие глянцевого персонажи напоминают изгнанников, беженцев, перемещенных лиц, каковыми полагается быть эмигрантам в изображении эмигрантской же литературы.

И обязательной для этой литературы ностальгии здесь не найти. А если и обнаружится, то в иронически-пародийном ключе: то в страданиях сторожа Нила о Полтавской губернии, где все лучше, где лошади едят сало, а «народ там такой же, что и здесь, только на другом языке говорили и были гораздо умнее, и бабы были в среднем несколько толще, чем здешние»; то на картинах бедного художника Егоркина, осевшего в Ницце и изображающего все тех же «неправдоподобно раскрашенных баб, ехавших на лихой тройке по взрыхленному снегу».

В такой же откровенный развеселый кич превращаются у Газданова и возвышенные патриотические речи, которые, впрочем, звучат в романе лишь однажды и совершенно показательно — из уст Людмилы, жены писателя Кузнецова, аферистки и классической негодяйки: «И хотя, к сожалению, Россию преследовала судьба, *adversity* (англ. — напасти. — *О.Л.*), но она, Людмила, не теряет надежды, что когда-нибудь — и, несомненно, это будет — Россия займет надлежащее место в мире; и что ей, Людмиле, хотелось бы дожить до этого и потом спокойно умереть». Но даже для Людмилы эти речи — далеко не последнее прибежище, а всего лишь один из приемов, разработанных для обольщения «разных иностранцев».

Дальше больше: и великая русская литература, она же — последнее прибежище, она же — последнее утешение изгнанника, со всеми ее, что называется, заморочками, терпит в «Полёте» полный крах. Роман начинается встречей блудной матери Ольги Александровны с семилетним сыном, которого она тайно увозит от мужа, практически похищает. И мальчика-то, конечно же, не просто так зовут Серёжа. Но «Анны Карениной-2» не случается, потому что умный, очаровательный, улыбчивый сверхчеловек Сергей Сергеевич — вовсе не несчастный Каренин, и Ольга Александровна будет много раз уезжать из дома с разнообразными условными «вронскими» и неизменно возвращаться в дом, где ждут любящие муж и сын, потому что она милая и замечательная. И нет никакого лицемерного «света», который посмел бы осудить могущественного Сергея Сергеевича или его прелестную ветреную жену. То есть сам предмет, по причине которого стоило бы бросаться под поезд, давно уже себя исчерпал.

Узнаваемо «достоевским», беспокойным персонажам, вроде той же артистической мошенницы Людмилы или нищего Егоркина, в газдановском романе тоже приходится не лучше. Если в родной стихии они бы еще долго истерили и декламировали, здесь они быстро успокаиваются, получив чек или пятацот-франковую купюру, к которой в последний момент, подумав, добавили еще сто. Ни бездн душевных, ни хотя бы глубин и широт. Сузить никого не требуется, и так со всеми все ясно.

И даже старая песня о «слабых» и «сильных», гипнотизировавшая Достоевского ницшеанская идея сверхчеловека здесь вроде бы и при чем, но проходит как-то по касательной, не проверяется и не развенчивается. Потому что роман вообще не про «все позволено» и не про «Аз воздам». Он не о морали, не о культуре, не об идеологии и не о социуме.

«Полёт» — роман о судьбе. Возможно, в самом концентрированном и радикальном варианте жанра, хотя слава писателя экзистенциального за Газдановым закреплена навсегда. О роковом и фатальном — и «Возвращение будды», и «Призрак Александра Вольфа», да и — в той или иной степени — вся проза Гайто Газданова.

Интересно, что в замечательной работе Михаила Шульмана, опубликованной в «Дружбе народов» более полутора десятилетий назад, но по-прежнему глубокой и актуальной, внимание Газданова к проблеме судьбы и случая, его своеобразный и настойчивый фатализм, названы «добавочной интригой Газданова, прицепным вагоном к составу романа» (Михаил Шульман. «Газданов: тяжёлый полёт» // «ДН» №9, 1998). И эта разница прочтений способна только подчеркнуть, как меняются времена, а вместе с ними — ракурс и оптика.

Потому что, конечно же, не прицепной вагон, не дополнение, не довесок, а несущая конструкция, пружина, ключ. В той же мере, в какой лермонтовский «Фаталист», упомянутый Михаилом Шульманом в связи с прозой Газданова, — ключ ко всему «Герою нашего времени», согласно еще давним работам Ю.М.Лотмана.

И в этом, наверное, разгадка того, почему написанный в роковом 1939 году роман сегодня читается так современно.

Вплоть до самых последних страниц, когда все объяснится, «Полёт» поражает демонстративным доминированием частного над общим. Социального, исторического, политического контекста в романе почти не найти. Модернистских пространственно-временных и языковых экспериментов — тоже. Сплошные внутрисемейные и околосемейные коллизии — Ольга Александровна в состоянии вечного поиска, ее сестра Лиза, любовница Сергея Сергеевича, а впоследствии — и Серёжи, друг семьи Слетов с его любовными катастрофами, писатель Кузнецов с женой Людмилой. Все это бесконечное броуновское движение измен, интрижек, зарождающихся и распадающихся связей, встреч-расставаний в какой-то момент становится монотонным, и зловещие отблески инцеста на какое-то время гаснут в этом равномерном кипении больших и не слишком страстей.

Можно только догадываться, что все иное вытеснено из сознания героев, как травматический опыт. Что для сильных это небрежение окружающим миром — результат их силы, для слабых — следствие их слабости, и для тех и других — способ самозащиты.

В конечном счете сюжетная структура «Полёта» — это известная философская задача: упражнение под названием «луковица», когда с индивида постепенно «снимаются», как шелуха с луковицы, слои внешних влияний — историческое, политическое, культурное, национальное, родовое... Экзистенциальное, как известно, — то, что останется после.

«Полёт» — не самый утешительный ответ на вопрос о том, что ждет человека, если он сбросит шелуху, попытается спастись бегством от общественно-го и общего, потому что именно здесь, в сфере частной жизни, беглеца ожидает судьба. Причем, не какая-то там скучная предопределенность. Оттуда, где должна быть экзистенция, очищенная от внешних напластований, зияет настоящий античный рок, который воплощается с тем большей точностью, чем больше от него стараются убежать, принимая за него историю, политику, жизненные обстоятельства. Эта судьба никого не карает и не наказывает — ни Сергея Сергеевича за его ровное и доброжелательное презрение к людям, ни Лизу за ее преступную связь с племянником и мужем сестры, не наказывает даже Людмилу за ее махинации. Внезапная и резкая концовка романа заставляет взглянуть на все прочитанное как бы в стекло заднего вида и увидеть картину, которая раньше была недоступна зрению. Оказывается, люди, как будто

случайно собранные в одном пространстве, движущиеся по случайно пересекающимся траекториям, на самом деле исполняют сложнейший и до поры до времени недоступный взгляду танец судьбы. Он становится доступным только с высоты их последнего полета.

Иначе не понять, зачем Газданову старая актриса Лола Энэ, знаменитая и бездарная, почему, однажды появившись в эпизоде, она вдруг начинает занимать в романе все больше и больше места. Зачем ему столько подробностей из жизни Людмилы Кузнецовой, если непосредственное отношение к сюжету имеет ее муж, к которому сбежала Ольга Александровна? И только финал даст ответ: всех этих персонажей объединит общая смерть в небе над Ла-Маншем. Каждый из них вплетает свою нить в железную ткань неотвратимости. По иронии судьбы — а чем ближе судьба по своей природе к античному року, чем она ироничнее, — каждый из героев, погибающих в конце романа, умирает в момент перемены участи, неважно — к добру или к худу, но, как ему кажется, видимой невооруженным глазом. Сергей Сергеевич летит к сыну, находящемуся на волоске от смерти после попытки самоубийства. Лиза летит к Серёже, чтобы вопреки всему остаться с ним навсегда. Лола Энэ летит за неожиданным наследством. Людмила — к своему англичанину, в котором воплотились все ее мечты. Даже неведомый толстяк, в последний момент вскочивший в самолетик, радуется шансу, который у него появился. И никто из них, как, впрочем, и читатель, не подозревает до последней минуты, что все их пути все это время шли к общей точке пересечения в небе над Ла-Маншем.

Набоков в своих лекциях восхищался тем, как Толстой в «Анне Карениной» «маркирует» судьбу, расставляет ее вешки, заставляя Анну в поворотные моменты ее жизни появляться с красным мешочком для рукоделия, который тревожной красной лампочкой мигает на протяжении всего романа. Сам Набоков многократно повторяет этот прием в своей прозе, начиная с ранних романов, когда начало и конец жизни героя могут быть отмечены багажной тележкой с надписью «fragile!» («осторожно, бьется!»).

Газданов вех и вешек для понимающего читателя не расставляет. Поступь рока становится внятной только постфактум, как дальнее эхо.

Удалось ли ускользнуть от всемогущества судьбы Серёже — тем, что пытался себя убить, и Ольге Александровне — тем, что опоздала на роковой рейс, — одна из загадок романа. Можно было бы порассуждать о том, что в живых остались самые непосредственные и бесхитростные. Но это вряд ли. Фатум в романе, как было уже сказано, не судья и не бог — не карает и не милует. Возможно, тут работают другие механизмы. Не случайно композиция романа нечеловечески прочно и надежно закольцована. Все начинается встречей матери и сына в Лондоне, там же и тем же все заканчивается. Наверное, в мире, который создал Гайто Газданов, это называется хэппи-энд.

Второе небо Алексея Германа

О фильме «Трудно быть богом»

Одно из главных культурных событий года — выход в российский прокат фильма Алексея Германа «Трудно быть богом».

Герман вспоминал: первый сценарий был начат в 1967 году. Почти полвека работы. Менялось время, и по-новому открывалась история «волонтеров» с благоденствующей планеты Земля, заброшенных с просветительской миссией на «средневековый» Арканар, рассказанная в романе Стругацких.

«Если говорить о политике, этот фильм — предостережение. Всем. И нам тоже, — объяснял свой замысел Герман.

«...Это картина о поисках выхода в мире — рубить, быть ласковым, наблюдать, помогать, как быть? Нет выхода, все оборачивается кровью, что герой ни сделает. Не хочешь убивать, хочешь быть добрым — будет вот так, почти никак. Хочешь убивать — реформы пойдут, но ты будешь страшным, кровавым человеком. Стругацким было проще: у них в романе коммунары с благополучной, счастливой, цивилизованной планеты Земля, люди, которые знают правду и знают как. А сейчас на Земле — какие там коммунары! Мы у себя не можем разобраться, в Чечне той же. Так вот, ученых герой ищет всю картину, не как у Стругацких — чтобы спасти, а чтобы они ему что-нибудь подсказали, что делать в этом мире. Чтобы этот ужас прекратить, когда книжечек в нужниках топят.

...Румата — человек с современной Земли, он от нас прилетел. Он твой кореш. На Земле точно такое же говно. Даже были слова в сценарии о том, что «на Земле опять готовились к очередной войне, и всем было не до того». На Земле — психушки и тюрьмы, Земля полна идиотов. А на эту планету землян послали, потому что там начали после пожаров строить странные высокие желтые дома, и это привело землян к выводу, что в Арканаре началось Возрождение! Поэтому бросили экспедицию в 30 человек, чтобы этому Возрождению помочь. Но Возрождения, может, никакого и не было. Так, мелькнуло только. А вот реакция на Возрождение — страшная: всех книжечек и умников убивают, и они ползут с лучинками через жуткие болота, попадая в руки то бандитов, то солдат, и везде веревка-веревка-веревка и смерть-смерть-смерть.

...Я этим фильмом, конечно, пытался бросить вызов. Почему он так долго и мучительно делался, почему я потерял товарищей на этом фильме... Мы и «Проверкой на дорогах» бросали вызов — политический: «пожалейте русского человека». «Двадцать дней без войны» были вызовом всему лживому кинематографу Озерова и уже с ним. А теперь — вызов современному кино, для которого так важны тексты. Понимаете, Толстого надо читать, а не смотреть в кино. Или смотреть только в том случае, если понимаешь, что над текстом встало какое-то второе небо»¹.

¹ Герман: Интервью. Эссе. Сценарий. Книга А.Долина. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Виктор Борисов

Трудно быть богом на Майдане

В последний день и на последнем сеансе в нашем городе я все-таки сделал это — посмотрел «Трудно быть богом» Алексея Германа и вот что я вам скажу по этому поводу.

Вышел я из зала — а смотрело со мной еще четыре человека — четыре парня осталось от первоначальных 15-20, остальные ушли вскорости после начала — и чуть не всплакнул от охватившего меня чувства умиротворения, облегчения и надежды на светлое будущее. Не вышло у Германа ни хрена!!! Не получилось! Ему не удалось оправдаться перед самим собой, и другим он тоже не смог помочь! Так и ушел, хлопнув дверью, плюнул нам под ноги — пропадите вы пропадом все! Ненавижу!!!

Не получилось... А я ведь боялся, до последнего оттягивал, ноги не несли... Хорошо-то как!

Вы думаете, в деньгах дело было, что он так долго снимал? Нет, не в деньгах — он остановиться не мог, он надеялся, что материал, форма, выступление это визуальное, помогут, щелкнет что-то внутри и все встанет на свои места и как-нибудь так сложится и оправдается и вот еще чуть-чуть добавить мерзости, перешагнуть за пределы допустимого, выблевать из себя остатки брезгливости и полегчает, наступит просветление и спокойствие, отпустит и перестанет кружиться в голове... Не может быть, чтобы не получилось, зачем тогда это все?! Зачем?! Жизнь моя и вера моя, и любовь моя к отцу, и ко всему, чем я жил и ненависть моя, всосанная с молоком матери и которая вела меня по жизни и все оправдывала и давала надежду и смысл и то, что получилось в итоге, зачем?! И надо уходить, и все уходит, и уже нет сил и остроты чувства, и надо все грубее и нестерпимее, чтобы дрогнуло, чтобы опять ненависть и ярость проснулись и висок вздулся от желания и веры... Господи, почему все плывет, почему все уходит?! Огня! Огня!!! Я ничего не вижу...

Вы ищите смыслы в этом фильме? А они не там. Они здесь, в нашей жизни сегодняшней и вчерашней. Они на Майдане, в Крыму, в нашем будущем. А в фильме их нет. Там нет победного прыжка, там нет рекорда, там нет триумфа и оправдания. Там только «заступы» и неудачные подходы. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

Читатель, тебе надо знать, какие скрытые смыслы я лично вижу в этом фильме? Ты хочешь потратить свое время на мою политическую полемику с ВЕЛИКИМ режиссером? Рецензия на фильм «Хроника Арканарской резни» не может быть художественной, она может быть только политической. Только политической. Точно так же, как «Черный квадрат» Малевича не может быть оторван от времени и страстей человеческих, его породивших. Сам по себе он — дерьмо унылое, но как символ ярости и ненависти беспредельной ко всему окружающему Малевича, да, это событие. Это манифест. Ты его принимаешь, как манифест, или не принимаешь. А стоимость его в долларах на сегодняшний день — это для интеллектуального быдла, для богатых простецов. Для творческих и духовных неудачников. Возомнивших о себе. И, кстати, для них это тоже манифест — если так можно ЕМУ и ТОГДА, то, значит, можно и мне и теперь?! Закатать холст валиком, или того интересней, закачать в задницу краски цветной да и дунуть нетленку для «Сотбис»... Тоже ведь, животворящая идея, надежду и оправдание порождающая. Малевич-то, хотел разрушить, а эти хотят нажиться! Он-то стебался, в лицо успешным харкал, а эти — всерьез, друг другу, ячмень лечат!

Чего я боялся, идя на этот фильм? Конечно, не сблевнуть попкорн, который мои соседи пытались жрать вначале, запивая кока-колой. Я так про себя хохотнул, когда запах в темноте почуял, ну думаю, это вы ребята, удачно зашли. Нет, я боялся, что Герман, великий Герман, сможет что-то такое сказать, как в «Проверке на дорогах», как в «Мой друг Иван Лапшин», такое скажет, что защежит внутри тоскливо и прав он окажется со своим отцом и с моими нынешними товарищами, и не надо было держать блокаду, а надо было сдать Ленинград, и не надо было возвращать Крым и, самое главное, правильно свалили Советскую власть и Советский Союз разрушили. И это правда, что нет никакой разницы между Сталиным и Гитлером, между коммунистами и фашистами, и Ленин хотел погубить Россию, и желал победы немцам, а нам поражения. И что моя страна, превращенная в ничтожество во всех смыслах и мои дети, и мои внуки, и я сам, потерявший смысл жизни сейчас и обреченный на тоску и безысходность в будущем — вот это все теперь навсегда, и это и было то, ради чего он, Герман и Стругацкие и многие, многие книгочеи жили и ненавидели. Что правы Солженицын и баба Лера, и Америка действительно хочет нам добра, и мокрогоубый Егорушка, великий и добрый, и знает, что впереди счастье и радость... Я так боялся, что он, явно перешедший на сторону моих врагов в речах и мыслях, в последние годы нелепый и жалкий, вдруг навалится на меня своим величием и талантом и раздавит мою веру и надежду своим фильмом по моей любимой в юности книге, раздавит этим нечеловеческим, предсмертным усилием. Пытаясь отпустить грехи себе, разрушит меня.

Десять лет, десять лет он хотел дать ответ на этот вопрос — главный вопрос, может ли из грязи и вони прорасти счастье и надежда. Может ли личная жестокость, равнодушие и скотство породить добро и справедливость для других, для всех. Вы думаете, дело в Боге? Да дело в Коломойском и Порошенко, во всех этих Фирташах, Дерипасках и Прохоровых, Януковичах и Пономаревых, которые по отдельности бездуховны и безжалостны, а все вместе, соединив свои смрад и вонь — породят розы и лилии.

Этот фильм весь пронизан борьбой с прошлым, весь. Это подведение итогов и проклятие на будущее. Личных, но в то же время, политических итогов, конечно. Целой эпохи, целого сословия. Это не несчастного книгочея топят в нужнике, это Макаревич «смешно дрыгает ногами».

В этом фильме есть фразы, которые многим не будут понятны, но в них суть трагедии Германа и моей радости. Замки, замки, огромные каменные замки, которые привлекли внимание Землян — сытых, благополучных землян, которые так хотели остаться в стороне, быть «над» копошащимся месивом, они же были продолжением вот этой мысли — той мысли, которую так высмеивали Стругацкие в «Понедельнике, начинающемся в Субботу» с опытами по созданию совершенного человека будущего и которые были заложены в идеи «простеца» Хрущева в программе построения коммунизма, и которые заложены в идеи Евросоюза и присоединение Крыма, и попытках присоединить бывшие республики Союза — если есть замки, значит, должно быть и Возрождение, Ренессанс. Да, можно срать прямо на улицу и по углам Лувра, но это не главное, главное — Энциклопедисты, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо, Реформация, Коперник... Накормим Украину и кого еще там — да самих себя к 1980 году досыта, и половину планеты — досыта, чтобы обратно полезло, замки каменные построим и начнется Возрождение, начнется новая жизнь, из грязи появятся ростки нежные... Какой старый и, казалось бы, давно решенный спор... Вот о чем фильм, ребята. Вот что хотел сказать себе и нам Герман, над чем мучился, зачем ему была нужна вся эта грязь и вонь. Он хотел дать нам надежду и сказать — не бойтесь, это не главное, это временно, потом будет по-другому. И не смог, даже попытаться не смог!!! Он все-таки оказался честным, в своем бессилии честным. Талант не дал. Он

его десять лет топтал, корежил — меня все время не покидала мысль — как Ярмольник все эти годы жил? — и не смог. Не вышло. Как хорошо, что не вышло.

Дважды я вздрагивал на фильме — когда понял, что это Майдан — по сути и по образу, есть там один кусок — но об этом Герман не мог знать, просто логика жизни на это вывела и потом еще раз, перед тем, как Румата пошел убивать, у него с Вагой-колесом разговор состоялся — я аж напрягся — ну вот сейчас, вот сейчас Герман меня погубит, я же понимал, что это сам Герман говорит, а не Дон Румата и не Вага-колесо за ним пришел, а за Германом, за всеми ними, за мной, за его отцом и его друзьями, за Иваном Лапшиным пришли — те, которые Путины, Кастро, Сталины, Власть за нами пришла и зовет и обещает, и мы должны ответить и... Отпустило... Не смог ничего Герман сказать, точнее, оправдать себя не смог. Сказал, как есть — «Ты же снова землю своим раздашь» и просто засадил стрелу из арбалета молодой арканарке, рыжей и немойтой, в затылок, так что через зубы вышла и кровь пульсировала черно-белая. Это он может. Так как он — не может никто. И что, эта стрела все оправдала? Все, что потом Румата сделал и с чем остался жить на Арканаре, по Герману? Он же не вернулся на Землю, он стал таким, как все. Выпил самогону, курнул трубку, заиграл на трубе и поехал по зимней России. В н-и-к-у-д-а. Вы посмотрите, это же наша Родина, это совсем не Арканар.

Да, так, к слову — от Стругацких там нет ничего, точнее, есть, конечно, но так, чисто схематически, даже не знаю, зачем. И фильм по-другому Герман хотел назвать и правильно хотел. Да и нет его, фильма — ну что сынок его, доведший ленту до экрана, может понимать в этих битвах титанов? Это же не рекламные клипы снимать, или там «Сволочи». Да и ответ свой они Ваге-Колесуужадали, их отцы — думали, что еще нет.

Вот и замкнулся круг. В «Проверке на дорогах» человек же тоже предал? Он же стоял на вышке за пулеметом? Стоял. Но мучился? Да, мучился, десять лет волком выл. Но смертью, смертью-то своей искупил! Ведь шипел снег на раскаленном стволе MG-42 и пороховой гарью воняло в зале!!! Значит, там была еще у Германа надежда, была правда и вера. Тогда он выиграл спор, надо было взрывать мост над баржей с военнопленными или не надо было... Тогда, но не сейчас.

И еще одну вещь Герман сделал — он своих товарищей по цеху, книгочеев, соль земли русской, интеллигенцию нашу, либералов-белоленточников — заставил убить друг друга. Ни за понюх табаку — из-за теоретического спора, кто что про другого в книжке сказал. Судя по всему — не любил товарищ Герман своих братьев по цеху, не любил. А за что их любить-то?

Запахи. Это древнее чувство, минеральное, не живое, первое из доступных живой материи. Первый, размножившийся кусочек протоплазмы жил в минеральном растворе и чувствовал минеральными растворами. Чем начиналось, тем и заканчивается. Человек, умирая, последнее, что ощущает и помнит, это запахи. Последнее. Фильм черно-белый. Смерть черно-белая тоже. И запахи — он весь пропитан запахами — весь его визуальный и звуковой ряд пропитан запахами. Он просто смердит, он смердит страхом смерти и бессмысленности жизни и ухода его творца. Я не молодой человек, я видел смерть в разных ее обликах. Перед последним вздохом человек выпускает из себя все свое скрываемое от других нутро. В младенчестве человек искренен и открыт, и перед смертью облегчает свое бременное тело, нутро свое разжимает. И перед боем, кстати, тоже. Как перед смертью. Герман выплеснул на нас все, что накопил за эти годы. Нюхайте. Идите и смотрите.

Алла Боссарт

Кино в России больше, чем кино?

Светлана Кармалита сделала подарок «Новой газете» на 20-летие — показала нам «ТББ» еще без сведенной озвучки, полтора года назад. Я приехала специально из Израиля — ну, конечно, на юбилей родной газеты, но отчасти — из-за фильма, которого вместе с тысячами фанов Стругацких и Германа ждала 15 лет.

Наш просмотр, наверное, сильно отличался от того, который описывает Виктор Борисов. Зал битком, свои люди, все понимают друг друга и говорят в принципе на одном языке. Атмосфера зала сильно влияет на отношение к тому, что происходит на экране (или сцене). Главным в той, нашей, атмосфере было желание понять: и фильм, и Германа, и обстоятельства, которые не давали режиссеру закончить картину 15 лет. У нас не было предвзятости, с которой шел в кино мой оппонент. Ни я, ни мои товарищи не ждали от Алексея Юрьевича никаких оправданий. Мы, как уже было сказано, ждали фильма. ФИЛЬМА. А не акции.

И, хотя и не все, но многие его увидели. Я, например, увидела и услышала высказывание художника, которому нечего терять. Он подошел вплотную к концу своего пути и сказал то, что можно сказать, только глядя в глаза собственной смерти. Такая ситуация не располагает к политическим разборкам. Я благодарна Герману прежде всего за то, что он ушел, наконец, от судеб России, от своих гениальных трактовок, а вернее, переводов с советского средней прозы отца и напрямую заговорил о том, что на самом деле мучило его всю жизнь: что есть человек, созданный якобы по образу и подобию Божьему. И если это так, если это — действительно Его образ и подобие, почему человек несет смерть всему живому (себе — в первую очередь) и, по ходу развития прогресса, все эффективнее?

Для ответа на этот вопрос не сыскать более подходящего текста, чем «Трудно быть богом». И напрасно уважаемый Виктор Борисов облегченно вздыхал от того, что у Германа ничего не получилось. Получилось. И, наверное, даже лучше, чем кому-то хотелось бы.

Замысел фильма вызревал полвека. И, будь он снят тогда, когда был задуман, имели бы мы (хотя и на полке) кино, адекватное роману: о генезисе фашизма, о том, что на смену серым всегда приходят черные, а также, возможно, и о победе над всем этим того прекрасного, что Стругацкие условно называли коммунизмом — Разума и Справедливости, с довольно больших букв.

Я очень любила этот роман. И только после по-настоящему мучительного просмотра, мне открылась неправда текста, привычного и вошедшего в сознание со всем паршивым миром мрачного, но закономерного средневековья, реконструированного Стругацкими. Неправда как заблуждение шестидесятников.

Верю тем, кто заливался слезами над словами Руматы-Ярмольника «жалость переполняет мое сердце». Как верю и тому, что именно эта реплика утвердила Германа в решении взять на главную роль Ярмольника — с учетом бесконечной строгости и разборчивости мастера к выбору всего вообще. Кто-то даже написал по поводу этой ключевой фразы: «Сердце мое переполняет жалость — так мог бы сказать сам Герман».

Но ведь жалость к людям планеты, над которой Румата призван был Землей осуществлять свой божественный контроль, «переполняла его сердце» только до той минуты, пока не была убита его возлюбленная (жуткий кадр, невозможный в описании романтиков Стругацких — наконечник арбалетной стрелы, пробившей череп, торчит из носа...). Румата оставался не только всего лишь человеком, — он, испытывая ужас и презрение к себе, погружался в скотство — процесс, который земная «базисная теория феодализма» считала обратимым. И это — первая ошибка (или неправда) романа.

Совершенно гамлетовская, безнадежная интонация, с которой Румата отвергает

просьбу лекаря Будаха (Господи, если нет другого выхода, истреби нас, преврати в пыль и грязь и создай заново), — вот главная правда и послание фильма. Сердце любимого героя Стругацких (на стадии «ТББ» — коммунара, позже — прогрессиста) Герман наполняет тем, чем полно его собственное сердце. Яростью — бессильной и безнадежной. В этом Виктор Борисов прав. Но ярость Германа не продиктована ненавистью, с которой он «хлопает дверью и плюет нам под ноги». Его ярость — от мудрости. От понимания природы человеческой. Потому любовь Руматы и Киры — не пасторальная любовь двух существ ангельской природы, описанная Стругацкими — а грубое, плотское, порой скотское обладание самца и самки.

«Трудно быть богом» Ярмольник назвал едва ли не самой точной формулировкой в названии книг мира. Однако есть по меньшей мере два мировых хита, идеи которых сформулированы гораздо точнее. «Божественная комедия» и «Человеческая комедия» же. Черная, как квадрат Малевича, комедия Божественного Промысла и человеческого бытия в том, что Бог не может совладать с порождением своей фантазии — как и человек во власти судьбы оказывается рабом самых низменных своих страстей.

Я думаю, кстати, что «Черный квадрат», который В.Борисов сегодня наполняет манифестарным политическим смыслом, к политике имеет так же мало отношения, как имел к ней сам Малевич, да и все большие художники. «Черный квадрат» (как и другие его квадраты) — итог размышлений Малевича о философии и психологии искусства. О мере человеческих возможностей. О Боге и смерти. Да, и о революции — но не о той, которую мы проходили в школе. Под Революцией художник понимает глобальный взрыв. Не гуманитарную даже, а космическую катастрофу. (Это не домыслы, существуют дневники и множество теоретических трудов Малевича.)

Беда российского зрителя, читателя, вообще потребителя художественного продукта в том, что он сидит и с лупой выискивает «политические смыслы» в любом тексте. Всякий раз ищет подтверждения формуле «поэт в России — больше чем поэт». А не найдя, радостно восклицает: у него НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

Это занятие столь же продуктивно, как искать пресловутый черный квадрат в темной комнате (в нашем случае — в черно-белой) — при условии, что его там нет.

Богом быть не *трудно* — это всего лишь человеческая оценка. Быть им невыносимо, безнадежно и пагубно. Несколько лет Герман держался собственного названия — «Хроника Арканарской резни», указывающего на то, что это — именно хроника. Как способ съемки и как течение болезни. Ужас не в том, что на экране выпускают кишки, ноги чавкают в нечистотах и крови, в сером тумане болтаются удавленники, а в лужах плавают отрубленные головы. Ужас в том, что это — удел человечества. Слишком много грязи? Крови? Испражнений? Я больше скажу: только — грязь, кровь и дерьмо. Потому что только это является смазкой колес истории. А такова она (смазка и история) потому, что — «се человек». От зловонных пеленок до смердящего савана. Это знал Данте. Это знал Босх. И грандиозная мука, мучительное величие фильма Германа в том, что еще один мастер, спустя четыре века, решился показать неизменный ад человеческого бытия. Хотя и не решился его назвать.

А словами сказал он то, что сказали Стругацкие в своей полуправде — мол, на смену серым приходят черные. Звонкая фраза для молодых доверчивых журналисток. Фашисты, гений серости дон Рэба, король ночи Вага-Колесо, исторические законы, прописанные Стругацкими в декларативных диалогах Руматы с бунтарем Аратой Горбатым (у Германа — властолюбивым убийцей) и гениальным лекарем Будахом (измученным у Германа аденомой простаты) — нет, нет, не об этом написали бы — и, кстати, написали («Град обреченный») — Стругацкие в пору зрелости. Алексей Юрьевич Герман, которого, я думаю, многие из нас справедливо числят по разряду гениев, сделал фильм не о мрачном средневековье какой-то там планеты, для фальшивого бога которой всегда есть запасной аэродром Земли. И не об опасности для Земли «серых» и «черных» сил. А о том, что Земли-то никакой обетованной нет. И Румате некуда возвращаться.

Вместо разноцветного, голубого и зеленого, красного и золотого полдневного многоточия Стругацких — Герман увидел жирную серо-черную точку. Впрочем, не лишенную богатых оттенков этих цветов. И это оказалось так жутко, что даже бесстрашный Мастер целых пятнадцать лет не мог, не смел ее поставить.

Какой там к черту Майдан, Крым, Путин и Янукович...

Особенности русской судьбы

Обсуждение книги Вячеслава НИКОНОВА «Российская матрица»

В заочном «круглом столе» принимают участие Александр Мелихов, Юрий Каграманов, Игорь Яковенко, Михаил Румер-Зараев, Вадим Кирпичёв

Перед тем, как приступить к обсуждению книги¹, считаем необходимым познакомить с ней читателя. Пересказать, хотя бы и кратко, том в тысячу без малого страниц — задача вряд ли осуществимая, а потому предлагаем вашему вниманию обширные выдержки из «Вступления» к ней и «Заключения», которые дают достаточно полное представление об идеях и концепциях, развиваемых в этом масштабном обзоре русской истории.

Россия — неразгаданная тайна

Что отличает Россию от других стран? Одни скажут: соборность, коллективизм, «православие, самодержавие, народность», природный демократизм. Другие — органичный авторитаризм, имперская диктатура, всевластие государства и бесправие общества, вспомнят известные строки Владимира Гиляровского о двух напастьях: «Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти». Все это правда. И все — неправда.

Россия — совершенно неоднозначный феномен, который плохо понимают не только иностранцы, но и всю жизнь прожившие в ней люди. Николай Гоголь поражался в 1845 году, насколько современники не могли или не хотели постигать свою страну: «Велико незнание России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей». Или Россия непознаваема?

«Для нас самих Россия остается неразгаданной тайной. Россия — противоречива, антиномична. Душа России не покрывается никакими доктринами», — утверждал глубочайший знаток России философ Николай Бердяев. Но он же и предлагал свой ключ к познанию страны: «Подойти к разгадке тайны, скрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобождается от лживых и фальшивых идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно как и от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства».

¹ Никонов В.А. Российская матрица. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014.

Но, очевидно, что недостаточно просто констатировать свое непонимание России, восторгаться ее величием или возмущаться ее недоделанностью. Россию можно понять, если постараться узнать: каковы наши особенности, откуда они и насколько они специфичны; на каком свете мы находимся по своим основным параметрам; какое место занимаем в соотношении с основными центрами силы и в отношениях с ними?

Еще Гегель утверждал, что каждое государство есть произведение искусства, поскольку двух одинаковых просто не существует. «Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности — значит делать мир народов очень скучным и серым... Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, значение их, размышление над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы», — подчеркивал академик Дмитрий Лихачев.

Можно ли говорить об одной российской матрице? Разве можно найти что-то общее между современной Россией и обществом, скажем, Киевской Руси?

Хорошо помню, когда у меня в голове вспыхнул этот вопрос. Это было в 1979 году. Меня — начинающего преподавателя и аспиранта-американиста истфака МГУ — пригласили переводить на встрече ректора университета Анатолия Логунова с тогдашним послом США в Москве Хартманом. Беседа не отличалась особой содержательностью. Но в какой-то момент ректор заинтересовался у Хартмана, каким образом он готовился к занятию должности посла. Его ответ мне показался весьма неожиданным. Оказывается, по совету своего наставника — известного историка Ричарда Пайпса — он усиленно штудировал книги по дореволюционной российской истории, чтобы постичь советские реалии. Как?! Ведь Советский Союз — не царская Россия! Ведь мы «отреклись от старого мира», «отряхнули его прах с наших ног». Решительно сломали государственную машину самодержавия и установили Советскую власть, превратились из сельского общества в городское, из аграрного в индустриальное, из верующего в почти атеистическое и т. д. В том же духе рассуждал и академик Логунов: вероятно, Пайпс слишком не любил СССР (что верно), чтобы сравнивать его с царской Россией. Но Хартман настаивал на том, что именно знание ранней истории позволяло ему понять советские реалии.

С тех пор я немало передумал и перечитал на эту тему. У нас были разные модели государственности. Федор Тютчев был прав, когда уверял, что должность русского Бога — не синекура. Однако, вопреки расхожим стереотипам, исторически Россия — крепкое, жизнеспособное и стабильное государство. Одно из двух-трех на планете, которые могут похвастаться пятью веками непрерывного суверенного существования, не прерванного завоеваниями извне или нахождением под чьей-то властью. Стабильность российской государственности подчеркивается и тем, что с момента ее создания и до провозглашения республики — Александром Керенским, который, по иронии судьбы, в тот момент был фактически единоличным нелегитимным диктатором — у нас было всего две царствующие династии — Рюриковичей и Романовых. Меньше из бывших монархий, пожалуй, только в Японии, где со времен принца Иваро, внука лучезарной богини солнца Аматаэрасу и основателя государства Ямато, царствует до настоящего времени только одна династия. В Китае, где счет истории шел по династиям, их набралось (как считать) — около сорока.

За свою более чем тысячелетнюю историю Россия четыре раза терпела подлинные Крушения. Когда разрушались традиционные формы государственности, страна превращалась из субъекта в объект международной политики, становилась полем боя гражданских войн и/или интервенций, несла колоссальные человеческие жертвы, теряла огромные территории, отбрасывалась на десятки лет назад в экономическом развитии. Когда вставал вопрос о выживании ее как государства и нации. Первое Крушение было вызвано внешним завоеванием: в XIII веке раздробленные русские княжества стали добычей монгольского войска. Все последующие Крушения объяснялись почти исключительно внутренними причинами, которые порождали революционные взрывы, ставившие страну на грань существования. Так было в начале XVII века, когда Россия захлебнулась в братоубийственной Смуте. Так было после революции 1917 года, когда Гражданская война унесла миллионы жизней, а государственность была восстановлена методами большевистской диктатуры. Так было в 1991 году, когда развалился СССР (который был формой существования России), сопровождаемый серией гражданских войн, катастрофическим экономическим обвалом на постсоветском пространстве, небывалым геополитическим ослаблением страны. Четыре Крушения, которые Ахиезер, Клямкин и Яковенко назвали «катастрофами российской истории», эти авторы связали с последовательной гибелью киевской, московской, романовской и советской государственности.

После каждого из этих Крушений Россия возрождалась, начинала заново. Каждый раз это была другая Россия. Но только немного другая. Потому что люди оставались теми же, и они воспроизводили во многом прежние ментальные культурные стереотипы. И здесь мы как раз не оригинальны. Элементы разрыва, моменты крушений встречались у всех наций и государств, причем даже чаще, чем в России. Но они не теряли своего лица, своей матрицы. Если, конечно, вообще не исчезали с лица Земли. Генетический код нашего общества — как японского или китайского — оставался во многом неизменным. Великий историк Василий Ключевский неоднократно указывал на удивительную повторяемость российской истории. По мнению яркого философа-эмигранта Георгия Федотова, «как ни резки бывают исторические разрывы исторических эпох, они не в силах уничтожить непрерывности. Сперва подпочвенная, болезненно сжатая, но древняя традиция выходит наружу, сказываясь не столько в реставрациях, сколько в самом модернистском стиле воздвигаемого здания».

Даже такой разрыв в традиции, который представлял собой приход к власти большевиков, постаравшихся всерьез «отречься от старого мира», не разрушил преемственности. Как заметил тогда же наш великий поэт и мыслитель Максимилиан Волошин:

Мы не вольны в наследии отцов,
И вопреки бичам идеологий
Колёса вязнут в старой колее.

Спустя несколько десятилетий величайший знаток цивилизаций англичанин Арнольд Тойнби напишет: «Нынешний режим в России утверждает, что распрощался с прошлым России полностью, если не в мелких, несущественных деталях, то по крайней мере во всем основном, главном. И Запад готов был верить, что большевики действительно делают то, что говорят. Мы верили и боялись. Однако, поразмыслив, начинаешь понимать, что не так-то просто

отречься от собственного наследия. Когда мы пытаемся отбросить прошлое, оно — Гораций знал, что говорил, — исподволь возвращается к нам в чуть завуалированной форме».

Разрушение СССР и создание Российской Федерации тоже не разрушили матрицу. Авторы академического исследования советского наследства в современных социально-экономических практиках приходят к выводу: «События прошлого оказывают фундаментальное влияние на жизнь людей, снабжая их материальными ресурсами и базовыми духовными ценностями, в то же время структурируя (порой ограничивая, а порой расширяя) набор поведенческих альтернатив, доступных для выбора в каждой конкретной ситуации. Эта идея лежит в основе общего принципа, согласно которому "прошлое имеет значение" как для отдельных индивидов, так и для надындивидуальных общностей, таких, как семьи, общественные группы и национальные государства».

Митрополит Иоанн о постсоветском времени менее научно, но более эмоционально напишет: «*Правда же такова*: безбожный коммунизм терзал Россию, паразитируя на многовековых русских общинных традициях, на прочной народной приверженности к коллективизму и взаимопомощи, на всеобщей могучей русской тяге к социальной справедливости. Бессовестная демократия собирается терзать ее, паразитируя на древних вечевых соборных обычаях Руси, на исконном уважении русского человека к общему мнению, совместно принятому решению, коллективному разуму Собора».

Россией, если можно так выразиться, много. Существует очень большой плюрализм этносов, идеологий, географических зон. Но Россия одна как цельный (или цельный именно в своей плюралистичности) организм. В его основе лежит цивилизационный, культурный генетический код, закладывающий основу общей российской матрицы. «Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная система со своими историческими дарами и заданиями. Мало того, за нею стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели... Каждый народ творит то, что он может, исходя из того, что ему дано. Но плох тот народ, который не видит того, что именно дано *именно ему*; и потому ходит побираясь под чужими окнами», — подчеркивал философ Иван Ильин.

Для многих аналитиков зависимость настоящего от исторического пути не больше, чем метафора, из которой может, в лучшем случае, следовать вывод о необходимости учиться на ошибках истории. Для других сама эта идея кажется весьма опасной, если не реакционной, призывающей мириться с неэффективными институтами, отсталостью и безобразиями под предлогом некой заданности этих явлений изначальным историческим кодом. Но для множества серьезных людей во всем мире культурная матрица различных стран, народов и цивилизаций является предметом тщательного анализа. Потому что это тот фундамент, на котором предстоит строить будущее.

К счастью для России, понимание российской специфики и необходимости ее учета существует в самых различных общественных слоях, если исключить крайних западников, которые считают, что у всего человечества был, есть и может быть только один — западный — путь развития (хотя, что это за путь, они вряд ли толком объяснят, как не обратят внимания и на различия между самими западными странами). Либерал Александр Архангельский уверен, что «те политические, экономические, военно-стратегические, инженерные, экологические

решения, которые запросто проходят с США, потому что соответствуют общепринятым взглядам данного общества, будут отвергнуты в Дании и Швеции. Равно как и наоборот. Тот хомут, который по шее французам, будет немедленно сброшен чилийцем. Поэтому сейчас, когда модернизация кажется единственным шансом для России выскочить из цивилизационного тупика, необходимо выяснить: какова же наша картина мира? в чем заключается наша традиция? каковы ее константы, и есть ли они в принципе?». Владимир Якунин — глава РЖД и Фонда Андрея Первозванного — уверен: «Навязывать современной России формулы успешности иных цивилизаций противопоказано ее успешности».

Жанр этой книги — скорее эссе. Поэтому прошу не судить меня строго тех, кто рассчитывал прочесть серьезный научный трактат. «Когда ищешь способ уяснить себе запутанные исторические сложности, весьма притягательной видится идея иронии. Ироническое чутье прокладывает путь где-то посередине между абсолютно исчерпывающими объяснениями исторической науки XIX в. и абсолютной абсурдностью многих современных суждений», — замечал выдающийся американский русист Джеймс Биллингтон, много лет заведовавший Библиотекой Конгресса США. Наша жизнь и история, как и в других странах, полна иронии. Поэтому иногда неврдно посмотреть на себя слегка (только слегка!) ироничным взглядом.

Матрица. Немного историографии

Матрица в моем понимании — феномен цивилизационный. В латыни слово *dvilis*, от которого и происходит «цивилизация», означало гражданский, государственный, политический, достойный гражданина. Именно в этих значениях термин вводился в употребление французскими просветителями XVIII века, выступавшими за развитие гражданского общества, в котором царствуют свобода и право. Первым этот термин употребил экономист Тюрго в 1752 году, а в печатное слово его воплотил маркиз Мирабо — отец известного революционера, — определявший цивилизацию как «смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания, распространяемые для того, чтобы соблюдать правила приличий». То есть изначально речь шла о некоем продвинутом состоянии культурного и интеллектуального развития. В схожем смысле — как этап в человеческом прогрессе, наступивший за дикостью и варварством, — определяли цивилизацию Льюис Морган, Карл Маркс или Макс Вебер. Таким образом, под цивилизацией в основных языках мира нередко понимают высокий уровень культуры и/или развития страны или общества.

О цивилизациях во множественном числе заговорили в первой половине XIX века, когда появились труды Генри Бокля «История цивилизации в Англии», Франсуа Гизо «История цивилизации во Франции» и Рафаэля Альтамира-и-Кревеа «История Испании и испанской цивилизации». В этих книгах цивилизация, по сути, отождествлялась с нацией с ее специфической культурой, ментальным складом, историей, языком. Однако к тому же времени относилась уже и «История цивилизации в Европе» того же Гизо.

Весьма серьезен и сильно недооценен вклад в теорию цивилизаций русских авторов. Далеко за страновые рамки ее вывел в 1869 году идеолог панславизма Николай Данилевский в книге «Россия и Европа», где предложил четыре закона исторического развития:

1. Всякое племя или семейство народов, характеризующееся отдельным языком или близкой друг другу группой языков, составляет самобытный культурно-исторический тип.

2. Чтобы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, принадлежащие к ней народы должны быть политически суверенными.

3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя под большим или меньшим влиянием других цивилизаций.

4. Цивилизации тогда достигают высокой стадии развития, когда составляют федерацию или политическую систему государств.

Данилевский выделял десять культурно-исторических типов, уже развившихся в самостоятельные цивилизации. Одиннадцатым типом, восходящим на арену мировой истории, он считал славян. Определяющим для классификации цивилизаций Данилевский называл язык и расу.

В начале XX века цивилизационный подход — представление об истории как совокупности и чередовании социокультурных систем, порожденных конкретными условиями существования обществ, — стал весьма популярным. Его развивал Питирим Сорокин, предложивший, на мой взгляд, наиболее исчерпывающий перечень критериев, отличающих одну цивилизацию от другой. Каждая из них включает в себя идеологическую совокупность смыслов, объединенных в системы языка, науки, религии, философии, права, этики, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, экономических, политических, социальных теорий; материальную культуру, предметно воплощающую эти смыслы; а также — действия, церемонии, ритуалы. Каждая цивилизация рождается, достигает расцвета и умирает, уступая место новой. Исторический процесс — последовательность уникальных цивилизаций.

Серьезно взбудрил теорию цивилизаций Освальд Шпенглер, чья книга «Упадок Запада» (в русском издании — «Закат Европы») произвела в европейском интеллектуальном мире эффект разорвавшейся бомбы. «Цивилизация — это неизбежная судьба культуры, — полагал Шпенглер. — Здесь оказывается достигнутой вершина, с которой становятся разрешимыми последние и труднейшие вопросы исторической морфологии. Цивилизации — это наиболее крайние и наиболее искусственные состояния, на которые только способен человек высшего рода». Выделив семь крупнейших в истории — египетскую, китайскую, арабскую, греко-римскую, мексиканскую, семитскую и западную, — он измерил средний жизненный цикл цивилизации, составляющий около 1000 лет, и эпатировал публику предсказанием неизбежной гибели западноевропейской цивилизации, подобно тому, как погибли ее величайшие предшественницы. Шпенглер доказывал множественность путей развития, способность каждой из цивилизаций вносить вклад в развитие человечества...

Вторая мировая война, когда был продемонстрирован впечатляющий раскол внутри западной цивилизации, а основатель школы «Анналов» Марк Блок был расстрелян в гестапо; и «холодная война», чьи идеологические фронты пролегли по всем странам и континентам и даже внутри отдельных государств (Германия, Корея, Вьетнам), заметно дискредитировали цивилизационный подход. Ее отвергали по обе стороны «железного занавеса». На Западе она мешала сфокусированному взгляду на мир как на поле битвы между силами демократии и тоталитаризма. В Советском Союзе — противоречила взгляду на историю как арену борьбы классов.

Цивилизационная теория вернулась в основное русло историософии и геополитической мысли в 1990-е годы после провокационных публикаций Самуэля Хантингтона о конфликте цивилизаций. Хантингтон продолжал настаивать на значимости своей теории, выпустив в 2000 году под своей редакцией (вместе со специалистом по Центральной Америке Лоуренсом Харрисоном) дискуссионную книгу «Культура имеет значение: как ценности определяют человеческий прогресс». В качестве исходного пункта в ней была использована мысль Даниэля Патрика Мойнихена: «Центральная консервативная правда состоит в том, что культура, а не политика определяет успех общества. Центральная либеральная правда — политика может изменить культуру и спасти ее от самой себя». Харрисон подхватил традицию в «Центральной либеральной правде», где, по сути, поставил знак равенства между цивилизацией и культурой. Под последней он понимает совокупность «ценностей, верований и отношений, определяемых, главным образом, окружающей средой, религией и поворотами истории, которые передаются от поколения к поколению, в основном через практику воспитания детей, церковной службы, системы образования, средства массовой информации, отношения со сверстниками».

Под цивилизационной матрицей я буду понимать длительно существующую социокультурную общность, которую объединяет:

- место обитания, особенно важное в период зарождения обществ и цивилизаций;
- устойчивые черты общественно-политической организации, взаимоотношений между государством и обществом;
- психологическое чувство принадлежности к этой общности, самоидентичность;
- осознанная элитами геополитическая общность;
- система отношений государства и религии;
- особенности культуры;
- система ценностей;
- поведенческие стереотипы, порождаемые типом ментальности;
- языковая и расовая близость;
- сложившаяся система взаимодействия с внешним миром.

Применительно к западному обществу вопросы, связанные с его матрицей, можно считать достаточно хорошо проработанными. Ответы на вопросы о том, каковы отличительные черты западного общества, какие компоненты его исторического опыта могут считаться определяющими в его генетическом коде, расходятся в деталях. Но поколения исследователей достаточно едины в определении ключевых институтов, обычаев, событий и идей, которые можно считать стержневыми для западной цивилизации...

Можете задать справедливый вопрос: почему автор предлагает оттолкнуться от европейской матрицы, а, скажем, не от азиатской? Во-первых, потому, что западная матрица является гораздо более четкой и определенной. Запад представляет единую цивилизацию. Сейчас термин «Запад» чаще всего обозначает то, что раньше называлось западным христианством (кстати, это единственная часть человечества, которая определяет себя по части света, а не по названию какого-либо народа, религии или области). Азия является родиной многих отчетливых и очень разных цивилизаций — китайской, индийской, исламской как минимум...

Во-вторых, Россия гораздо ближе к Европе, чем к Азии, кто бы и что бы ни говорил. У нее есть азиатские черты, которые мы еще отметим. Но мейнстрим

российской государственной, политической, философской мысли всегда стремился постичь сходство или различия именно с Западом. Интеллектуально и политически Россия была развернута на Запад. «Европа — это зеркало России, через Европу Россия самоидентифицируется», — справедливо замечал философ Олег Матвейчев. Многие считали и считают Россию Западом или полагают, что она должна стремиться стать его частью. Но очень немногие считают Россию азиатской страной или призывают таковой стать.

Россия — цивилизация или нет?

Вопрос о цивилизационной принадлежности оказался в центре внутрироссийской интеллектуальной дискуссии с 1820—1830-х годов и с тех пор никогда из нее не исчезал. Мнение об уникальности российской модели доминировало вплоть до конца XIX века. Его поддерживал Александр Пушкин, написавший в октябре 1836 года Петру Чаадаеву: «Нет сомнений, что Схизма (разделение Церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».

Представление о «совершенно особом» существовании России в равной степени разделяли и такой последовательный славянофил, как Киреевский, и такой крайний западник, как Виссарион Белинский, которого Герцен назвал «фанатик, человек экстремы» именно за ненависть к славянофилам. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский выражал удовлетворение, что «мы наконец поняли, что у России была своя история, несколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего европейских народов». Но выводы из этого обстоятельства делались диаметрально противоположные. Для славянофильства в его крайней форме своеобразие российской традиции означало органическую вредность и невозможность внешних заимствований. Западники же полагали, что все народы проходят одинаковые ступени общественного развития и специфика России состоит лишь в том, что она находится внизу лестницы, тогда как Запад — наверху...

К концу XIX века появлялось все больше исследований, в которых доказывалась тождественность российского и западного опыта. Борис Чичерин уверял, что «славянский мир и западный при поверхностном различии явлений представляют глубокое тождество основных начал своего быта» в Средние века. Николай Павлов-Сильванский устанавливал «тождество основных начал устоя удельной Руси и феодальной Европы». Особенно ярко эта точка зрения нашла отражение в социалистической мысли (Георгий Плеханов, Владимир Ленин),

которые сделали вывод о России как просто отсталой западной стране и слабом звене в цепи империализма.

Георгий Федотов склонен был видеть разную цивилизационную природу России в различные периоды ее истории: «Сперва в Киеве мы видим Русь, свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро (в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха — от Петра до Ленина — представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи».

Следует заметить, что все обозначенные позиции с легкостью можно найти в современной России, что отражает не столько похвальный плюрализм мнений, сколько очевидный идентификационный кризис. Попробуем классифицировать весь спектр мнений.

Россия — Европа. Так думают многие, начиная с Екатерины Великой, которая начала первую главу своего наказа Уложенной комиссии словами: «Россия есть держава европейская». И добавила: «Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобства, каких он и сам не ожидал». У двух третей россиян нет проблем с европейской самоидентификацией, правда, она не является основной.

Россия — недоразвитая Европа. Эта позиция, всегда доминировавшая в западном мышлении (квинтэссенция — маркиз де Кюстин), в России распространилась с Петра I, видевшего в Европе будущее страны и образец для подражания. Россия постоянно отстает от Запада и поэтому обречена использовать догоняющую модель развития. Наследники этой позиции — все западники, диссиденты, критики существующих порядков. Она лежала в основе перестройки Михаила Горбачева и реформ Бориса Ельцина. Егор Гайдар писал о «вечно догоняющей Запад цивилизации».

Россия — особая часть Европы. Президент Дмитрий Медведев говорил о России как одном из трех столпов европейской цивилизации, другие два — страны Европейского Союза и Соединенные Штаты. Этой же позиции отдавал дань и министр иностранных дел Сергей Лавров: «Россия мыслит себя как часть европейской цивилизации, которая имеет общие христианские корни... На политическом уровне востребовано равноправное взаимодействие трех ее самостоятельных, но родственных составных частей». Другими словами, но практически ту же мысль разделяет святейший патриарх Кирилл: «Фундамент европейской цивилизации, частью которой является Россия, зиждется на двух краеугольных камнях: на греко-римской традиции философского осмысления мира и на библейском откровении». При этом он подчеркивает, что «подлинно европейский путь предполагает не подражание чужому, но осознание собственных европейских корней и возвращение к ним с учетом конкретных культурных и исторических условий».

Позиция Владимира Путина немного отличается в пользу большего евразийства. В одной из своих предвыборных статей 2012 года он писал: «Россия может и должна сыграть роль, продиктованную ее цивилизационной моделью, великой историей, географией и ее культурным геномом, в котором органично сочетают-

ся фундаментальные основы европейской цивилизации и многовековой опыт взаимодействия с Востоком».

Россия — самостоятельная цивилизационная общность. Владимир Хорос из Института мировой экономики и международных отношений РАН, который координирует проект «Цивилизации в глобализирующемся мире», склонен считать Россию отдельной локальной цивилизацией — ни «православной», ни «восточноевропейской», а именно «российской», — для которой характерны «социокультурная конгломеративность, различные цивилизационные составляющие... Первое, это то, что было заимствовано (и по-своему осмыслено) из Западной Европы, а второе — это те ценности и институты, которые рождались как способ приспособления этноса, а затем и суперэтноса к экологическому и хозяйственному пространству». С такой позицией соглашается Николай Козин, который видит в России «самобытный и самодостаточный культурно-цивилизационный феномен, который может быть идентифицирован только с собственными этнонациональными и локально-цивилизационными основами». Философ Виктор Шаповалов с факультета госуправления МГУ также уверен, что Россия «издавна была самостоятельной цивилизацией и остается ею до сих пор». Такой точки зрения придерживается большое количество славянофилов, евразийцев и либералов-изоляционистов.

Россия — связующее звено между Западом и Востоком. Позиция весьма популярная в евразийских кругах. Развернутое обоснование России как евразийской цивилизации можно найти, например, в одноименной книге И.Б.Орловой, которая отмечала культурно-историческую общность народов, на протяжении тысячелетия взаимодействовавших на «срединном континенте», раскинушемся между Китаем, Тибетом и «западным полуостровом Европой».

Культуролог В.В.Попов еще больше усложняет картину, утверждая: «Российская цивилизация — это сложившийся сплав исторических связей русского народа с другими группами восточных славян, с народами уральской, финно-угорской группы, с алтайской (особенно тюркской), кавказской, с народами Евразии, Западной, Центральной, Восточной Азии, с тихоокеанской культурой. В конфессиональном плане это взаимодействие православия с Западом: католицизмом, протестантством, а на Востоке — с северным исламом (Поволжье, Кавказ, Дагестан, Сибирь) и северным буддизмом и ламаизмом, а также со многими верованиями — шаманизмом, язычеством народов Крайнего севера».

Россия — анти-Запад. Россия традиционно Запад не любила и с ним боролась. Этой позиции придерживались некоторые из славянофилов, многие из большевиков и западных русофобов. Сергей Кара-Мурза уверен: «Россия выросла как альтернативная Западу христианская цивилизация. Она по важным вопросам бытия постоянно предлагала человечеству иные решения, нежели Запад, и стала его экзистенциальным оппонентом положения». И эти решения нередко были более удачными, чем западные. «Не было костров, на которых в Европе сожгли миллионы ведьм. Не было Варфоломеевских ночей, не было алхимии и масонства (если не считать мимолетных увлечений элиты. Не было "огораживаний", очистки целых континентов от местного населения, работорговли, которая опустошила Западную Африку. Не было "опиумных войн", не было русского Наполеона и русского фашизма — колоссального "припадка" Запада».

Россия — сверх-Европа, будущее Европы, а Европа и Запад в целом — вчерашний день России. Это воззрение было особенно популярно в Советском Союзе, в годы успехов индустриализации, победы над фашизмом, создания ядерного оружия и первенства в космосе. «Россия стала воплощением не отсталого азиатского прошлого, а прогрессивного советского будущего, — описывал эту идеологию Хантингтон. — На самом деле революция позволила России перепрыгнуть Запад, отличиться от остальных не потому, что "вы другие, а мы не станем как вы", как утверждали славянофилы, а потому, что "мы другие и скоро вы станете как мы", как провозглашал Коммунистический интернационал».

Россия — Восток, выдвинутый в Европу ударный бастион Великой степи. Такую — не самую распространенную — точку зрения разделяют немногие российские мусульмане и отдельные русские националисты.

Россия — мечущаяся цивилизация, которая преодолевает инверсионный путь развития, постоянно поворачивает от западной ориентации к восточной. Наиболее развернутое обоснование этой концепции можно найти у Александра Ахиезера.

Россия — историческое недоразумение. Такое мнение берет начало с Петра Чаадаева, видевшего миссию России в том, чтобы показывать остальному человечеству пример того, как не надо поступать. «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя», — считал он. С такими взглядами можно легко столкнуться в современных либеральных и интеллигентских кругах России. Читаем, например, у широко издаваемого, в том числе на Западе, писателя Виктора Ерофеева: «Нас трудно назвать евразийцами. Мы не соединяем две культуры, а внутренне враждебны обеим. С большим основанием можно сказать, что нас нет».

Пройти между авторитаризмом и анархией...

Россия испытала на всех этапах своей истории мощнейшие внешние воздействия. И она их впитывала. «Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества, — отмечал Федор Достоевский. — Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях, что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сам по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям».

Отношение к внешнему миру было весьма сложным. Он воспринимался прежде всего как источник угроз, от которых спасала сильная армия. Восточные и южные страны воспринимались как менее развитые и как постоянный источник угроз. Западные — как более развитые, но ничуть не менее опасные. Но при этом иноземцев опасались и особую осторожность проявляли в вопросах веры. У них многое перенимали, но заимствование носило специфический характер. Юрий Пивоваров отмечал, что природа российской власти «предполагает заимствования, и прежде всего того, чего в русской жизни нет вообще. Но заимствования *функциональные*, а не *субстанциальные*».

Россия заимствовала порядки, как правило, у своего самого сильного противника. Многие были позаимствованы у Византии и монголов. Петр I перенимал шведскую государственную модель, Александр I — французскую военную модель. Форму организации хозяйственной жизни Советская Россия заимствовала у соперника в Первой мировой войне — Германии. Либеральную государственную и экономическую модель Россия заимствовала у главного противника в «холодной войне» — США. Во всех случаях перенятые за рубежом схемы в России работали хуже, нежели оригиналы.

Была ли Россия частью Западной политической системы? На протяжении большей части своей истории — безусловно, нет. Границы Запада с рубежа I—II тысячелетий определялись распространением католицизма, латыни и франкской знати. Вместе с тем Русь, Россия была крупным государством в Европе, играла важную роль на восточной периферии западного мира, не раз становилась объектом устремлений включить ее в этот мир. С правления княгини Ольги Киевская Русь стала предметом соперничества между Византией и Римом, и предпочтение, отданное Константинополю, стало моментом цивилизационного выбора. Контакты с Западом тоже продолжались, закрепляемые и множеством династических браков Рюриковичей, пока не истончились по мере разделения православия и католицизма, перемещения центра русской государственности на северо-восток, а затем и вследствие монгольского завоевания.

Новый раунд попыток вовлечь Россию в западную систему в качестве вассала был предпринят после падения ордынского ига, но он вновь завершился безрезультатно. Именно с этого времени — с начала XVI века — на Западе формируется — остававшийся впоследствии неизменным — образ России как варварского, дикого, безбожного, отсталого и враждебного государства. Еще более существенно, что такое восприятие России становилось частью западной матрицы, страна выступала в роли того антипода, глядя на который Запад возвышал свою систему ценностей в собственных глазах. Отказ от такого образа для Запада означал бы потерю части собственной идентичности. В России, в свою очередь, развился комплекс самоизоляции как реакция на постоянные угрозы извне и как следствие уверенности в своем духовном превосходстве. Самоизоляция даже в XVI—XVII веках не была абсолютной, но контакты с Западом отражали не признание его превосходства или стремление с ним слиться, а, напротив, усиливали притязания на российскую исключительность. В период Смуты чуть не реализовался проект включения в европейскую систему через подчинение Польше и унии с ней, сорванный Мининым и Пожарским.

В строгом смысле слова Запад как система сложился с середины XVII века — с Вестфальской системы, — участники которой не признавали Россию равным партнером, относя ее к числу варварских держав, подлежащих освоению, как американский или африканский континенты. В России же

недовольство западным высокомерием начинает сочетаться с ростом понимания необходимости освоения западного опыта, чем и занялся Петр I. Россия стала великой европейской державой под Полтавой и с тех пор никогда не теряла этого статуса, завоевывая положение серьезного игрока в большой политике Старого Света. Петр предпринял мощную попытку ввести Россию в западный культурно-цивилизационный контекст, и частично ему это удалось, по крайней мере на уровне значительной части элиты. После Наполеоновских войн Россия выступает одним из творцов и основной несущей конструкцией Венской системы и европейского концерта держав, а вестернизация образованного класса достигает наивысшей точки.

С победой большевистской революции впервые в истории в крупной стране к власти пришел режим, не только открыто отвергавший западные ценности, но и предлагавший ему радикальную альтернативу в глобальном масштабе. Советская Россия была исторгнута из европейской системы. Сближение с Западом начало намечаться с приходом к власти в Германии нацистов в 1933 году и оформилось в антигитлеровскую коалицию после немецкого нападения на СССР. По окончании войны Москва оформила свою обширную сферу контроля в ареале исторического Запада, что явилось одной из причин «холодной войны». Другой причиной стала установка американского руководства на глобальное доминирование и предотвращение возвышения державы, способной этому помешать. Советский Союз за семь с половиной десятилетий своего существования никогда не был частью западной системы, даже когда участвовал в работе Лиги Наций или играл ведущую роль в антигитлеровской коалиции. Более того, сама эта система строилась нередко именно против СССР в рамках стратегии «сдерживания» или, уж точно, исходя из стремления держать Советский Союз вне ее рамок. Не войдет страна в западную систему и тогда, когда такая цель прямо ставилась поздним Михаилом Горбачевым и ранним Борисом Ельциным. Обособление России было особенно зримо прочерчено расширением Европейского союза и НАТО, определившим восточные границы Запада.

В отношении цивилизационной принадлежности в современной России нельзя выделить одну синтезирующую позицию. Весь мой анализ заставляет скорее согласиться с Александром Пушкиным и Александром Герценом, Арнольдом Тойнби и Самуэлем Хантингтоном, которые склонны были видеть в России и ее ближайших окрестностях самостоятельную цивилизацию. Специфика России очевидна. Историческое движение страны, раскинувшейся на огромных просторах Евразии от Балтики до Тихого океана, не могло не придать ей специфические черты. Интересный ответ на вопрос об идентичности России недавно дал бывший глава французского МИДа Юбер Ведрин: «Глядя из Франции, я не понимаю, почему Россия вечно задается вопросом: Европа она или Азия? Ее место однозначно посередине, не обязательно в качестве моста, но непременно в качестве одного из крупных полюсов этого мира».

Российскость можно понять, прежде всего исходя из собственной сущности самой России, а не чьей-то еще. Россия — самодостаточный культурно-цивилизационный феномен, который может быть описан только в ее собственных терминах. «Россия — это огромный, целостный и уникальный мир со своим генетическим кодом истории, системой архетипов социальности, культуры, духовности, особым способом их проживания в истории и самой истории, со своим типом локально-цивилизационного бытия и развития», — справедливо, на мой взгляд, пишет философ Николай Козин.

Россия не является ни западной частью Востока, ни восточной частью Запада. Это стержневое государство самостоятельной цивилизации, назовем ли мы ее российской или восточноевропейской, к которой европейская цивилизация наиболее близка. Цивилизационно к ней тяготеют и страны, которые принято называть ядром Содружества Независимых Государств.

Тот факт, что Россия не относится к Западной цивилизации, ни в коей мере не делает ее в чем-то ущербной. Просто наш путь был другим. Словами Георгия Федотова: «Надо понять, что позади нас не история города Глупова, а трагическая история великой страны, — ущербленная, изувеченная, но все же великая история. Эту историю предстоит написать заново». Не может жить нация с неизвестным или растоптанным прошлым и настоящим. Трагическая, драматическая, героическая — это наша история, и другой у нас не будет. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — уверял Александр Пушкин.

Всегда необходимо помнить, в какой стране живешь и работаешь, знать ее традиции. Но нельзя быть рабом традиции. Матрица меняется. Политическая воля способна менять судьбы государств. Можно сожалеть, что какие-то ее компоненты навсегда ушли в прошлое, как крестьянская община, оставившая неизгладимый след в народном сознании. Можно радоваться, что другие составляющие остаются с нами, как величие державы или сила ее армии. А можно работать над теми изменениями, которые мы сами считаем важными и необходимыми. Современная Россия все крепче стоит на ногах. Ее не подкосили удары кризиса. Экономика растет. Конечно, не так быстро, как в Китае, но быстрее, чем в любой из западных стран. Меняется настрой в отношении России. На нее смотрят не столько как на проблему, на нее все больше смотрят как на возможность. Возможность взаимовыгодного экономического сотрудничества, совместного использования природных богатств. Возможность захватывающего культурного погружения в уникальный цивилизационный пласт. Возможность наслаждаться красотой России. Возможность говорить на одном из официальных мировых языков, которым владеют около 300 млн. человек.

Российская Федерация осталась державой первого порядка по размеру территории, природным ресурсам, военно-стратегическим возможностям, политическому престижу, позициям в международных организациях, влиянию в СНГ. В то же время она оказалась государством второго порядка по степени развития экономики, включения в мирохозяйственную систему, по качеству жизни, состоянию армии, участию в информационной и научно-технической революциях. Россия — не сверхдержава, но она далеко не «Верхняя Вольта с ракетами».

Россия, имевшая традицию автократии, за два десятилетия добилась немало в деле создания демократического общества, хотя я не склонен и переоценивать достигнутое. Несмотря на неприятие большей части населения самого понятия «демократия» и несмотря на подозрения в отношении авторитаризма Путина, власть твердо намерена следовать по пути развития России как демократического государства. Потому что свобода лучше несвободы и еще ни одно недемократическое государство не стало процветающим (за исключением купающихся в нефти крошечных эмиратов). Гибкое демократическое государство гораздо лучше приспособлено к тому, чтобы встретить вызовы все более сложного постиндустриального общества, где мириады самостоятельно действующих субъектов должны постоянно реагировать на мириады самых разнообраз-

ных импульсов, не дожидаясь решения некой единой всезнающей инстанции. Без свободы предпринимательской деятельности, плюрализма мнений, уважения прав меньшинства, свободы информации развитие в современном мире проблематично. При этом демократия — это не когда у власти находятся люди, называющие себя демократами (часто по недоразумению), а когда обеспечиваются правление закона и ответственность власти перед теми, кто ее избирает.

Но Россия вовсе не намерена соглашаться на роль нерадивого ученика, которого мудрый и справедливый учитель отчитывает за невыученные уроки. Мы не ученики, а мудрость учителей демократии под большим вопросом на фоне Ирака, Гуантанамо, тюрем ЦРУ, глобальной прослушки АНБ и т.д. И у всех в памяти 1990-е годы, когда Россия потеряла половину экономики, строго следуя советам учителей из международных финансовых организаций. Никто не определит за Россию ее судьбу. Попытки извне повлиять на политическую ситуацию или избирательный процесс будут не просто не приветствоваться, а пресекаться. Демократия в РФ будет укрепляться в условиях безусловного суверенитета, под которым принято понимать независимость государства во внешних и главенство во внутренних делах.

Российская элита понимает, что формы демократии всегда зависели от ментальности, традиций, институтов, уровня жизни, правовой культуры, от того исторического времени, в котором живет государство. В мире множество демократических моделей, причем работают те, которые максимально учитывают национальную специфику. Имитировать демократию нельзя. Имитационная демократия — это вторичность, путь в никуда.

Не все удалось сделать, и мы знаем наши недостатки и слабости лучше других. Но с начала XXI века удалось запустить экономический рост, вырвать миллионы людей из бедности, воссоздать государство, предотвратить распад страны, остановить большую войну на Кавказе. И никто уже в мире не относится к России снисходительно, потому что она может за себя постоять.

И Путин — вовсе не враг прогресса. Он, похоже, лучше других сознает, что необходимо сделать, чтобы пройти по той — очень узкой в России — тропинке между авторитаризмом и анархией, которая, собственно, и называется демократией.

«Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так мыслит Философия, так вещает История, — писал наш первый историк Николай Карамзин. — Благоразумная система в жизни продолжает век человечества; благоразумная система Государственная продолжает век Государств. Кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкогоконечного бедствия, но, благодаря Всевышнего, сердце мое им не верит; вижу опасность, но еще не вижу гибели». И сегодня Россию рано хоронить.

У нашего Отечества великое прошлое. Ветвь арийского племени спустилась с Карпатских гор, мирно заселила Великую Русскую равнину, Сибирь, самую холодную часть планеты, дошла до Тихого океана, основала Форт Росс, впитала в себя соки богатейших культур Византии, Европы, Азии, разгромила страшнейшего врага человечества — нацизм, проложила человечеству дорогу в космос. Но мало где так слабо знают и недорого ценят свое прошлое и настоящее.

Крайне важно, опираясь на знание прошлого, предложить образ достойного завтра. Ведь российская цивилизация всегда была, есть и будет не воспоминанием о прошлом, а мечтой о будущем!

«Дружба народов» предложила участникам заочного «круглого стола» несколько вопросов:

1. Какой смысл вкладываете вы лично в термин «матрица» в приложении к истории?

Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий вне зависимости от конфигурации территории, размера страны, общественного уклада, системы власти, уровня технологического развития и т.п.?

Если существуют, то какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

Александр Мелихов

Сочетание военной угрозы с культурным соблазном извне

1. Когда-то в романе «Горбатые атланты» («Так говорил Сабуров») я воспользовался сходным типографским образом: клише, стереотип, с которого отпечатываются однотипные поколения, — разрушение стереотипа становится причиной самоубийств и всяческого упадка, и это приводит героя романа к выводу, что причина самоубийств — свобода. В романе дозволено все, но в научном анализе требуется ответить, минимум, на два вопроса: что является материальным носителем этой матрицы и какие мотивы побуждают людей ее хранить и ей повиноваться? Без ответа на эти вопросы все иносказания — «матрица», «культурный код» и прочие заимствования у типографов и биологов — остаются лишь туманными метафорами, вроде «народного духа» (в биологии более или менее определены и молекулярный носитель генетического кода, и механизм, порождающий из этого носителя реальный организм). В моем романе нужда в едином стереотипе выводится из потребности людей избежать расслабляющих сомнений: история человечества есть история бегства от сомнений; если сегодня допускаются два мнения по одному вопросу, то завтра их будет четыре, восемь, шестнадцать — мнения начнут делиться, как раковые клетки, свобода это рак.

Но какие мотивы, какие интересы, какие человеческие потребности (а потребности бывают только индивидуальными, «коллективные», «национальные» интересы — тоже всего лишь консолидированные интересы личностей) могут побуждать людей к ведению личного или коллективного хозяйства, к монархии или к парламентаризму, к дисциплине или к безалаберности независимо от их

сегодняшних нужд? (А нужды бывают только сегодняшними.) Выводить наше сегодняшнее поведение из свойств наших предков — самый настоящий культурный расизм. Я был бы не против расизма, если бы он что-то мог объяснить, но когда я слышу, что русские преданы своему государству из-за того, что в России сильны этатистские традиции, — я не понимаю, чем это лучше мольеровской формулы «опиум усыпляет оттого, что в нем есть усыпляющая сила». И объяснять привязанность русских к своим приусадебным участкам неким зовом предков, — чем это лучше размышлений юного Генриха Белля, наблюдавшего, как русские мешочники скитаются по оккупированной территории в поисках еды: они-де еще не освободились от кочевых традиций.

Когда я слышу или читаю: «столкнулись две традиции», «одна традиция победила другую», мне хочется напомнить: сталкиваться и побеждать могут только люди, — укажите, пожалуйста, кто были эти столкнувшиеся соперники, какие цели они преследовали и почему одни из них оказались сильнее других.

Марксисты, по крайней мере, все выводили из четкого экономического «базиса». Положим, разливы Нила делают невозможным индивидуальное земледелие, — из этого вырастают геометрия и государство. Ну, а на такие мелочи, что при этом картины загробной жизни оказываются разработанными до невероятных подробностей, а формула площади треугольника так и остается приближенной, что вместо полезных вещей государство громоздит грандиозные храмы и пирамиды, — на эти мелочи не нужно обращать внимание, иначе ты рискуешь обнять классового врага, прийти к выводу, что эксплуататоры и эксплуатируемые служат одним и тем же сказкам. Хотя на самом деле это так и есть: и царь, и жрец, и последний каменотес одинаково беспомощны перед болезнями, старостью, смертью и прочими забавами космического хаоса. А потому одинаково нуждаются в экзистенциальной защите, в выстраивании воображаемой картины мира, способной заслонить от их глаз беспросветный ужас человеческого существования. Вот постоянство человеческих нужд и порождает относительное постоянство форм их удовлетворения.

Если, скажем, предки оставили нам общую крышу над головой, защищающую от дождя, то мы будем охранять эту крышу от чужаков, могущих ее повредить; если же они оставили нам систему коллективных иллюзий, защищающую нас от осознания собственной мизерности и беспомощности (в чем и заключается главное назначение культуры), мы тоже станем ограждать ее от чужаков, могущих поколебать наши воодушевляющие верования своим равнодушием или даже активным презрением.

После ослабления сказок религиозных наиболее мощными сделались сказки национальные. И едва ли не главным орудием поддержания национальных грез в новое время сделалось государство — орган, способный осуществить максимальную концентрацию национальной силы. А русским таковая концентрация издавна требовалась и требуется. Несколько лет назад министерство культуры Южной Кореи заказало мне книгу о корейском прошлом и настоящем, и я обнаружил, что судьбы Кореи и России весьма сходны в своих истоках: и та, и другая расположены между могущественными цивилизациями — одна военная, другая высококультурная, — и первая угрожает завоеванием, а вторая, помимо опасности завоевания, — культурным поглощением. У Кореи этими цивилизациями были Япония и Китай, а у России, обобщенно выражаясь, Степь и Запад. И Корея в итоге проиграла обеим этим силам: знать перешла на

китайский язык и усвоила китайские обычаи, а Япония в начале двадцатого века довершила военное покорение. Россия же отстояла независимость, превратившись в военную державу, почти все подчинившую обороне, неотличимой от превентивного наступления, и произвела на свет патриотическую аристократию, способную конкурировать с противником и в культурном поле, в мире национальных грез. Постоянство национальных задач и породило постоянство средств, что и можно принять за некую мистическую «матрицу».

2. Существуют постоянные потребности в пропитании, безопасности, экзистенциальной защите, которая требует красивой родословной, то есть романтизации, идеализации методов и подвигов предков — это заставляет держаться даже и за устарелые формы и средства. Но они в конце концов уступают требованиям эффективности, и новые исторические задачи в конце концов создают и новых людей. И тем быстрее, чем жестче требования материального и психологического выживания.

3. Постоянных качеств нет — есть относительно сходные формы давления внешних и внутренних проблем, требующие для их преодоления и сходных национальных качеств. И более или менее постоянным для России является сочетание военной угрозы, как внешней, так и внутренней, с культурным соблазном извне.

4. Преемственность через разрыв — это что-то вроде влажности через сухость. Что же до преемственности с различными эпохами, то их власть над нами простирается в основном на ту ситуацию, в которой мы оказались — на территорию, экономику, на отношения с соседями, но на наше поведение гораздо больше влияют наши сегодняшние нужды.

5. В царстве детерминизма в цепочке причин, приведших к «судьбоносному» событию, ни одна не определяет больше, чем другие, — мы просто не умеем их различать. Мы видим, когда альпинист разбился, но того, что он определил свою судьбу, купив бракованную веревку, мы не замечаем.

6. Видится мне, что Россия достаточно сильна и решительна для того, чтобы отбить охоту ее кусать, но недостаточно для того, чтобы впасть в соблазн экспансионизма. Она достаточно демократична для того, чтобы рядовой человек не чувствовал себя униженным, но недостаточно для того, чтобы он имел возможность подмять под себя такие аристократические сферы, как искусство и наука, — чтобы именно гордость за их успехи сделалась важнейшей компонентой его экзистенциальной защиты. И вообще у власти находится Аристократическая партия, делающая ставку на самых одаренных и романтических, стремящихся оставить след в вечности; делаются непрестанные усилия по вовлечению в общегосударственную, «имперскую» аристократию, духовные элиты национальных меньшинств, и делается это совсем не по «имперской матрице», но исключительно ради злободневных нужд экзистенциальной защиты и культурной реконкисты.

Разумеется, это только мечта, в реальности все будет в лучшем случае скучнее, а в худшем страшнее.

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

Юрий Каграманов

Самая важная константа — связь с православием

Словосочетание «Русская матрица», с некоторых пор вошедшее в обиход, представляется мне не самым удачным лексическим приобретением. И совсем не обязательным для объяснения русской истории. Тем более, что в это понятие вкладывают не только теплый смысл «изначальной материнской формы», но порою и предельно холодный — «формы для литья» (в последнем случае звучит отсылка к недоброй памяти временам вождя с «металлической» фамилией). А ставший широко популярным фильм братьев Вачовски «Матрица» сообщил ей и вовсе зловещие коннотации).

О том, что в русском характере существуют некие константы, можно с уверенностью говорить лишь применительно к последней тысяче лет. Ибо самая важная константа — его связь с православием. Об этом впечатляюще написал Чехов в рассказе «Студент». Напомню, что его герой, греясь холодной ночью у костра, вдруг вспоминает, что точно так же грелся у ночного костра апостол Петр в Гефсиманском саду, где ему предстояло трижды отречься от Христа и потом горько рыдать. И тут студент почувствовал, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...» Стоило дотронуться до одного конца этой истории, как дрогнул другой.

Для объяснения русской истории достаточно оперировать такими понятиями, как преемственность и разрыв. Что, собственно, и делает В.Никонов, чья работа представляет собою по большей части объективное — до определенного момента — исследование русской истории. В значительной мере объективность достигается сопоставлением различных точек зрения на то или иное событие; заслугой автора можно считать, что он приводит суждения именно тех исследователей, к которым стоит прислушаться.

А момент, начиная с которого автор становится, на мой взгляд, не вполне объективным, а порою и вовсе необъективным (оговорюсь, что совершенная объективность в суждениях о событиях истории невозможна, но возможно приближение к ней) — Октябрьский переворот.

Приняв в конечном счете сторону горе-победителей, В.Никонов делает акцент на узах преемственности, связывающих советский режим с дореволюционным прошлым. По моему убеждению, подкрепленному самыми высокими авторитетами, какие мне знакомы, революция знаменовала катастрофический разрыв с прошлым, до сих пор не преодоленный. А узы преемственности,

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

поскольку они имели место, гораздо яснее просматриваются в «зрелый» сталинский период, чем в раннесоветский период (20-е годы, отчасти первая половина 30-х). Кстати, в книге недостаточно подчеркнуты глубокие различия меж тем и другим.

И еще претензия к автору: он слишком сосредоточивается на политической жизни в советские годы (это относится и к постсоветским годам). Между тем, гораздо интереснее, но и труднее вопрос об экзистенциальном строе советского общества. В этом аспекте мне кажется продуктивным воспользоваться понятием «быт» в его категориальном значении, которое придал ему П.Б.Струве. Философ определяет быт как «совокупность "фактических" и "конкретных" содержаний общественной жизни в их противоположении идейным (идеальным) и отвлеченным построениям об этой жизни». И далее: «Быт складывается из живых, не прошедших через иссушающее пекло отвлечения и обобщения, человеческих влечений, оценок, действий, из того, чему следует не столько наш ум с его остужающей логикой, сколько наши чувства и чувствования, наш позыв, или инстинкт, свободный от умыслов и замыслов». К этому заключению Струве пришел на материале западноевропейского Средневековья, но оно вполне применимо и к России советского периода.

В 20-е годы на уровне быта, столкнувшегося с экзотической для него идеологией, царит растерянность. На 30-е приходится их постепенная взаимная притирка. Идеология, формально остающаяся источником высших смыслов (и это уже до конца советской эпохи), выхолащивается; хотя еще и в 30-е воодушевляет значительную часть молодежи. Напротив, быт, источником которого является, согласно Струве, «вековая соборная дума», консолидируется; хотя в какой-то своей части уродуется под давлением идеологии. В позднесоветское время (примерно со второй половины 60-х годов) идеология окончательно деревенеет, а быт мало-помалу разлагается, отрываясь от своего первоначального, удаляющегося во времени источника. Наступил эндшпиль.

Все это происходило как бы на видимой стороне луны. На ее обратной стороне таился, до поры до времени, ужас сталинского Большого террора. В.Никонов не уделяет этой теме серьезного внимания, что соответствует нынешним умонастроениям: общество «устало» от разоблачений Солженицына, Шаламова и других, менее именитых авторов. Но тему рано «закрывать»; напротив, в нее следует углубиться. Глаз уже отчасти привык к «слепящей тьме» ГУЛАГа (вполне привыкнуть к ней нельзя) и начинает различать в ней то, чего не замечал ранее.

Вот некоторые соображения на сей счет. Первыми жертвами террора стали «старые большевики», то есть просто большевики, не сумевшие или не захотевшие переродиться вместе с тов.Сталиным. В отношении них террор был о п р а в д а н: они получили по делам своим. (По-человечески жаль разве что молодых троцкистов, по возрасту своему не поучаствовавших в революции, но околдованных ею и гибнувших с криками «Да здравствует Ленин!» и «Да здравствует Троцкий!».)

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

К ним следует причислить и командную верхушку Красной армии, уничтоженную почти целиком. В этом случае приходится поверить в гегелевский «хитрый разум истории», который отказал в поддержке Деникину и Колчаку затем лишь, чтобы найти более решительный (и более жестокий) способ расправиться с красными.

Самыми многочисленными жертвами поплатилось крестьянство. Вот тут никакого оправдания палачам быть не может. Объяснения, конечно, возможны, но объяснения — не оправдания. Нельзя сказать, чтобы крестьянство в тех обстоятельствах не в чем было упрекнуть: оно или, точнее, та его часть, что встала на «буяновский путь» (воспользуюсь выражением Щедрина), несет свою долю ответственности за разрушение исторической России. И, говоря поэтически, девы-эринии (у которых был свой счет, никак не соприкасавшийся с экономическим и политическим расчетом партноменклатуры) припомнили ему его недавние вины. Но эти вины совершенно не соразмерны с назначенным ему поистине гиперболическим наказанием. Террор против крестьянства остается самым масштабным преступлением режима.

А самым злым преступлением были гонения на духовенство, невиданные со времен Римской империи.

Были, наконец, многочисленные горожане из самых разных социальных слоев и групп, которых убивали и сажали «ни за что»; нередко по разнарядке, приходившей на места с требованием арестовать и осудить энное количество людей. При всей вопиющей несправедливости всех этих убийств и посадок нельзя сказать, что они были совершенно бессмысленными. В пореволюционные годы наступившая свобода понималась очень широко; обилие разнузданных типов (мы видим их в фильмах 20-х и еще 30-х годов) делало общество даже эстетически отталкивающим. Власть предрежащие опытным путем пришли к выводу, что иссякание страха Божьего требует замещения его страхом перед земными авторитетами. По-своему это было логично; в любом обществе страх перед наказанием (поту- или посюсторонним) является о д н о й из мотиваций поведения. Необычным здесь было то, что карательные меры имели, если можно так сказать, педагогический характер; наказывали невиновных, чтобы все без исключения испытывали страх и трепет.

Чем по-настоящему ужасает опыт Большого террора, так это его принципиальным отношением к человеку как таковому. Материалистическое мышление лишило его Божьей поддержки, видя в нем всего лишь двуногое существо, не имеющее метафизической ценности, которое позволительно было раздавить, как червяка, каков бы ни был его прежний социальный статус, заслуги и т.д. Для сравнения: в прежней России даже в отпетом преступнике видели все-таки человека.

Распространенной стала точка зрения, что не стоит задерживаться на теме Большого террора, оттого, что она чернит образ России, и это особенно неуместно сейчас, когда стоит задача воспитания патриотизма. Но в истории

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

России было много героического, возвышенного, прекрасного — есть на чем «отдохнуть глазу»; а что было и ужасное, то, что поделаешь, такова вообще человеческая история и об этой ее стороне тоже нужно знать. Возьмите первого нашего великого историка, Карамзина: он не просто излагал отечественную историю, он ее украшал, что, однако, не помешало ему в самых резких выражениях осудить террор, развязанный Иваном IV. Вот достойный пример для подражания!

О.Шпенглер писал, что история — не наука, история — это поэзия. По крайней мере таковой она должна быть для подрастающего поколения. Даже о Большом терроре можно *петь*, надо только найти нужные слова и нужную тональность.

Разумеется, история остается также и наукой, только для ограниченного круга лиц — способных к интеллектуальной работе. Для них книга В.Никонова может послужить стоящим учебным пособием. Хотя, как я уже сказал, — до определенного момента.

Игорь Яковенко

На путях цивилизационного синтеза

1. В данном случае понятие «матрица» использовано для обозначения и описания устойчивых структур культуры, присущих конкретной культурной традиции. Эту сущность можно называть «культурным/цивилизационным кодом», «культурным ядром» или «культурным геномом». Общепринятого обозначения пока не выработано. Специалист, сталкивающийся с текстом, посвященным описываемым реалиям, понимает о чем идет речь.

К истории сущность, скрывающаяся за понятием «матрица», приложима, поскольку описывает устойчивые характеристики, присущие конкретной локальной цивилизации.

Что же касается постоянных качеств, то следует сказать: этносы и государства есть, прежде всего, формы структурирования устойчивых социокультурных целостностей. Государства могут рассыпаться или трансформироваться, этнос может переживать кризис, конфигурация территории существенно изменяться и так далее. Однако качественные характеристики при этом *могут* сохраняться (могут, но не всегда). К примеру, между 1917 и 1921 годами российское государство распалось и переживало болезненное переструктурирование (смену идеологии, политического режима, базовой экономической модели и т.д.).

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

Однако, русский народ пережил эти трансформации, сохранив базовые характеристики. Последние два века своей истории Византия была крошечным государством, зажатым между Европой и Азией. Размеры государства не достигали и одной десятой от Византии времен ее могущества. Однако эти превратности не меняли ни политической культуры элиты, ни массового сознания народа. Византийцы держались своих верований, и жили в убеждении, что Константинополь вечен.

С уровнем технологического развития ситуация сложнее. Широкое освоение современных технологий размывает традиционное сознание и ведет к распаду устойчивого культурного ядра, центрированного на стабильно предшествующие поколения технологий (всех технологий — промышленных, социальных, информационных, общественно-политических, культурных). В этом феномене состоит проблема догоняющей модернизации. В нее вступает одна социокультурная целостность, а на выходе обретается другая. Именно поэтому модернизация многих традиционных обществ (Россия, Иран, Турция) не может завершиться.

Необходимо сделать оговорку. Кризис этноса, изменение территории, смена экономической модели *могут* привести к трансформации культурного ядра. Примером такой эволюции служит история Древнерусского государства. В XII — XIII веках древнерусский этнос переживал кризис. Распад Киевской Руси и дивергентное развитие наметившихся новых центров консолидации (Новгородская республика, Суздальская Русь/Московское княжество, Юго-Западная Русь/княжества Галицко-Волынские) фиксировали разные исторические тренды, тяготеющие соответственно к модели торгового города-государства, европейского феодализма и централизованной деспотии имперского характера. Так описывает эту эволюцию в частности И.Н.Данилевский.

Причем, если Юго-Западная Русь и Великий Новгород развивались в логике Киевской Руси, то в Суздальской Руси формируется качественная альтернатива древнерусскому государству. Киевская Русь существовала вокруг Пути «из варяг в греки». Князь и его дружина существовали в динамическом балансе с городским вечем, то есть — сообществом горожан. Изгнание князя или княжеского ставленника городским вечем для древнерусского государства — нормальная практика. Так было.

В новой ландшафтно-климатической среде, утратив возможность транзитной торговли как основы экономики государства и переориентировавшись на скудное производящее хозяйство в лесистой зоне Нечерноземья, да еще на фоне ордынского нашествия и включения в монгольскую империю, исходная социокультурная целостность переживает мощную трансформацию. Складывается та совокупность признаков, которую можно описывать как российское цивилизационное ядро или «российская матрица». Эта модель формируется в XIII—XVI веках. На данном пространстве земного шара и в данную историческую эпоху она оказалась достаточно эффективной. На базе данной модели складывается

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

империя, которая со временем ассимилирует как Великий Новгород, так и Юго-Западную Русь.

Последнее замечание общего характера. Цивилизационное ядро — сущность очень устойчивая, но не вечная. Она существует ровно до тех пор, *пока обеспечивает устойчивое воспроизводство сообщества ее носителей*. Когда это условие нарушается, начинается кризис. Он может быть стремительным или продолжительным, но в результате либо происходит рождение качественно нового цивилизационного ядра, соответствующего эпохе и обладающего потенциалом развития, либо переход населения в культуру победителя.

Так, по оценкам историков, античность, как социокультурная целостность, умирает в IV — V веках. Большая часть западно-римского общества переходит в христианскую общину, которая формирует особую цивилизацию, преемственную от греко-римской античности, но существенно иную. Начинается Средневековье. Второй из названных вариантов был реализован в Османской империи. По мере завоевания византийских территорий и после падения Константинополя идет процесс обращения христианизированного населения Малой Азии в ислам. Этому способствовали налоговые льготы и правовые преференции мусульман. Греки, арабы, армяне переходили в ислам, а далее неизбежно «потуречивались», то есть: включались в культуру победителей. Процесс потуречивания растянулся на века, но охватил большую часть населения Малой Азии.

Описание качеств, отличающих Россию от прочих государств, требует долгого и серьезного разговора, погружения в проблематику культурологии, цивилизационного анализа, а также понятийного оснащения. Предельно упрощая и убирая обоснования, можно перечислить:

1. *Установка на синкрезис или идеал синкрезиса*. Синкрезис это такое состояние, когда все переплетено со всем, ничего не выделилось и не обособилось. Власть слита с собственностью, познание неотделимо от оценки, человек не вычленяется из традиционных целостностей — род, семья, община и т.д.

2. *Особый познавательный конструкт «должное/сущее»*. Должное это некий абсолютный идеал, который одновременно трактуется как норматив. А сущее это мир эмпирической реальности, злостно уклоняющийся от сакрального Должного.

3. *Эсхатологический комплекс*. Суть его в убеждении, что мир окончательно уклонился от Должного, погряз в грехах, и мы живем при последних днях творения.

4. *Манихейская интенция*. Для манихея мир представляет собой арену вечной борьбы двух космических сил: Света и Тьмы, Добра и Зла, духа и материи. Однажды эта борьба завершится победой Света, и духи Тьмы будут сброшены в бездну. Но покуда идет вечная борьба. Традиционное российское сознание сшивает эту концепцию с местоимениями «мы» и «они». «Мы» всегда свет, «они» всегда тьма. Для манихея жизнь есть вечная война на уничтожение с идейными противниками, инородцами, иноверцами, «классовыми врагами» и т.д. Жизнь для

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

манихей — борьба до поражения противника. Любые компромиссы нетерпимы и постыдны. Противник манихей всегда — исчадие ада. Он убивает беременных женщин и отравляет колодцы.

5. *Мироотречная или гностическая установка.* Суть ее в том, что мир в принципе лежит во зле. Он не подлежит совершенствованию. Жизненный ориентир мироотречника — недеяние. Носители гностического мироощущения в принципе не komponуются в динамичное общество. Они несут глубинную асоциальность и генерируют настроение безнадежности.

Отметим, что и манихейство, и гностицизм доктрины не христианские. Христианская церковь веками боролась с этими учениями не на жизнь, а на смерть. Однако, как манихейские, так и гностические представления в той или иной мере ассимилированы культурами христианского мира. В России эти компоненты сознания представлены широко и мощно.

6. *Сакральный статус власти.* Идея власти персонифицируется в фигуре Верховного правителя (царь, генсек, президент) и переживается по моделям языческого бога. По своему источнику она потусторонняя. Власть — носительница истины, владелица всего сущего, источник инноваций, источник законов, стоящий над законом. Всемогуша, непознаваема в рациональном смысле, временами требует человеческих жертвоприношений. Власть является субъектом по преимуществу. Подданные — лишь исполнители повелений и предназначений власти.

7. *Экстенсивная доминанта.* Это такая конфигурация культурного сознания, которая задает выбор экстенсивных решений в проблемных ситуациях на всех уровнях и во всех срезах социальной реальности. В результате это выливается в экстенсивную стратегию исторического бытия всего общества. В таком случае любая проблема решается с привлечением дополнительных ресурсов. Экстенсивно ориентированный человек не способен оптимизировать трудовую деятельность, достигать требуемого соотношения в системе качество товара/затраты труда и ресурсов и т.д. В конкурентной ситуации он фатально проигрывает.

Отметим, что три века модернизации в России не смогли переломить экстенсивную доминанту культурного сознания. Традиционно ориентированный россиянин мыслит количеством и оказывается не способным побеждать, повышая качество.

8. *Этика дотоварной хозяйственной деятельности.* Вытекает из целостности традиционной крестьянской культуры. Традиционный человек экстенсивно ориентирован, живет в системе натурального хозяйства и отторгает рыночную экономику. Должные («правильные», естественные) формы хозяйственной деятельности предполагают натуральное (то есть нетоварное) хозяйство, отсутствие частной собственности на землю и периферийный характер рыночных отношений.

9. *Традиционно-имперская доминанта сознания.* Под имперской доминантой понимается установка сознания, согласно которой «правильное», естественное положение вещей предполагает существование России как традиционной континентальной империи. Имперская установка сложилась исторически. Народ, веками создававший и поддерживавший империю, обречен расценивать империю

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

как ценность и видеть в ней единственно возможное состояние. С имперской доминантой связан мессианиззм. В этом комплексе находит свое выражение верность идеалу синкретизиса, то есть — Должного. И убеждение, что наш народ призван вернуть заблудший мир в царство Должного. В такой перспективе Империя осознается как инструмент преобразования мира.

2. Разрыв, о котором идет речь, носит по преимуществу семантически-знаковый характер. В ходе инверсий сменяются вывески, ритуалы, формы названия и осмысления реальности. При этом радикально меняется самосознание массового россиянина, который яростно отторгает «старый мир» и приобщается к новому. Однако, глубинные основания общества и культуры сохраняются. Оттого, что правитель из «государя императора» превращается в генсека, он не перестает быть живым богом. Империя воскресает в облике СССР. Сохраняются базовые характеристики: единство идеологии, деспотический характер власти, имперская политика и т.д. В свете этого разрыв выступает специфической формой эволюции, обеспечивающей необходимую минимальную адаптацию к современности, при сохранении базовых характеристик традиции.

Вслед за революционной эпохой, несущей множество перемен и порождающей тенденции выхода за пределы исторической «колеи», наступает период реставрации «устоев» и восстановления базовых характеристик традиции. Этот эволюционный цикл укладывается приблизительно в двадцать лет. Нам дарована возможность не только изучать описанный цикл на историческом материале, но и познавать его в рамках включенного наблюдения.

3. Наиболее важными, на мой взгляд, моментами в истории России были:

1. Сдвоенное событие: перенос столицы из Новгорода в Киев (князь Олег), задавший ориентацию Руси на Средиземноморский бассейн, а значит — попадание в поле притяжения Византии и Крещение Руси по православному обряду (князь Владимир): стратегические события, задававшие дальнейшую эволюцию как Древней Руси, так и России.

2. Для того, чтобы осознать следующий пункт, надо вспомнить, что памятное нам разделение Евразии по Уральскому хребту предложено Татищевым в конце XVIII века. К тому были не только географические, но, прежде всего, политико-идеологические основания. Наследники Петра I осознавали себя европейцами. До этого 1800 лет Евразия делилась, согласно Страбону, по реке Дон. И такое деление лучше соответствовало реалиям начала второго тысячелетия нашей эры.

Выделение нового центра консолидации страны в Ростово-Суздальской земле (князь Андрей Боголюбский) перенесло социокультурный организм наследников Киевской Руси из пространства доминирования европейских моделей общества и культуры в зону азиатских доминант. Социально-культурная эволюция Ростово-Суздальской и наследующей ей Московской Руси последовательно сдвигала Россию в сторону азиатских моделей общества и культуры. Московия, а за нею Россия складываются в Азии. Запад был осознан как чуждая, опасная и ненужная стихия.

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

3. Формирование описанного нами цивилизационного ядра начинается в эпоху Андрея Боголюбского. Этот процесс завершается в царствование Ивана Грозного. В это же время происходит стратегически важное событие — Московия проигрывает длительную и тяжелую Ливонскую войну (1558—1583). Политическая элита страны осознает необходимость модернизационных преобразований. Наследники Грозного снимают стратегию жесткой изоляции от Запада, восходящую еще к эпохе Александра Невского. При первых Романовых начинаются процессы рецепции военных и промышленных технологий.

4. Преобразования Петра I задали системную стратегию модернизации Российской империи, что неизбежно включало в себя элементы вестернизации образа жизни и культуры. Политика эта была противоречивой. Преобразования локализовывались в слое привилегированных сословий, не охватывали крестьянство, росла мера эксплуатации подданных. Тем не менее, Петр ознаменовал качественный скачок, прокладывая путь выхода из тупика.

5. Великие реформы Александра II (1856—1874) ознаменовали собой новый этап модернизационной эволюции России. На этот раз реформы охватывают все общество и прокладывают перспективу эволюционного развития России. Великие реформы ознаменовали разворачивание процессов размывания традиционного мира и включения многомиллионной крестьянской массы в большое общество. Эти реформы запоздали лет на сорок-пятьдесят. Запоздалые реформы всегда рожают всплеск политического радикализма, который завершается эпохой контрреформ. С этого момента урбанизация, трансформация традиционного мира и циклы, в которых революционные преобразования сменяются эпохами «подмораживания», становятся устойчивой константой российской истории.

4. В семидесятые годы прошлого века описанное выше цивилизационное ядро окончательно исчерпало свой потенциал как стратегия исторического существования носителей отечественной культуры. Кризис, а затем крах советского общества и перипетии двух постсоветских десятилетий оформляют процессы в высшей степени болезненной деструкции изжившего себя социокультурного целого. Логически, вслед за деструкцией цивилизационного ядра, может следовать либо новый цивилизационный синтез, либо разбор территории и населения соседними локальными цивилизациями. По понятным причинам для нас предпочтителен первый вариант.

«Образ достойного завтра» России видится мне на путях цивилизационного синтеза, в рамках которого формируется новая ментальность, задающая стадийно последующее цивилизационное ядро, адекватное современной реальности и располагающее резервом развития. Описывать характеристики нового исторического качества — занятие малоосмысленное. Но можно с уверенностью указать на то, что *не войдет* в новый цивилизационный синтез. Это — базовые характеристики уходящего цивилизационного ядра.

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

Михаил Румер-Зараев

Кровь и судьба

В повести Фазиля Искандера «Думающий о России и американец» есть такой диалог: «Что делают в России?» — спрашивает американец. — «Думают о России, — отвечает русский. — В России многие думают о России, а остальные воруют...» Этот многозначительный диалог, на котором построена вся повесть, полон печальной иронии, свойственной творчеству Искандера.

Книга В. Никонова приглашает нас всерьез подумать о России, о том, что ее отличает от других стран, какова преемственность традиций в разные эпохи существования страны, каково может быть ее будущее? Вопросы непростые, и не со всеми ответами на них в книге можно согласиться. И тем не менее примем приглашение автора и начнем «думать о России».

В. Никонов вводит в своей книге ключевое понятие — цивилизационная матрица, определяя ее как длительно существующую социокультурную общность, объединенную местом обитания, системой ценностей, языком и многими другими признаками, многочисленность и расплывчатость которых затрудняет освоение этого понятия. Мне думается, что за ним стоит представление о национальной самоидентификации и нации, признаки которой не столь многочисленны. И тут я предлагаю использовать метод аналогий.

На чем основано всякое человеческое объединение (а нация является человеческим объединением)? На сумме общностей. Вот, скажем, брак. Это объединение двух людей. В его основе лежит несколько общностей — крыши, семейного бюджета, детей, духа. Первые две обязательны — без общности постели и дома нет брака. Он превращается или в дружбу или в любовный союз. Остальные желательны, они делают брак гармоничным, но не обязательны. Есть браки бездетные, без единого духовного настроения. Счастливыми их не назовешь, но они существуют в рамках этого института.

Посмотрим, на чем основано национальное объединение, в которое могут входить миллионы людей. Конечно же, на культурной и прежде всего языковой общности, играющей здесь очень важную роль. Но есть и другие свойственные нации общности — экономическая, религиозная, территориальная. Они важны, но не обязательны. Есть нации, не имеющие общей религии и даже территории. А вот обязательными факторами являются — историческая судьба и кровь.

При слове «кровь» может возникнуть ассоциация с расизмом. Но расизм в общепринятом понимании этого слова начинается там, где возникает представление о неравенстве человеческих рас. Основатель расизма французский социолог девятнадцатого века Жозеф Гобино в своем сочинении «О неравенстве

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

человеческих рас» объявил высшей расой светловолосых и голубоглазых арийцев, которых он считал создателями всех высоких цивилизаций.

Да, нацизм использовал эту посылку в своей идеологической системе, да, «кровь» была объектом многих его человеконенавистнических спекуляций. Но также как топор в одних руках становится орудием убийства, а в других — созидательного труда, так и кровь, как фактор человеческой общности, может быть в одном случае обоснованием убийства, а в другом — всего-навсего условием национальной идентификации.

В данном случае под термином «кровь» подразумевается то обстоятельство, что многие поколения ваших предков женились и выходили замуж за тех, кого они считали русскими, французами, немцами — людьми определенного этнического происхождения, определенной религии, экономического уклада, исторической судьбы. Они передавали потомству не только черты физического облика, но и особенности национального характера, который как ни крути, как ни растворяй его в нынешней мультикультурной среде, все-таки существует у всех наций. И то обстоятельство, что итальянцы экспансивны, а немцы педантичны, остается реальностью на протяжении столетий.

Разумеется, понятие «национальный характер» значительно шире этих свойств. Наполнение этого понятия — задача этнографов и социологов, которые нередко расходятся в своих посылках. Отметая всяческие разговоры о загадочной русской душе, свойственные иностранцам, скажем о нередко упоминаемой полярности русского национального характера, своего рода его антиномичности, — сочетании щедрости и расточительства, свободолюбия и склонности к анархизму, трудолюбия и лени, патриотизма и национального нигилизма. Такого рода антиномичностью часто объясняют религиозность русского народа (Святая Русь) и погромы церквей, убийства священнослужителей в революционные и послереволюционные времена.

Исследование национального характера может дать ответ на вопрос о постоянных качествах русского этноса, которые сохраняются на протяжении столетий. Скажу об одном таком качестве — общинности. Исследуя столыпинский проект, я задавался вопросом, исчерпала ли себя тогда община как объект реализации «базовых инстинктов» российского крестьянства? Мне представляется, что нет, судя по тому, как крестьянские массы препятствовали ее разрушению даже при условии низкой эффективности хозяйствования в тех условиях.

Но почему именно такая форма коллективного существования была столь устойчива в сельской России на протяжении многих столетий? Объяснение этого явления трудными природными условиями при продвижении русских на северо-восток, когда только сообща можно было чего-либо добиться, не работает. Российский этнолог Светлана Владимировна Лурье, изучая жизнь финнов, находящихся примерно в таких же природных условиях, как и русские поселенцы, отмечает, что представители этой северной народности действовали

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

всегда в одиночку, селились на новой земле лишь со своим семейством и в одиночестве вступали в борьбу с природой, какие бы трудности их ни подстерегали, предопределяя тем самым хуторскую систему расселения. Почему у двух географически близких народов столь разный подход к формам сельского существования? Лурье, будучи представителем науки, изучающей процессы формирования и развития различных этнических групп, на этот вопрос дать ответа не может. Но сам факт существования такого подхода у русских может говорить об определенном свойстве национального характера.

Теперь об общности судьбы. Это не абстракция, не фигура речи, а вполне конкретное понятие, с которым мы сталкиваемся на каждом шагу. У каждой нации своя судьба на данном отрезке истории. Скажем, немцы столетиями были обречены на раздробленность, а объединившись стали инициатором двух мировых войн. У русских, англичан, французов свои исторические судьбы, и это важнейший фактор национального единения, национальной идентификации.

Особенностями русской исторической судьбы являются колонизация и миграция населявших Россию народов, сопровождавшиеся то заселением, то запустением земель. Этот процесс шел, начиная с обозримого прошлого. Русь днепровская сначала создавалась, а потом пустела, двигалась на северо-восток, образовывалась Россия средневолжская, московская, и отсюда шло завоевание Поволжья, южных степей. И на разных этапах этих гигантских передвижений в одних местах земли обрабатывались, а в других забрасывались, так что пустоши тянулись на десятки километров.

Сейчас заброшенных земель так много (по России около 35 миллионов гектаров, примерно 15 процентов обрабатываемой площади), что трудно себе представить, каким может быть выход из этого кризиса.

Говоря об исторических моментах, определявших судьбу России, отметим, что страна только за прошлый век пережила три демографических катастрофы, как следствие войн (Первой мировой, гражданской, Второй мировой) и коллективизации, а также с добрый десяток крупных государственных проектов, каждый из которых приводил к переселению больших человеческих масс. Столыпинская реформа перебрала на восток более трех миллионов крестьян, уменьшив плотность населения и соответственно малоземелье в центральной России. Коллективизация привела к высылке на европейский Север и Урал двух миллионов «кулаков». Целинный проект также предусматривал перемещение рабочей силы, хотя и не такими варварскими методами как в коллективизацию, да и не в таких масштабах. Тем не менее, только по комсомольским путевкам в пятидесятые годы было отправлено в Казахстан и Западную Сибирь 350 тысяч человек. Власть как бы перемешивала суп в котле, регулируя расселение в соответствии со своими социально-экономическими проектами. В результате села Нечерноземья да и Черноземья, этого главного демографического ресурса страны, пустели. И если в начале века главной бедой здесь было малоземелье, то

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

к концу века все больше пашни «гуляло», зарастало лесом, переводилось в залежь.

Другой особенностью исторической судьбы России является чередование реализованных утопических проектов. Такими проектами можно считать реформы, идущие вразрез с базовыми инстинктами народа. Они воплощаются в жизнь, когда некая идея, рожденная в головах людей или одного человека и продиктованная абстрактными представлениями, становится формой существования общества. Утопический этот проект потому, что идет вразрез с природой человека, сложившейся социальной практикой, хозяйственной традицией. Он может быть навязан обществу или тому или иному его слою насильственно, но иногда и не навязан, а принят добровольно для себя группами идеалистов-энтузиастов, и существовать годы, десятилетия, а подчас даже и столетие, но, в конце концов, исчезнуть разными путями — за счет другой силы или трансформироваться в более приемлемую для человеческой природы форму. Более того, такой проект может породить новую хозяйственную или социальную традицию, принимаемую людьми, стать приспособленным для естественных нужд человека, но в первоначально задуманной форме он обречен на исчезновение.

В России примером такой реализованной утопии можно считать создание в начале XIX века военных поселений, основанных на принципах рационального хозяйствования. Это было настоящее государство в государстве с населением в 800 тысяч человек. Оно существовало полвека и закончилось только с отменой крепостного права.

Вообще, говоря словами американского социолога Джеймса Скотта, в России «задолго до того, как большевики пришли к власти, исторический пейзаж был засорен обломками крушения многих неудачных экспериментов авторитарного социального планирования». К числу таких экспериментов можно отнести и столыпинский проект, а десятилет спустя после его крушения — коллективизацию.

Сейчас постсоветская Россия на обломках колхозно-совхозного способа сельскохозяйственного производства нащупывает формы реального существования села, пытается остановить его вымирание и найти компромисс между архаикой личного подсобного хозяйства и аграрными капиталистическими предприятиями, создаваемыми различными инвесторами. Как долго стране предстоит идти по этому пути, пока результаты станут позитивными — кто знает?

Говоря же об образе достойного завтра, представляется что для России необходимо, отказавшись от планов расширения границ, сосредоточиться на освоении имеющейся территории. Ведь вымирание села, заброс пашни, опустынивание целых районов приводит к деградации национального расселения. И если говорить о национальном интересе в широком смысле слова (не в этническом, потому что чуваша, татары, и прочие российские народности это

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

тоже субъект национального интереса, притом, что, конечно, большинство составляют великороссы), то важно осознать: без сельской формы расселения нация становится ущербной.

И недаром даже Израиль, государство, в значительной степени созданное иммигрантами-горожанами, активно реализовывал идею киббуцев — сельских поселений. Сионистские идеологи при этом преследовали не только цели продовольственной безопасности. Они понимали: надо, чтобы земли были освоены, чтобы люди жили не только в городах, только тогда национальное существование полноценно.

Но это Израиль с его крохотной территорией, а что же говорить о России, занимающей около 13 процентов земной суши и производящей на ней чуть более 2,5 процентов общемирового валового продукта. Возможно, что освоение своей территории и является национальной задачей.

Вадим Кирпичёв

Державная матрица

1. Никонов прав в самом главном: Россия есть стержневое государство отдельной, особой, оригинальной цивилизации. Мы не Запад, не Европа, что для западного человека очевидно, а для некоторых наших интеллигентов почему-то нет.

Начну с метафоры о природе нашей цивилизации. Великий винодел князь Лев Голицын дал замечательное определение: «вино — это характер местности». Так вот, цивилизация — это характер континента. По своим природным условиям Россия является единым континентом — Северной Евразией, а это и обусловило создание особой евразийской цивилизации. Мы не Запад, не Восток, не Юг. Мы — Север.

Мы есть имперский союз народов, живущий на севере своим особым строем. Слиться с Западом для нас самоубийственно, но быть Западом хочется, поэтому единственный выход для нас — имитировать его... Россия по отношению к Западу есть сателлитная и альтернативная цивилизация. Мы всегда рядом с Европой, греемся от нее, но слиться в единое целое нам не дано. Снегурочка нашего континента неизбежно растает в объятиях Запада. Чтобы не стать второсортной страной в мире Первом, нам приходится быть первосортным Вторым миром.

Мы Западу братья, но не друзья. Цивилизационные братья, но геополити-

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

ческие соперники. Именно поэтому на Западе всегда были те, кто мечтал огнем и мечом пройти по нашим селам и городам. Какой ныне в России главный праздник? День Победы, 9 мая. А почему? Да потому, что это наша самая большая победа над Западом за последние пятьсот лет.

Вынужденная альтернативность российской цивилизации вызвана той же невозможностью стать Западом. Православие, коммунизм: мы все время ищем порожденные Западом идеи, не пригодившиеся ему, которые можно противопоставить тому же Западу. Таким образом, нам удастся и особость соблюсти, и некую «западность» приобрести. Мы всегда рядом с Западом, но не с ним. Смешаны, но не взболтаны. Мы всегда другие. Если США вдруг примут социализм, нам придется срочно записываться в либералы.

Цивилизация не сводится к культуре или вере. Известно: умирая, культура становится цивилизацией. Количество умерших культур равно количеству прилагательных, сопровождающих слово «цивилизация». Православная и советская культуры Россией пережиты, поэтому нашу цивилизацию вполне можно называть и православно-советской.

Механизм смены эстафетных стержневых государств и эстафетных культур и помогает нашей евразийской цивилизации выживать в столетиях. Вот только все эти эстафетные государства сбиты по одной колодке, то есть матрице. И симптоматично, что именно внук Молотова создал труд о российской матрице. Это матрица власти. Матрица «азиатской деспотии», если говорить языком западного интеллигента, а если по-русски, то державная матрица. Будучи биографом деда-коммуниста и деятелем «Единой России», Никонов особенно хорошо понимает непреходящие свойства любых наших государств. А уж тем более самое главное из них...

Власть — наше все. Без стержневого государства существовать наша цивилизация в принципе не может. А стержневое государство у нас может быть только Державой. Сколько ни собирай у нас демократию из деталей швейной машинки «Зингер», все равно получится державный автомат Калашникова.

Почему?

Высочайшая степень полиэтничности. Множество религий. Отсутствие единства элиты. Необъятные просторы. Больше сотни народов. В комплексе все это и диктует России неизбежную авторитарность. Без крепкой вертикали наш континент неизбежно рассыплется, погрязнет в междоусобицах, что доказано всем тысячелетием нашей истории. В России всегда одно и то же тысячелетие на дворе — державное тысячелетие медведя. Все матричные, повторяющиеся свойства нашей цивилизации связаны с державным характером государства либо напрямую, либо опосредованно, через условия его исторического становления. Еще Екатерина Великая в своих сочинениях доказывала, что республиканская форма правления для России губительна, ввиду обилия территории, обширности пространств, множества народов. И только самодержавие дает необходимую быстроту и твердость решений, спасительную в условиях такой географии.

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

Последующие века доказали правоту императрицы. Слабела вертикаль, и сразу хирела Россия. Укреплялась вертикаль, и страна начинала выползать из болота. Россия может быть только авторитарной или ее не будет вообще. Державность есть *необходимое* условие существования России, неизменное свойство ее властной матрицы.

2. Из российской истории легко вычленить циклы Модернизация-Застой-Переворот. Такая цикличность есть плата за авторитаризм нашей власти и сателлитность нашей цивилизации. Мы все время вынуждены проводить догоняющие модернизации, ломая застойные по своей природе авторитарные системы. Авторитарная система, в отличие от демократий, не имеет внутренних механизмов развития, кроме политической воли суверена. Поэтому при царе дряблом, слабом, не способном на реальную модернизацию, носителям российской Традиции приходится сносить авторитаризм вместе со страной, и уже новая Россия проводит догоняющую модернизацию.

Если царь не хочет быть большевиком, история ставит царем большевика.

В России в принципе не может быть консерваторов в западном понимании этого слова. Наша Традиция, наш консерватизм — это всегда модернизация, слом, разрыв. В России консерватизм — это всего лишь удобная маска для реакционеров, длящих золотой застой, желающих словами заменить дела. У нас разговоры о консерватизме есть верный признак того, что строй, элита дряхлеют.

3. Исторические вешки указаны В. Никоновым, на мой взгляд, правильно, а вот акценты в их трактовке я бы расставил несколько иначе. В данный момент, как мне кажется, особенно актуальны три периода российской истории:

Царствование Ивана Грозного

XVI век — век великого перелома, трансформация Руси в Россию. После взятия Казани Русь начинает превращаться в православно-исламскую державу, появляются предпосылки для укрепления самовластия и создания империи. Так Рим после эпохи великих завоеваний, превратившись в многоязыкий Вавилон, был вынужден сменить республиканскую форму правления на имперскую. И все то, что у Ивана Грозного еще только намечалось в самовластном черновике, у Петра I осуществилось в имперском граните.

Февраль длительностью в пятьдесят шесть лет

Речь идет о буржуазной царской России. Февраль 1861 года. Александр II подписывает Манифест об отмене крепостного права. Начинается буржуазная модернизация России. С этого момента наши стержневые державы становятся державами эстафетными, фениксными. Россия начинает жить и умирать в цикле модернизация-застой-либеральное уничтожение. Отрезок истории с февраля 1861-го по февраль 1917 года был для Российской империи одним сплошным самоубийственным буржуазным Февралем, длящимся пятьдесят шесть лет.

Бесплатного капитализма для России не бывает. Сперва царизм развивает

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

капитализм, а затем буржуазия и крупное чиновничество, набравшие сил и собственности, «в благодарность» уничтожают породивший ее авторитаризм вместе со страной.

После старта буржуазных реформ 1861 года любое российское эстафетное государство существует ровно столько, сколько оно способно продержаться против капитализма. Советская Россия установила рекорд, прожив целых семьдесят четыре года. Теперь РФ проверяет свои исторические возможности в битве с мировым капиталом.

Основной конфликт России последних полутора веков — это конфликт между нашим природным авторитаризмом и развитием капитализма, который порождает буржуазную демократию как власть собственников. Данный конфликт определяет политическую палитру и нашего времени.

Закат российского олигархического капитализма

Много лет власть повторяет мантры о модернизации, а что толку? Тем не менее, формула реальной модернизации проста. Модернизация = национализация недр + политическая воля. Это основа, без которой возможны лишь пустые разговоры. Реальную модернизацию можно провести только за счет российских недр, да еще при наличии политической воли. Все остальное — это перестановка посуды в ресторане «Титаника».

Надо четко понимать, что в девяностые годы Российской Федерации был навязан самоубийственный строй олигархического капитализма. Был сформирован класс антироссийских (по многим причинам) олигархов. Одна из причин ненависти олигархов к России чисто психологическая — люди не любят тех, кого обворовали. В нулевые годы силовики модифицировали, стабилизировали этот строй, но сама его формационная основа осталась прежней — предательской, олигархической, антироссийской. Сколько олигархов с Рублевки ни корми, а они все равно в Булонский лес смотрят. Хороших олигархов не бывает. Либералы во власти при первом же случае предадут суверена, что на себе испытал тот же Николай Второй.

Сам строй олигархического капитализма предназначен для ликвидации России. Его сердцевину, базис определяют антироссийские силы, которые при первой же слабине вертикали завихрят московско-болотный «майдан» и расстреляют РФ по украинскому сценарию. Запад им поможет, не сомневайтесь.

Кремль все это отлично понимает, поэтому старается оптимизировать олигархат, консолидировать его вокруг трона, но предательская сущность все равно возьмет свое. К тому же нынешнее политическое давление на олигархический базис не дает толком развиваться экономике. Российская вертикаль постоянно находится между двух огней. Дашь волю капиталистам — сметут вертикаль «майданом», очередной буржуазной революцией. Так был уничтожен царизм при Николае Втором. Не будешь развивать капитализм — все закончится деградацией экономики и поражением в неизбежном очередном конфликте с

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

Западом (так царизм потерпел поражение в Крымской войне при застойном правлении Николая Первого, после чего уже Александр Второй срочно принялся за буржуазные реформы).

Метафоры, характеризующие этот конфликт, подворачиваются сами собой. Вертикалы против либералов. Чекистская надстройка против олигархического базиса. Охранители против разрушителей. Кобзон против Макаревича. Никита Михалков против Ксении Собчак. Отцы и дети.

Как видим, конфликт еще и поколенческий, поэтому либералы обречены на победу, ведь столичная креативная молодежь в значительной своей части настроена либерально. Если отцы раздергали СССР, то спрашивается, почему детям нельзя расковырять Россию?

В рамках олигархического капитализма нет спасительных решений, поскольку он предназначен для ликвидации Украины и России. За счет умелого балансирования можно лишь продлить его жизнь, но если он отказывается от модернизации, то впадает в застой, и сносить его истории приходится вместе со страной.

К счастью, наш олигархический капитализм еще крепок, хотя и заражен уже метастазами застоя. Беда еще в том, что он не просто смертен, а внезапно смертен. История показывает, что в любой момент его может внезапно разбить апоплексический Февраль. Но лет десять-двадцать он протянуть способен, так что платить по счетам олигархического капитализма россиянам придется еще не скоро.

История России — это всегда оптимистическая трагедия. С крахом олигархического капитализма история России, разумеется, не прервется, но прежде чем приступить к «светлому будущему», надо сказать несколько слов о смыслах российской демократии.

Помимо двух бед в России есть и две святыни — царь и демократия. Для надежного успеха у нас надо одновременно уважать и суверена, и демократию, что непросто в природной державе. Совмещение любви к верховному правителю и идее народовластия требует от российского интеллигента определенной ловкости ума ввиду очевидной противоречивости этих чувств. Капитан на корабле «Россия» всегда прав. Демократия — «священная корова» Запада, которому мы подражаем и поэтому побаиваемся сказать о демократии худое слово.

Буржуазная демократия (власть собственников) в природной державе Россия по определению невозможна, но и от идеи демократии, очевидно, нельзя отказаться, поэтому любое наше эстафетное государство вынуждено выстраивать свой, доморощенный вариант демократии, по форме копирующий западные образцы.

В буржуазной демократии выборы предназначены для смены власти. В демократии суверенной (авторитарной) выборы предназначены для легитимизации партии власти, а также для ее «встряски».

1. Какой смысл вы вкладываете в термин «матрица» в приложении к истории? Существуют ли в реальности постоянные качества этносов и государств, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий? Если существуют, какие именно присущи России и отличают ее от прочих стран?

2. Принято считать, что в истории России преемственность традиции осуществлялась через ее разрыв. Насколько, по-вашему, верно это представление? В какой мере современная Россия сохраняет преемственность с различными эпохами своего исторического прошлого?

4. Разделяя оптимизм В. Никонова в отношении будущего России, я абсолютно уверен в обреченности нынешнего строя олигархического капитализма. Его «шагреновая кожа» неуклонно сокращается, и даже силовики и патриоты будут не в силах спасти этот обреченный строй.

Тогда на что надежда?

На российскую державную матрицу. Россия — это феникс, она всегда возрождалась очередной эстафетной державой, и я не верю, что на этот раз она прямолинейно пойдет по пути буржуазного самоуничтожения. Белая Россия — Красная Россия — бело-сине-красная РФ (либеральная держава). Черда эстафетных государств евразийской цивилизации не оборвется на этом списке.

Возврат России к социализму на новом витке его развития неизбежен. Без защитной социалистической идеологии РФ не устоять перед западной стратегией цивилизационного доминирования, с помощью которой сейчас уничтожается Украина.

В исторической перспективе необходимо повторение чуда Октября. Требуется Октябрь-2 (на этот раз мирный), который переведет Россию через неизбежный либерально-болотный «майдан» и обеспечит социалистическое державное спасение.

Мне видится будущий социализм в виде *союзного социализма*. Идея союзного социализма должна быть реализована на трех уровнях:

Союз народов.

Союз классов.

Союз цивилизаций.

Только на такой базе можно воспитать новую элиту, способную решить историческую задачу национального спасения. Авторитаризм — отличный строй при одном условии: власть должна быть образцово моральной. Союз-социализм есть идеология этической нормы и этической вертикали. Без заведомо моральной элиты авторитарный строй труднопереносим, поэтому контроль и учет элите надо начинать с себя.

И еще: «улучшателям» России надо помнить о главном законе матрицы: из нее нельзя сбежать, матрицу можно только уничтожить.

3. Какие исторические моменты, на ваш взгляд, являлись наиболее важными, определяли и продолжают определять судьбу России? Согласны ли вы с трактовкой этих моментов в книге В. Никонова «Российская матрица»?

4. Каким видится вам — если использовать выражение В. Никонова — «образ достойного завтра» России?

Даниил Чкония

Возвращение к себе

Андрей Волос. Возвращение в Панджруд: Роман. — М.: ОГИ, 2013.

Андрей Волос — имя устоявшееся в сознании читательском, в сознании литературного сообщества, поэт, переводчик таджикской поэзии, но окончательно утвердивший себя в прозе. И здесь путь был поступательным — от ярких коротких рассказов до на шумевшего романа «Хуррамабад», который раз и навсегда — мне уже доводилось об этом писать — закрепил за Волосом образ автора восточной, таджикско-афганской темы. И не то, чтобы другие романы писателя уступали качеством его произведениям восточной темы, ничего подобного — мастерство и сила наработанных приемов в них столь же очевидны, но «восток» Волоса всякий раз предлагает нам особую органику его творческих воплощений.

После «Хуррамабада» последовала серия произведений, которая была отмечена и престижными литературными премиями, и приветственными отзывами критиков, и читательским вниманием, но стоило автору вписать восточную тему в роман «Победитель» или «зацепить» тему в романе «Предатель», как эхо «Хуррамабада» возникало всеобщим позитивным откликом. В этом смысле роман «Возвращение в Панджруд» — это не только роман возвращения на родину великого Рудаки, это роман возвращения Андрея Волоса к самому себе, к своим писательским истокам.

Роман отмечен Букером и малым (студенческим) Букером — что само по себе служит знаком особого признания. Знаю литератора, который признаётся: если бы можно было выбирать, предпочел бы получить малого Букера — больше шансов, что это искреннее, объективное, независимое от внутрисписательских разборок коллективное суждение. Но не в премиях дело.

«Возвращение в Панджруд» — сложно выстроенное произведение. Сюжет напоминает киноленту, прокрученную в обратном направлении. Хронологически роман начинается с эпизодов, завершающих жизненный путь главного героя — поэта Рудаки, но читателю еще неизвестно, о ком идет речь. Более того, кажется поначалу, что главным героем романа станет шестнадцатилетний Шеравкан. Вот отрывок из первой главы романа — читатель сразу погружается в поэтическое мировидение самого автора, ароматом восточного утра пронизаны уже первые страницы:

*«Шеравкан взял глиняную чашку, окунул в чан.
Он был бос, и брызги ледяной воды казались обжигающе горячими.
— Что ерзаешь? — буркнул отец, снова подставляя ладони. — Лей как следует!
Из дома тянуло запахом молока. Мать сутилась возле танура — озаренный зев печи
в рассветной мгле казался пастью огнедышащего дэва.
Отец утер лицо платком, посмотрел на него и спросил вдруг и ласково, и хмуро:
— Не боишься?»*

— Нет, — сказал Шеравкан, помотав головой.

А слезы сами собой брызнули из глаз, и, чтобы скрыть их, ему пришлось торопливо плеснуть себе в лицо остатками воды.

Небо светлело, и уже с разных концов города летели вперевив друг другу протяжные вопли муэдзинов...

Торговые улицы в этот ранний час были малолюдны. Торговцы раскладывали товар, мальчишки поливали и яростно мели ободранными вениками утопанную глину перед открывшимися лавками. Впрочем, уже слышались какие-то покрики, и чем ближе к Регистану, тем оживленней становилась жизнь в торговых рядах. Груды женских туфель, вороха и кучи москательных товаров, за ними корзины, корзинки, корзиночки, коробочки, пакетики и склянки благовоний — и все это рядами! рядами! Персидская бирюза, туркменские лалы, золотые подвески для тюрчанок — все россыпью и кучками (и тоже ряд за рядом, в каждом из которых орут и волнуются продавцы), следом засахаренные фисташки, сушеные фрукты и халва, пряности и приправы, еще дальше кольчуги и наконечники для стрел и копий, в трех шагах от них три десятка лавчонок, торгующих жареным горохом и сушеными дынями, потом амбары чужеземных тканей (а рядом свои — синяя занданахи и роскошная ярко-зеленая иезди), и снова съестные лавки, над которыми сизый дым вперемешку со сладостной вонью плова и кебабов...

Регистан уже шумел в полную силу...»

Лишний раз убеждаешься, с каким знанием и любовью умеет автор передать этот аромат восточного базара, проникаешься всей пластикой волосовского письма.

Что до сюжета, мы только узнаем, что юноше предстоит дальний путь, что камень невоплощенной любви стискивает ему грудь — родители его и соседки красавицы Сабзины уже сговорились об их будущей свадьбе. Правда, следует еще год подождать, но, пусть украдкой, они, соседи, разделенные плетнем, могли иногда видаться, а теперь, перед долгой дорогой, он даже словом перекинуться, молчаливым взглядом встретиться с ней не может... Едва погрузившись в переживания юного Шеравкана, мы вскоре встречаемся с другим — главным — героем романа:

«— Слепой! Где слепой?

Наклонив голову и прислушиваясь, помедлил откликнуться. Может быть, он не один слепой. Может быть, здесь есть еще слепые?

— А хромой не нужен? — вой и гомон взбудораженных обитателей ямы перекрыл плаксивый голос. Джафар различал кое-кого; это был болтливый дервиш, страдавший за отрицаемое им воровство. — Или безрукий? Меня возьми — я безголовый! Что за несправедливость? Одних берешь, других оставляешь!

— Вот я сейчас возьму! — пригрозил стражник. — Со стены давно не летал? Полетаешь еще... Слепой-то где?

Кто-то молча толкнул — тебя!

Он встал. Качнуло — едва удержался на ногах.

— Держись, ну!

Кто-то еще — или тот же? — помог взяться за петлю скользкого ремня.

— Давай, давай... держи... сейчас вытянут!..

— Давай, — предложил стражник со смешком. — Скребись!

Это было точное слово: схватившись за петлю, Джафар нащупал неровную глиняную стену ямы, заскребся — и тогда уже кто-то схватил его под мышки и бросил на край.

Больно ткнувшись щекой и подглазьем в сухую глину, он инстинктивно сделал несколько движений, чтобы отползти дальше. Потом сел, тяжело переводя дыхание.

— Раздевайся.

— Что?

— Снимай с себя все.

Что-то мягко упало рядом. Пощупал — тряпье.

— Одежду тебе послали, — недовольно сказал стражник...

Голова кружилась.

Покорно стащил с себя чапан, швырнул в сторону. Нашарил в кипе новый... да, вот он... что еще?.. это рубаха... а это?.. штаны... платок... вот и сапоги... От новой одежды пахло свежестью, от сапог — новой кожей; только сейчас почувал: должно быть, обоняние, убитое вонью зиндана, возвращалось к нему.

— Все, что ли? — недовольно спросил стражник. — Это в яму кинь... А, черт! — Раздраженно шаркнул сапогом, сваливая вниз тряпье. — Ладно, иди... да не туда!

Джафар послушно побрел, вытянув перед собой руки и спотыкаясь. Сопровождающий направлял его движение, тыча чем-то твердым в бока, — должно быть, ножнами. Дорога была неровной. Солнце уже осветило площадь — щека чувствовала едва уловимое тепло.

Они шли, шли... кажется, вышли из ворот... Куда теперь?»

Великий поэт Абу Абдаллах Джафар ибн Мухаммад Рудаки (858—941), оболганный, преданный учениками, осужденный, ослепленный, покидает зиндан, чтобы вернуться в кишлак своего детства, проделав долгий — в сотни километров — путь: такова последняя милость эмира. А нашему юному герою Шеравкану предстоит сопровождать его: такова воля всесильного Гургана. Таков зачин этого повествования.

Интригуя с первых строк романа, Волос не намерен облегчить читательскую работу: наша сосредоточенность понадобится еще многократно, чтобы уследить за всеми перипетиями сюжета, судьбами действующих лиц, пересечениями их жизненных путей: «восток — дело тонкое» и «давно сидим» — подумаешь не раз. Не торопись, читатель, как бы внушает нам автор, проникнись этими судьбами, пройди этими дорогами...

Вот эмир Назр, его путь к власти, пока не вникнешь в его линию жизни, не все поймешь в его отношении к поэту. И кто такой повар Абу Бакр, мятежник, стремящийся отдать власть Мансуру — брату Назра? Кажется, сюжет петляет, словно лисий след, уводя читателя от главной темы, но неисповедимыми путями, ведомыми писателю, выводит к основной линии романа. Многие проясняя, многое делая выпуклым, «выпятив» эту линию романа, как «выпячивают» за ворота своих коней враждебные разъяренные всадники из повествования Волоса. Только Волос не разъярен, не враждебен своему читателю, усложняя развитие сюжета, а — наоборот — развязывает к середине повествования все узелки, облегчает понимание замысла: побудить нас прожить, пережить судьбы героев, сделав их ближе, понятней, живее.

И как мы будем радоваться, когда Рудаки будет призван ко двору эмира, когда получит заслуженный титул Царя поэтов, уважительное внимание власти, всенародную любовь... Простой люд будет искать его одобрения, его благословения... Но, ох, не вечна ласка эмиров — сменяется поколение властителей, свергаются бывшие кумиры, меняются декорации, в фаворе оказываются иные советники и визири... Трагедия Рудаки сродни трагедиям многих выдающихся людей разных эпох в истории разных народов. И господин Гурган нависнет над Царем поэтов знаком трагической несправедливости судьбы.

Обреченный на долгий путь печального возвращения к истокам, слепой поэт рассказывает историю своей жизни юному поводырю Шеравкану, словно заново проживая ее, но и по-новому осмысляя. А что же юный Шеравкан? А у него в голове и перед глазами — красное платье Сабзины, надежда на то, что служба эмиру и Гургану — а поручение сопроводить Рудаки на родину и есть его «государева служба», которую он намерен сослужить честно и рьяно, — откроет ему путь наверх, куда вероятно еще не поднимались люди его сословия. Так что сочувствовать презренному слепцу он не намерен. И помнит отцовские наставления:

«— Сам господин Гурган, да пошлет ему господь тысячу лет благополучия!..» Целый час рассуждал. Мол, смотри, Шеравкан, не упусти возможность. Мы маленькие люди, а жизнь маленького человека устроена просто: показал себя с самого начала — и дело пошло. Большая, мол, река начинается с одной капли. В следующий раз господину Гургану скажут: есть один такой славный парень по имени Шеравкан, а он и спросит: какой еще такой Шеравкан-Меравкан? — Как же какой, господин Гурган! Извольте вспомнить: это же тот, который слепца препровождал в Панджруд!.. Тут Гурган воскликнет: «Ах! Конечно! Как я забыл! Отличный парень этот Шеравкан... Как раз такие нам нужны! Сколько ему? Восемнадцать? Отлично! Записать этого Шеравкана в третью сотню и дать ему самую хорошую лошадь!»

Отец долго твердил это на разные лады. А разве Шеравкан сам не понимает? Он понимает: конечно, важное дело... еще бы не важное!.. Кому сказать — не поверят: пацану только-только шестнадцать исполнилось, а он уже на казенной службе. И уже получил за нее целый дирхем — полновесный дирхем исмаили!»

И дело-то невеликое — отвести слепца в Панджруд, сдать под надзор родственников как неимущего... Да, ждал казни слепец, как освобождения от страданий, а ему дарована милость — жить в полном унижении, нищете, позоре — даже милостыню просить запрещено... Ну, юноше нет никакого дела до переживаний слепца, ничего, кроме брезгливой неприязни к узнику, от которого несет воню зиндана, он не испытывает, вытирая руку о свою одежду после прикосновения руки старца. Отец говорил про пять дней пути до Панджруда, но им не дали лошадей, а противный слепец еле тащится, испытывая терпение Шеравкана:

«Правой рукой слепец цепко держался за пояс поводья. И все равно шагал неловко, неуверенно. То и дело задирает голову, как будто пытаясь взглянуть-таки из-под повязки, и лицо у него было напряженное и сердитое. И дергал, когда оступался.

Это раздражало Шеравкана.

Ему казалось, что они идут слишком медленно.

На его взгляд слепцу следовало встряхнуться и шагать тверже. Ведут тебя, так давай, шевелись... А он все ощупкой норовит. Ногю ставит боязливо — будто край обрыва нашаривает. И голову задирает. Что толку? Разве еще не понял, что к чему? Задирай, не задирай, ни черта не увидишь... лучше б ногами двигал. Уж если пошли, так надо идти. А иначе как?»

Жизнь уже дает первые — не лучшие — уроки юноше: они с Джафаром подошли к караван-сарая, надо сделать остановку. Владелец «отеля» неприветлив, зло ироничен — нет у него желания принимать юношу с этим слепым старцем, но уж если он и пустит их, то и деньгу немалую запросит, а то чего мараться, ему надо богатых купцов принимать... Только стоило караван-сарайщику узнать, по чьему велению следует принимать слепца, как он меняет свое отношение:

«Шеравкан пожал плечами.

— Мне сказали ночевать в караван-сараях...

— Ничего не понимаю! — возмущился хозяин. — Если он тебе никто, почему ты с ним? Шеравкан снова пожал плечами.

— Поручили.

— Кто поручил?

— Господин Гурган.

— Господин Гурган? — изумился хозяин. — Это же...

Замер с полукрытым ртом.

— Ну да, — кивнул Шеравкан. — Господин Гурган. Визирь молодого эмира. Эмира Нуха.

— Визирь молодого эмира Нуха, да продлится его благословенная жизнь на тысячу веков, — пробормотал хозяин. — Кто же он тогда?

— Кто?

— Да слепец твой, слепец! — раздраженно сказал хозяин. — Что ж ты такой тупой-то, парень! Какое дело до него господину Гургану?!

Шеравкан обиделся.

— Я не тупой, — сухо сказал он. — Я на самом деле не знаю. Мне не говорили. Слепой он. И нищий...

— Нищий, говоришь?

Хозяин призадумался...

— погоди-ка! — Хозяин уже перекалывал остатки мяса с блюда на лепешку. — Ты вот что. Отнеси своему слепому, пусть поест как следует. Так, мол, и так, скажи. Скажи, дескать, Сафар послал, караван-сарайщик. Кланяется, мол, желает благополучия. Да и сам перекуси. Вечером похлебка будет. Понял?

— Понял, — кивнул Шеравкан, принимая подношение. — Спасибо...»

Вот он механизм человеческих отношений: едва слышав имя Гургана, сменил тон хозяин. И Шеравкан понимает: держись тех, кто властвует, и все двери отворятся тебе. К счастью для его незамутненной души, его ждут и другие уроки: на долгом пути — беседы с Джафаром, уроки отношения других людей в других кишлаках к любимому народом поэту.

Этот путь позора и уничтожения личности поэта — по замыслу злобного Гургана — становится путем возрождения жизненной и творческой мощи Рудаки, потому что он ощутил тепло народной любви, понял, что его слово необходимо народу, чтобы там ни задумывали сильные мира сего!

Но это еще и путь становления личности Шеравкана. Он осознает меру несправедливости тех, кто намерен губить живое слово, живую мысль, топтать человеческое достоинство в угоду властям предрешающим, в угоду тем, кому собрался служить он, намереваясь обеспечить свое благополучие. И вот уже недавнее брезгливое раздражение сменяется почтением к учителю, учителю в прямом смысле — Джафар обучает юношу грамоте, учителю в более широком и глубоком смысле — ибо слепой поэт дает юноше и уроки человеческого достоинства, уроки житейского опыта, уроки истинной мудрости.

Причудливо меняющие направление сюжета вставки, от кишлака до кишлака проделанный путь, являются прямыми реминисценциями во времени. Образ Рудаки притягателен и в глазах людей по-прежнему полон благородного сияния — повод для спекуляций и легенд, распространяемых мошенниками, которые пытаются выдать себя за поэта в его «отсутствие», рассказывая небылицы или превращая в небылицы факты из его биографии:

«На ближайшем к кухне топчане вниманием завладел Рудаки — тот самый нервный человек, которого Шеравкан уже приметил ранее. Обжигаясь, он жадно пил горячий чай, давился, засовывая в рот новые куски дармового хлеба, кое-как глотал, снова припадал к пиаде — и все в целом почти не мешало ему говорить.

— ...Три раза я отказывался. Зачем мне это нужно? Я Царь поэтов — живу себе, команду писаками при дворе! Они мне делают различные подношения — на все готовы, только бы я обратил внимание на их нелепые вирши!.. И вот на тебе: бросай все и езжай в Герат вытаскивать оттуда эмира Назра!

Он окинул слушателей возмущенным взглядом и развел руками — мол, сами понимаете, какая глупость.

— Эмиру что? Эмир уехал погостить у двоюродного брата, ну и загуляли они там, ясное дело. Охота, пиры, наложницы! Что еще нужно человеку для счастья? Это же просто рай на земле — сады, прохлада, в ручьях вода — зубы ломит, всюду родники специальные понаделаны, из которых вино бьет, девушки кругом — нет, не девушки, а самые настоящие гурии, пышногрудые, податливые!.. Как от всего этого уехать? Месяц он сидит в Герате, другой, третий... Год сидит! Свита томится, конечно, понятное дело... Кому охота торчать там без жен и детей? Бухара начала волноваться: где правитель? Ну и впрямь — как жить людям без эмира? Ни суда, ни порядка, все в тревоге... А ему что? — он гуляет! Один раз за ним послали: так, мол, и так, солнце наше, пожалуйста в столицу, без вас не может Бухара! Другой раз послали — то же самое. В конце концов визирь ко мне чуть ли не со слезами: Рудаки, дорогой, поезжай в Герат, эмир тебя любит как родного сына, как отца тебя уважает!.. может быть, он хотя бы тебя послушает! До восстания недалеко, честное слово! Бухара в смятении — что, если туранские племена нападут? Кто защитит?

Рассказчик откусил от краюхи и снова припал к пиале.

Воспользовавшись краткой паузой, пожилой купец, со вздохом оглаживая бороду, заметил:

— Верное говорите, уважаемый. Бухара без эмира — что тело без головы. Это исстари так... Ведь еще когда великому Самани, да усладится его душа райскими наслаждениями, посоветовали ввести новый налог на поддержание крепостной стены вокруг города, он ответил: «Не надо! Пока я жив, я — стена Бухары!..» Верно, верно говорите, уважаемый: эмир — стена и крепость Бухары!»

И дальше, пока не разоблачит мошенника оказавшийся рядом стихотворец, бывший ученик поэта, Шахбаз Бухари, будет он врать про то, как он, «Рудаки», своими песнями вернул подданным своего эмира.

Эдакая хлестаковщина древних времен, или азиатчина нынешних. Да и не из современных ли реалий это убеждение: «Пока я жив, я — стена Бухары!..» И причитания по поводу того, как жить без эмира: «Ну и впрямь — как жить людям без эмира? Ни суда, ни порядка, все в тревоге...»

Вот и сам разоблачитель, проливающий слезы о судьбе учителя, не он ли теперь успешный торговец, хозяин караванного груза, неудавшийся ученик поэта? И не слишком ли легко соглашается он, что опасно ему являться в Бухару, когда истинный Рудаки предостерегает его:

«— Деньги?! — встрепенулся Бухари. — Бог с вами! Не думайте о деньгах! Уже завтра к полудню я буду в Бухаре. Я везу восемь тюков пенджабского кимекаба! Восемь тюков золотканого кимекаба! Вы же знаете, племянник дал мне в долг под сорок процентов годовых... Видите, вы меня отговаривали от этого предприятия, а как все славно вышло!.. Завтра я заложу часть и тут же пришлю вам деньги! Какой смысл идти в Панджруд пешком? Вы наймете повозку и...»

— Тебе нельзя сейчас в Бухару, — прервал его Джафар. — Тебя тут же подгребут. Сочувствовал карматам? — сочувствовал. Со мной и с Муради знаком был? — был. Речи возмутительные слушал? — слушал. Этого хватит, уверяю тебя. В лучшем случае — станешь таким, как я. В худшем — вовсе голову снимут.

Бухари поежился.

— Разве они еще не успокоились?

— Не знаю. Говорят, возле Арка кровь ручьями текла.

— Ручьями! — ахнул Бухари.

— Так говорят, — невозмутимо уточнил Джафар.

— Но прошло уже полтора месяца, — робко заметил Шахбаз Бухари. — Может

быть, они успокоились? И потом, разве я — важная птица? Я всего лишь ваш ученик... Мои стихи мало кому интересны...

Джафар пожал плечами.

— Насчет того, насколько успокоились, не знаю... Говорю же: в яме сидел... Ну да, конечно, тебя мало в чем можно обвинить... Заходил иногда вместе с другими молодыми поэтами... рассуждал о поэзии... Казалось бы, это не преступление. Но ведь можно и иначе вопрос поставить: с кем рассуждал о поэзии? С бунтовщиком Муради рассуждал, с поощрителем карматских идей Джафаром Рудаки рассуждал! Если рассуждал с ними, значит, и сам такой.

— Да-а-а... — вздохнул Бухари.

— И потом: был бы ты бедняк — дело другое. Но ты, к сожалению, человек сравнительно обеспеченный. Дом у тебя есть, имущество кое-какое, деньги в обороте, товары вот из Индии везешь. Почему не попользоваться? Тут же донесут: так, мол, и так, поэт Шахбаз Бухари прибыл в Бухару с бесценным грузом пенджабского кимекаба. Кто сей Шахбаз? Известно кто: приверженец всемирной справедливости, сторонник двенадцатого имама, враг порядка и возмутитель спокойствия. Следовательно, сам он подлежит немедленной казни, а кимекаб его бесценный — столь же немедленной конфискации. Как прикажете, господин Гурган: прямо сейчас башку снести? С нашим удовольствием. А насчет кимекаба не беспокойтесь, доставим в сохранности!..

И Джафар рассмеялся, качая головой, — похоже, ему нравилась собственная речь. Бухари молчал, грызя ноготь на большом пальце...»

А что ж, водился с кем не надо, слушал сомнительные речи — к ответу! А при этом завел себе «бизнес», разбогател, как не «отжать» его?

Волос занят художественной реставрацией эпохи Рудаки, так не слишком ли много «подсказок» предлагает ему современность? И, вообще, меняется ли этот мир?

Роман Андрея Волоса — это пространная притча, мудрое иносказание, повосточному лукавое, но, несомненно, обращенное к реалиям нашей современности. Слишком очевидны параллели, слишком прозрачны намеки в этом поэтическом проникновении в историю жизни великого поэта, в этом порой сатирическом памфлете, основой для которого служат легенды о Рудаки, о его эпохе.

Писатель дает нам свои уроки?

Ирина Василькова

«Это дело уже кружевное — характер пера...»

Поэт — лишь одна из ипостасей Евгения Клюева, далеко не всеми признанная. Клюев-сказочник читателю известен больше — и книги одна за другой выходят, и на сцене играют. Да и романист не из последних. Но сам он, между тем, именно поэзию считает главным в своей жизни.

Клюев — ученый, лингвист, давно живущий в Дании — обитатель двух речевых стихий, много чего о разных языках ведающий. И этот факт многое о поэте объясняет.

«Музыка на Титанике» — не слишком ли прямолинейное название? Тонем, дескать, братцы, но упорно продолжаем играть. Однако все же ключевое слово здесь — *музыка*. Свойство, от которого почти вся современная поэзия отказывается сознательно или подсознательно — в пользу мысли, жеста, парадокса. Клюев в этом смысле совсем не современен — он идет за звуком («Да нет, никуда я никем не зван — я просто иду на звон...»).

Музыка эта далеко не проста, и главное впечатление от поэтики Клюева — упоение процессом. Автор играет, и играет весело. Темы с вариациями, повторы, фиоритуры — чистая радость от того, что инструмент совершенен, что дает массу возможностей. Избыточность? Определенно. Но — какого рода?

Инструмент Клюева — это его родной язык, сохранивший память и традицию, и оттого кажущийся отчасти старомодным.

Виртуозное владение ритмами, размерами, изощренной строфикой, узнаваемые отзвуки и отголоски (то длинная строка Юрия Левитанского, то ритмические повторы Юнны Мориц, то блаженная многоречивость Беллы Ахмадулиной, то кажущаяся простота Булата Окуджавы... — шлейф поэзии семидесятых, несомненно, но это далеко не главное). Согласовательные аномалии, полисемантика, сознательная ломка языковых структур (вполне экспериментален в этом смысле цикл «На языке пираха», имитирующий речь племена, у которого нет понятий числа и времени, да и много чего другого)... Включение в текст самых разных культурных клише свойственно постмодернизму. У Клюева их множество, от лирически-революционной «Там, вдали, за рекой...» до хрестоматийного детского «Огуречик-огуречик, не ходи на тот кончик...» и даже полузабытых белки со свистком. Но общее впечатление — не центонность, а синтез. Автор вроде бы тащит в стихи лоскутья, обрывки, «прихотливейшей формы обрезки», схватывая, сшивая все на живую нитку, но этот «пэчворк» «к лицу» лирическому герою, он ему «по фигуре» и удерживается от расползания усилием его поэтической воли и фантазии.

А при чем тут на шляпе карман и на галстукке вытачки, на душе два веселых помпона, а в горле аршин — без меня разбирайтесь, портные классической выучки, я-то храбрый портняжка, и как уж пошил — так пошил.

Современная поэзия, несмотря на кажушийся «разброд», требует от автора если не нормативности, то некоего этикета, а его-то «ненормативный» Клюев и нарушает на каждом шагу. Он выпадает из всех классификаций. Актуальным минимализмом, лаконизмом и «голой поэтикой» здесь и не пахнет. Академическим стихотворцем автора тоже не назовешь: его виртуозная версификация выглядит не серьезно, а эпатажно — в силу неистребимой самоиронии.

Лирический герой Евгения Клюева — типичный романтический персонаж с его «отдельностью», непонятостью и отсутствием перспектив: «Я всегда не на месте и ни с кем не совпадаю по масти». Он родом из том-сойеровского детства, когда карманы набиты разными разностями — на перечислении этих радостей построен цикл «Находки на ютских дорогах» (с подзаголовком «весенне-летняя коллекция»). Подобная «коллекция» нормальному серьезному человеку кажется полной ерундой, но только не Клюеву. Для него весь мир — коллекция. «Я о тебе напишу еще, обещаю я по дороге/облачку безразличному по имени Розалинда,/ и о тебе напишу еще, улитка-рогач Ольдерогге — / скажем, на суахили, чтоб было совсем солидно.» Перебирать, одушевлять, давать имена, придумывать, переживать еще одно приключение души, «ткать и ткать свое сердечное панно». И иронично замечать при этом, что

выдуватель воздушных шаров
вовсе не есть выпускатель паров —
он есть, так сказать, созидатель миров:
демиург, верховода, бахвал!

Главные же авантюры клюевского нематериального мира, его битвы и ловитвы — вполне лингвистического свойства: «...взять и поймать наконец ударение фразовое / и отпустить навсегда под шатер золотой,/ больше уже никому на земле не навязывая/ тоники этой, силлабики этой пустой...»

Свои константы, свои законы, свои игры — можно «прибавлять яблоко к дождю», можно менять маски, а можно

играть в фанты, где автор примеряет к своим клонам разные жизненные роли и позиции — когда требуется то спеть и сыграть на лютне, то завязать глаза, то свистеть в свистульку, или что-то и вовсе экзотическое: кричать петухом, скакать на метле или идти целоваться на улицу, причем «попадется ему дьяволица ли, горлица — это неважно совсем»...

Тринадцать «заданий» цикла «Что делать этому фанту?» демонстрируют один из любимых клюевских приемов — длинные цепочки стихотворений, в результате которых автор, меняя ракурс, ритм и оптику, получает некое объемное слайд-шоу изображаемого объекта (разумеется, нематериального свойства). И это вполне в поэтической парадигме Клюева: благодаря намеренному пространственному усложнению текст становится лабиринтом: «Ах, оставить бы это поле, но я слишком люблю повторы, / Боже, как я люблю повторы — куда б они ни вели...»

Параллели, повторы, зеркальность — свойства орнамента, искусства, казалось бы, совершенно неактуального. Но вспомним: изучая и тщательно копируя орнаменты Альгамбры, гениальный график Мауриц Эшер пришел к своим знаменитым сериям оптических иллюзий. Ну да, «игры чистого разума», никакого отношения к реальной действительности, если смотреть в целом — хотя присутствует точная детальная прорисовка перышек, лапок, чешуек, кирпичиков и прочих «мимолетностей» жизни. Клюев знает это свойство собственной поэтики и, усмехаясь, именует «кружевом»:

Неужели это — то: ни тонких кружев,
ни воздушной кисеи... один бетон!
В общем, кружев тут у вас не обнаружив,
я растаиваю в дыме золотом.

То есть речь идет о подобном способе говорения как о личном способе преломления реальности, и я недаром вспоминаю Эшера с его «нефотографичным» отражением действительности. Вот, например, мнение Олега Чухонцева: «...сейчас поэзия многословная, многослойная на какое-то время стушеввалась. В мире так много всего происходит, он так меня-

ется, <...> что это требует не описания, а мгновенного, очень короткого отклика. Эту действительность возможно только фотографировать».

И отдельный разговор о ритмах. Многие из них отсылают нас к сидящим в подсознании — от детской считалки и «Чижика-пыжика» до Пушкина, от Новеллы Матвеевой и Дмитрия Сухарева до, извините, и вовсе Сумарокова. Вряд ли это неосознанная ритмическая всеядность — скорее диалог со множеством других поэтов или же напоминание о том, как много было найдено предшественниками. В таком случае роль Клюева — быть Коллекционером, хранителем и каталогизатором пройденного.

Однако, все перечисленное — лишь техника письма, то самое *как*, а стоит ли за этими «кружевами» какое-либо *что*? Если пройти вместе с автором сквозь все его лабиринты, оказывается, что книга Клюева весьма поэтически содержательна. Она состоит из семи разделов, каждый из которых мог бы стать отдельной цельной книгой, и все они прошиты сквозными мотивами.

Уже упомянутый побег в виртуальную действительность, скажем, позволяет Клюеву не впасть в актуальный «депрессивный реализм», несмотря на понимание, что живет он «в сломанном мире, и вокруг одна невеселость». С возможностью подобного побега связан еще один ключевой мотив — благодарность миру, хотя типичному романтическому герою это, в общем-то, не свойственно. И в самом деле, где он, такой рефлексирующий «сладкоголосый индивид, последний неликвид», черпает силы, чтобы сказать: «и за все — большое спасибо»? Как он отвечает на вопрос «...почему мне все-таки не темно и откуда вся благодать»? Так и отвечает — потому что чувствует вертикаль. «Я любил только небо и в нем — птиц» — то есть слова, которые не только обслуживают какие-то смыслы, а сами по себе являются смыслами.

И тут возникает еще один важный мотив — принципиальная непереводаемость любого высказывания с одного языка на другой, о чем автор знает не понаслышке.

На втором родном все светло как днём
и качается метроном.

А на первом родном — качается сад
и снежинки во тьме блестя.

.....

на втором родном я бревно бревном,
а на первом — лоза лозой.

Но он видит и дальше: непереводаемость, затрудненная коммуникация, объективно существует не только между языками — между людьми. Более того — с собственным «я», особенно если тебе снится «сон, говорящий на другом языке». Значит, корни одиночества, отдельности — в разноязычии. Хотя, собственно, и в этом ничего нового — все помнят тютчевское «другому как понять тебя». Но если Тютчев предписал молчание, Клюев находит выход все в той же музыке:

Ах, фьоритур, фьоритур —
одной, другой и третьей вторы
явленье в дальних зеркалах,
и видно хорошо отсюда,
как сообщаются сосуды
Христос, и Яхве, и Аллах.

Такое впечатление, что клюевские стихи написаны человеком, бегущим вприпрыжку. Даже трагичные. И статичные — где он просто пьет чай, глядя в окно. Ему свойственна интонация человека не вполне взрослого, не вполне серьезного. Легкого человека. Он и с читателями почти всегда разговаривает, будто мы дети. Будто достает нам кролика из шляпы.

И, как ни странно, в эту поэтику вполне укладывается наша реальность-злободневность, не говоря уж о гражданственности:

Только пальчиком ткни — и былым временам
хана,
и какая-нибудь шпана, но всегда шпана
объявляет, что жить отныне разрешено
или запрещено, — и падает домино,
и становится все равно.

Это территория не пафоса, не пророчества, а социальной иронии, социально-го гротеска. Но за этой иронией трудно не заметить пронзительной ностальгии по тем временам, что ушли без возврата:

...да и сам язык был младше...
чуть младше — нет, не хуже или лучше,
а раньше, и, как выяснялось, тоньше,
без мата, и у каждой почтальонши,
да что там почтальонши — кастелянши,
за нею раз пятнадцать повторимши,
вполне спокойно можно было брать уроки
культуры речи при царе Горохе...

И это при том, что автор «был в отчаянии от той страны, в которой все мы были неравны, но говорили, что равны — и ввали», но ведь и эмиграция оказалась тоже отчасти фантомом.

Финальное стихотворение сборника — «Красная нить» — не просто пересмеивание советской социальной утопии, но и печальное понимание того, какие зигзаги выписывает история на вечных путях «через тернии к звездам»:

Это было в одной небывалой стране,
что надолго заснула верхом на коне, —
и пригрезилась ей в обстоятельном сне
невозможные всякие вещи...

.....
И сквозь все, что хотелось тогда изменить,
пробегала, как помнится, красная нить —
ибо требовалось то и дело казнить
тех, кто не был своим в том отряде,
и не то чтобы ради грядущих времен
или связанных с ними больших перемен —
преимущественно ради алых знамен...
в общем, их полыхания ради.

«Титаник» у Ключева — это не только образ катящейся в тартарары истории, но и личный удел каждого из смертных. А музыка — это любовь. Поэтому вся книга, как и вся поэзия, — она о любви и смерти. Без надрыва, но со щемящей нотой — впрочем, нота искусно завуалирована фирменной улыбкой и усмешкой.

Ольга Балла

Соработник творения

Выпущенный издательством «Время» сборник — наиболее полное на сегодня собрание поэтических текстов Алексея Парщикова. Здесь — не все, им написанное, но, пожалуй, — все важное. Во всяком случае, здесь — парщиковская классика, тексты, без которых давно уже не представима русская литература. Интересно и важно все это перечитать теперь, сегодняшними глазами — и в рамках единого взгляда.

В книгу вошли стихи из книг первого, тонкого сборничка Парщикова — «Фигуры интуиции», выпущенного «Московским рабочим» в 1989-м и оказавшего на читательские умы (ну, во всяком случае, —

на юный тогда ум автора этих строк) резко-расковызывающее действие; из «Cyrillic Light», «Соприкосновение пауз», «Землетрясение в бухте Цэ»; из киноработки «Подпись» — так и не ставшего фильмом сценария; грандиозная — написанная поверх известного сюжета пушкинской «Полтавы» — поэма «Я жил на поле Полтавской битвы», снискавшая Парщикову в 1986-м премию Андрея Белого. Здесь же опубликованы и «Дирижабли» — писавшийся в 2000-е годы, давший название всей книге цикл (так предпочитал называть эту, сюжетно связанную последовательность текстов сам автор; составители этого сборника называют ее «поэмой с относительно автономными частями»). Цикл, оставшийся незаконченным, но важный для автора уже самой

Алексей Парщиков. Дирижабли. — М.: Время, 2014. (Поэтическая библиотека).

своей темой: о воздухоплавании и его ранних средствах — и о том, что эти средства делают с человеком, с его отношениями к миру — он думал много лет; дирижабли — один из сквозных его образов, они всплывают и в более ранних стихотворениях. И, наконец, помещены сюда отдельные стихотворения — «Из несобранного».

Что особенно важно, составительница книги Екатерина Дробязко расположила написанное Парщиковым в нетипичном для прежних изданий хронологическом порядке. Это не было свойственно прижизненным сборникам поэта, которые составлял он сам (подчиняя их организации иным логикам). Таким образом, Парщиков впервые оказывается представлен читателю в развитии: от ранней подборки «Днепровский август» до одного из предсмертных стихотворений — вопросительной, полной осторожной надежды реплики-прощания с маленьким сыном. И мы теперь имеем возможность проследить траекторию становления парщиковской поэтической оптики. Вообще — пережить опыт его поэзии как целого.

Траектория же ее становления оказывается на удивление прямой — и восходящей. На протяжении всей книги — от описания сома в «Днепровском августе» до ветра, дующего в Сан-Ремо на последней странице «Дирижаблей» — мы наблюдаем равномерное нарастание сложности на основаниях, намеченных в самом начале, и расширение поля поэтического зрения, забирание в него все новых и новых предметов и пространств, всей полноты существования в его чувственных подробностях. Это — опыт живой, постоянно осваиваемой безграничности.

С первой страницы этой книги и до последней читателя не отпускает чувство присутствия при творении мира, в его жаркой мастерской. Нет, не только парщиковского поэтического мира, хотя это — конечно: мира вообще. При соучастии творению, соработничестве в нем (поэт тут — не комментатор, не описатель, а именно со-работник: подтаскивает на строительную площадку слова, как кирпичи, слаживает их друг с другом, проверяет их соединения на прочность).

И одновременно — при его, свежесотворенного, все время творящегося заново мира, реинвентаризации, при составлении больших реестров возникающих сущностей, приведении их в подвижный, обозримый — и всякий раз вновь разбегающийся — порядок. При анализе этого порядка.

Слова «анализ» и «порядок» — и автоматически ассоциируемая с ними рациональность — не должны тут вводить в заблуждение. Поэтика Парщикова-исследователя (а его поэтическая установка, конечно, исследовательская) рациональна лишь в очень своеобразном смысле. То есть да, рациональный, аналитический компонент в ней чрезвычайно силен. Однако рациональность — не на первых ролях, не она — то начало, которое все определяет. Нежданность, неполная (если вообще) постижимость парщиковских сочленений элементов бытия в пределах одной метафоры («их соединяет едва различимый дугообразный зародыш / идеи падения...») не оставляет сомнений в том, что ведущим у него всегда оставалось чувство таинственности мира, принципиальной его невмещаемости в человеческое разумение. Каждая выхватываемая хищно-аналитическим взглядом деталь, независимо от степени своей важности в пределах целого (впрочем, здесь все — напряженно-важно) достойна тут изумления — и неизменно его вызывает. В каждой чувствуется осуществляемым что-то невозможное (так, даже рыба-сом — в начальном, самом, наверное, простом стихотворении книги — предстает как «чёрный ход из спальни на Луну»). Поэзия Парщикова в этом смысле экстаична: она постоянно исступает из пределов обыденного восприятия. Она держит восприятие в непрекращающемся напряжении: тому буквально на каждом шагу приходится осваивать новые ситуации — чтобы тут же оставлять их за спиной и идти дальше.

Поэтическую силу Парщикова составляет редкостное сочетание изумления перед тайной мира — с тщательным аналитизмом. И то целое, которое возникает в результате, определяется динамическим, упругим равновесием этих двух на-

чал, их взаимоборством и влиянием друг на друга — проникновением друг другу под кожу.

Может быть, благодаря ведущему чувству таинственности бытия анализ Парщикова — парадоксальным (на поверхностный взгляд) образом не расчленяющий, но соединяющий. Не просто выявляющий связи — но создающий их. Поэтому делается возможным соединять под подвижной крышей одной метафоры, раздвижного и прижизненного дома смыслов, — дышащее и недышащее, органическое и механическое, историческое и природное, низкое и высокое, значительное и пустяковое. Все различия между ними — кажущиеся; на той глубине, на которой работает «угледобытчик»-Парщиков, различий вообще нет. Все разрастается из одного корня — и непрестанно этот корень чувствует. Все подключено «шерстью к начальной вере».

Вот как расцветают сами собой, на встречу внимательному глазу, героини одного из относительно ранних и самых, наверное, известных стихотворений Парщикова — жабы, сколько примет разных областей бытия они успевают собрать по пути — и свести воедино:

Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом,
и ядерной кажется всплеска цветная корона,
но любят, когда колосится вода за веслом,
и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона.

Они цветут, они прекрасны не менее, чем объемлющее их сладкое зловоние родного затона — и родственны мировой культуре ничуть не менее, чем описывающее их слово:

А то, как у Данта, во льду замерзают зимой,
а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.

Родство, взаимопереход, взаимообусловленность и острая взаимная потребность органического и неорганического, живого и неживого, слова и дословесного («метало море на рога / под трубный голос мидий / слогов повторных жемчуга / в преображенном виде»), технического и метафизического («Дирижабли, вы — небо в небе. Поэтому там вдвойне / ошутимо

присутствие ангелов»), смыслового и досмыслового было, кажется, одной из основных, изначальных тем внимания поэта.

С подробностью анатома описывая зримое, Парщиков говорит о неочевидном.

Он открывает, по собственному его выражению, «дороги зрения, запутанные, как грибницы» — дороги, по которым общекультурное и, так сказать, общепозитическое зрение обыкновенно не ходят — и которые позволяют видеть необщезаметные связи.

Да, он воспитывал новый язык — но лишь затем, чтобы было слово, соответствующее новому видению, его возможностям и задачам.

Среди многих удивительных сегодняшнему читательскому взгляду черт парщиковского мира — еще и то, что этот мир, при всей беспощадности и нечеловечности (внечеловечности, надчеловечности) того, что способно в нем происходить, — не трагичен и не катастрофичен. Даже когда беспощаден — а таков он нередко. Современному взгляду это в самом деле непривычно, поскольку катастрофизм и трагизм впитались в самое естество нынешнего мироощущения, вошли в состав его очевидностей, чуть ли уже не банальностей (чего с ними — восприятиями по определению чрезвычайными — быть, разумеется, не должно, но то отдельный разговор).

А у Парщикова — странным образом даже жестокое убийство бродячей собаки — не переставая быть жестоким и страшным — превращается в космическое, онтологическое действие, чуть ли не в мистерию:

Ей приставили к уху склерозный обрез,
пусть пеняет она на своих вероломных альфонсов,
пусть она просветлится, и выпрыгнет бес
из её оболочки сухой, как январское солнце.

Это действительно смерть во всей своей, вроде бы, окончательности и безнадёжности (но заметьте — в этом мучительном словесном ряду неспроста мелькнет вроде бы неуместное здесь слово «блаженный»):

Николай Анастасьев

О пользе цитирования

Недавно Андрею Михайловичу Туркову исполнилось девяносто, и отметил он эту почтенную дату не за пиршественным, сообразно событию, но за привычно-рабочим столом, готовя к изданию книгу, в которую вошли статьи и очерки, написанные, почти без исключения, в новом столетии.

Состоит она из четырех разделов:

— силуэты писателей, чью творческую судьбу определила война — Ольга Берггольц и Константин Ваншенкин, Василий Быков и Владимир Богомолов, Елена Ржевская и Артём Анфиногенов, Борис Слуцкий и Эммануил Казакевич, конечно же, Твардовский с его «Василием Тёркиным». Открывает этот раздел, задавая ему смысловой и стилистический камертон, замечательное стихотворение Сергея Наровчатова. Надо бы воспроизвести его целиком, но стесняют рамки рецензионного жанра, потому — только первые четыре и последние девять строк:

Не будет ничего тошнее,
Живи ещё хоть сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
.....
...А лишь закончится война,
Тогда — то, главное, случится!
И мне, мальчишке, невдомёк,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше сделать смог.
Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.

— этюды, из которых составляется, пусть и не во всей своей полноте, конечно, литературный пейзаж последней тре-

ти XX века, — наблюдения над книгами Федора Абрамова и Виктора Астафьева, Юрия Домбровского и Бориса Можаяева, Даниила Гранина и Александра Крона, Владимира Корнилова и Светланы Алексиевич.

— беглые или пространные заметки о товарищах по профессии — критиках и литературоведах — Сергее Макашине, Инне Соловьевой, Владимире Лакшине, Юрии Манне. К ним органично примыкают мемуарные до известной степени очерки о людях, которые сами написали не много, но литературе служили подвижнически — Анне Самойловне Берзер, Льве Левицком, Марлене Михайловне Кораллове, чьи сроки и оборвались-то — страшно вспомнить — у нас с Андреем Михайловичем на глазах во время обсуждения одной нерядовой книжной новинки.

— наконец, полемика вокруг разных событий текущей литературной жизни.

В таком построении есть своя логика и точность, и все-таки, мне кажется, единство книге — книге, а не просто сборнику статей, — обеспечивает не общность судеб их персонажей, не сюжеты их книг, не стилистическое родство и даже не пребывание в едином литературном времени.

Оно определяется цельностью творческой личности автора. Его вкусы могли меняться, оценки тоже, расширялись интересы, уходя порой далеко в сторону от литературы, но стиль высказывания — а он, как пояснял Бюффон, важнее его предмета — остается неизменным на протяжении скольких уж десятилетий.

Этот стиль отличается профессиональной честностью, опрятностью, уважением к писателю и читателю.

Есть старая максима, которую, правда, при повторении обрезают, как правило,

Андрей Турков. На последних вёрстах: Книги. Судьбы. Споры. — М.: Новый ключ, 2014.

ровно на половине. *Habent sua fata libelli*. Но древнеримский грамматик Теренциан Мавр оговаривает — *pro captu lectoris*. То есть примерно — книги имеют свою судьбу, в зависимости от того, кто их читает. Или *как* их читают: быть может, в чисто лингвистическом смысле в таком переводе заключено некоторое своеволие, но, увы, его провоцирует опыт нашего суетливого и слишком влюбленного в идеологию времени. Слишком часто книги читают торопливо, невнимательно, а главное — хищно, применительно, говоря пушкинскими словами, к предрассудку любимой мысли. Читая иные рецензии, а то и целые статьи, решительно затрудняешься понять, каков сюжет книги, и как она написана, и что у автора получилось, что не очень, а что не получилось совсем. Собственно, он, этот автор, критику даже несколько мешает, ибо более всего интересуется только одна фигура — собственная. Либо, в лучшем случае, — идея, которой он поглощен вполне и безраздельно. На этой почве сходятся заклятые, казалось бы, недруги — патриоты-державники и либералы, вернее те, кто себя так называет, чаще всего без должных на то оснований. Они равно дрейфуют в русле, проложенном некогда Юлией Кристевой, одной из ключевых фигур французского постструктурализма, заявившей с достойной уважения прямоотой: критике литература не нужна.

Критическое творчество Андрея Михайловича Туркова — явный вызов этой укоренившейся манере. В его книгах и статьях отчетливо различим шум литературы, воплощающий шум времени, как романы и повести персонажами, они плотно населены цитатами из поэзии, прозы, драматургии, журналистики, мемуаров, литературно-критических сочинений, словом, всего того, о чем он пишет. И нет нужды, о ком идет речь — о классике, например, Твардовском, или об авторе книг-биографий, например В.Есипове, или о только начинающем свой путь в литературе прозаике, например, А.Бушковском.

Казалось бы, такое обилие чужих слов и гул чужих голосов сужают пространство собственного высказывания и могут заг-

лушить собственный голос. Но это не так, потому что и слова, и голоса — как раз не чужие. Они осмыслены, пережиты и услышаны критиком, и из их воспроизведенного звучания вырастают и свой взгляд, и свое отношение к художнику. Собственно, оценок в этой, как и в других, книге Туркова почти нет, а эпитетов, что величальных, что уничижительных он вообще, как черт от ладана бежит. Но ни в том, ни в другом, собственно, нет нужды: чуткий читатель, а на такого критик и рассчитывает, и без всяких прямых указаний уловит позицию автора.

Она выше партийных пристрастий и конъюнктурной суеты, более того — она выше идеологии. Именно это, как мне кажется, позволяет Андрею Михайловичу на всех ветрах и при всех соблазнах сохранять спокойное достоинство, благородную сдержанность и верность только одной любви — самой литературе.

Мало ли мы знаем примеров внезапных превращений, когда персонажи нашей литературной сцены, вчера еще вполне добропорядочные и законопослушные, вдруг становились скрытыми диссидентами и вообще пламенными поборниками свободы. Я ни в кого, упаси бог, не хочу бросить камень, тем более, что сам всегда играл по правилам, мне просто жаль, что революционная страсть не позволяет сохранять должную меру объективности в суждениях и осуждениях, а более всего — самооценках.

Андрею Михайловичу Туркову такие порывы совершенно чужды. Чужды по той простой причине, что в любых обстоятельствах он, говоря словами Твардовского, продолжает честно тянуть свой воз. Понятно, что довлеет дневи злоба его, и Турков не исключение, но тут мы вступаем, по Гегелю, в зону тонких разграничений. Быть может, не всегда в полный голос, но *этот* критик неизменно отделял злаки от плевел и в разговоре о литературе планку не понижал. Вспоминаю, как много лет назад на каком-то литературном собрании чуть ни каждый, во всяком случае каждый второй из его участников находил своим долгом — хотя предмет обсуждения был совсем иной — сказать

некие высокие слова о только что появившемся романе тогдашнего руководителя Союза писателей Георгия Маркова. В какой-то момент на трибуну вышел Андрей Михайлович и, как бы между делом, не повышая, как всегда, голоса, заметил, что да, конечно, Георгий Мокеевич написал замечательную книгу, но все же это не «Война и мир» XX века, как может показаться со слов некоторых коллег. И всем, ну, почти всем, как-то сразу стало неловко.

Поэтому я очень хорошо понимаю, отчего так покорило Туркова приговор, прозвучавший со страниц вузовского учебника по русской литературной критике XX века, вышедшего в начале двухтысячных: «руководство критикой (со стороны власти) было практически полным». Впрочем, это все же обида не столько за себя, сколько за товарищей по профессии, тоже пытавшихся, при всем свирепстве цензуры, говорить правду. И если составители учебника ограничиваются разоблачительной риторикой, то автор «Заметок на полях» приводит в пользу своей позиции убедительные аргументы в виде... ну да, цитат. Одно дело — ретрансляция, как пишет Турков, начальственных указаний, когда один критик (Е.Книпович) усматривает в «Книге про бойца» осуществление «воли и разума советской власти, коммунистической партии», и совсем иное — непосредственный, живой отклик, когда другой критик (Д.Данин) в нем же, Василии Тёркине, этом труженике войны, находит «преданного сына своей земли, ненавистника зла и варварства, жизнелюбца, храбреца без позы, добряка без корысти, правдолюбца без ханжества, балагура без паясничества, философа без хитроумия».

Нет, что ни говорите, цитировать книги — полезное занятие.

Хотя, наверное, и не всегда приятное.

Мне кажется, безупречно целомудренное отношение Туркова к литературе с особенной ясностью ощущается в его не слишком частых полемических выступлениях (они и в этой книге составляют совсем небольшую часть общего объема). Казалось бы, по самой своей природе они требуют острого слова, но ведь нет,

нет в них стилистики фельетона. Разве что легкая ирония порой улавливается, хотя, бывает, карикатура буквально напрашивается, и я легко могу представить, как развернулась бы на этой площадке, скажем, Наталия Иосифовна Ильина. Но Туркова и в этом случае выручают цитаты. Допустим, Иван Савельев, отважно именующий себя наследником Твардовского, изъясняется следующим образом:

Я кладу на плаху стих,
Пусть узнает — в испуге:
Две недели — между них.
Вечность рядом,
Как мгновенья.

Ну что тут скажешь? Все ясно, так что, может, и впрямь, на долю критика остается лишь сноск: «между них» — это разница в датах рождения Пушкина и Твардовского.

В полемике Турков неизменно и безукоризненно корректен. Положим, профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд, уличая российских чеховедов (в кругу которых не последнее место занимает Турков) в стремлении «воссоздать из подручных материалов житие святого», хищно подглядывает в замочную скважину спальни Чехова, и вот из этих «подручных материалов» реконструирует «подлинную», надо полагать, биографию классика. Пьесы же его и рассказы интересуют почтенного профессора лишь в той мере, в какой соотносятся с амурами. А то уже другой автор, на сей раз отечественный, поэт Сергей Мнацаканян прогуливается по садам российской словесности, брезгливо оглядываясь по сторонам. Какие уж тут добрые нравы российской литературы, о которых говорила Анна Ахматова. «Сухая, как Баба-Яга, напряженная и цепкая Маргарита Алигер... Старый Вознесенский... с уже детскими глазами... Тоскливые эмигрантские ландшафты Бродского... Мистификатор и биллиардист Межиров (который) уже не различает номера на боках биллиардных шаров».

Но даже в этих крайних случаях Турков, то ли вступая в спор, то ли защищая честь и достоинство товарищей-литера-

торов, не снимает белых перчаток. От оппонентов такой верности дуэльному кодексу ожидать, естественно, не приходится. Понятно, что С.Мнацаканяну не понравился отзыв критика на книгу его мемуаров, понятно, что он хочет защититься, не нельзя же, непристойно в ответном выпаде целить в шрамы, оставленные войной. Имен в своем ответе, появившемся через семь лет после публикации рецензии, мемуарист не называет, но разве что совсем уж далеко отстоящие от мира литературы — а много ли таких среди читателей как раз «Литературной газеты», со страниц которой он прозвучал — не узнают в раненном на фронте солдате, будущем критике (полемист употребляет оборот, который воспроизводить здесь я не нахожу возможным) Андрея Михайловича Туркова. А попутно чуть не сикофантом клеймит его — оказывается, всю жизнь этот прозрачный аноним только тем и занимался, что писал лстивые книги о начальниках. Ну да, все они, от Салтыкова-Щедрина до Чехова и от Блока до Твардовского, конечно, большие литературные вельможи. Воспользовавшись случаем, С.Мнацаканян, вновь прибегая к легко угадываемым намекам, и Маргариту Алигер привычно, и тоже в выражениях крайне разнузданных, бранит, уличая в тайном сговоре с властями. Лично мне большую меру низости представить трудно, особенно если принять во внимание несчастную личную судьбу Маргариты Иосифовны, о которой С.Мнацаканяну не может не быть известно.

Впрочем, все это бытовой сор литературной жизни, ибо кому, кроме любителей жареного, интересны прозрения Д.Рейфилда и разоблачения С. Мнацаканяна?

Но есть в полемических рассуждениях Туркова, при всем их лаконизме, два сквозных сюжета, которые разворачивают читателя в сторону уже не просто нравов, но серьезных заболеваний нынешней гуманитарной мысли, особенно в тех случаях, когда она обращается к лицам историческим.

Одно из них представляет собою род наркотической зависимости, только в ка-

честве наркотика выступает не анаша или героин, а идеология. Недуг этот, впрочем, не нов, только если раньше герои политической либо художественной жизни становились заложниками идеологии пролетарской, то теперь, скажем, имперской, или державной. Все зеркально переворачивается, но на самом деле остается самым собою, ибо, как заметил однажды немецкий поэт Иоганнес Бехер, противоположностью ошибки является ошибка.

Несколько лет назад Борис Тарасов, дебютировавший некогда ярким жизнеописанием Паскаля, обнародовал двухтомный труд о Николае Первом и дал по следам публикации пространное интервью корреспонденту все той же «Литературной газеты». Оно и привлекло внимание А.Туркова, что неудивительно: Николай Палкин, как именовали этого русского царя в тех учебниках истории, по которым учился я (да, подозреваю, и Б.Тарасов тоже) стал теперь «рыцарем самодержавия» и воплощением «высших начал в государстве и человеке», его же противники — декабристы из, по В.И.Ленину, зачинателей, хоть и страшно далеких от народа, русского освободительного движения превратились в обманщиков того же самого народа и нарушителей присяги.

Сама это метаморфоза сколь любопытна, столь и характерна для наших времен, но на беду автора интервьюер решил укрепить его позиции ссылкой на авторитет Ключевского и Соловьева, судивших об исторических фигурах прошлого России, в отличие от клеветников позднейших времен, «взвешенно и здраво». Автор двухтомника ничего на это не возразил и тем самым молчаливо присоединился к собеседнику. И совершенно напрасно, иначе избежал бы неприличного ученому мужу конфуза. Цитаты — орудие беспощадное, они разоблачают любую идеологию, представляющую собою, как полагал еще один, также не почитаемый ныне мыслитель, ложное сознание. Турков приводит их, как всегда изобильно, и выясняется, что верно судили о прошлом классики нашей исторической мысли, взвешенно и здраво, да только совсем иначе, нежели это пред-

ставляется участникам разговора, а именно: император Николай Первый это «дееспот... военный балетмейстер... чуждый (России) и напуганный, но от испуга более решительный (нежели его отец) сыщик».

Конечно, поэтические произведения открывают куда больше простора для фантазии, нежели сочинения научные. Ключевскому мысль о рыцарственном благородстве царя Николая можно приписать, лишь сильно и неоправданно рискуя быть схваченным за руку, а вот представить Грибоедова в обличье противника декабристов и, напротив, союзника персонажей, представляющих собою оплот режима — Фамусова, Скалозуба, а попутно и Молчалина с его «умеренностью и аккуратностью» — почему бы и нет? Именно эти свойства ценит в нем И.Золотусский — автор статьи, опубликованной несколько лет назад опять-таки в «Литературной газете», и тогда же вызвавшей (как и интервью Б.Тарасова) полемическую реакцию со стороны А. Туркова. И что ответить критику, если он скажет — воля ваша, а я вижу комедию Грибоедова именно так, и читаю смысл ее названия именно так: «Горе уму вознесшемуся... горе уму, лишенному сострадания». Понятно, что это ум Чацкого. Интерпретация есть интерпретация, ее с той же легкостью, что и подлог в изложении той или иной документально зафиксированной позиции не опровергнешь. И все-таки мне кажется, что Игорь Золотусский тоже уступает в данном случае капризам идеологической моды, каковой, кстати, твердо противостоял в лучшие свои — 70-е — 80-е — годы. И, на мой взгляд, в статье, которую А.Турков недаром включил в книгу — сегодня она звучит еще большее актуально, чем когда была написана — семь лет назад, — это убедительно показано — с твердой опорой на текст комедии.

Другая болезнь — тоже недуг хронический, но временами и в иных случаях заметно обостряющийся — идолопоклонство.

Александр Солженицын — слишком крупная фигура и его духовное наследие — слишком мощный пласт нашей жизни, чтобы походя касаться его в скромной рецензии. Потому просто отошлю читателя к статье, также вошедшей в новую книгу А.Туркова, — «Минуя «встречные мысли». Она представляет собой, как сказано в подзаголовке, «заметки на полях биографической книги» Людмилы Сараскиной о Солженицыне, и смысл их, этих беглых заметок, состоит, обобщенно говоря, в следующем: творить кумиров — дело сомнительное, особенно если привязанность к герою — чувство вполне понятное и оправданное, — и даже преклонение перед ним заставляет закрывать глаза на некоторые неудобные обстоятельства, мешающие иконописи. И вновь критик цитирует, цитирует, из этих цитат выясняется, что отношения Варлама Шаламова и Солженицына были не такими идиллическими, какими представляет их Л.Сараскина, а Игорь Дедков, при всей своей любви к Солженицыну-художнику, развивал в одной из своих статей «встречные» ему мысли. Но как раз эту статью — «От "Августа четырнадцатого" к "Марту семнадцатого" Л.Сараскина благополучно минует.

... «На последних вёрстах» — так назвал Андрей Турков свою юбилейную по срокам, но вовсе не по содержанию книгу. А я парирую, вспоминая к случаю финал набоковского «Дара», представляющий собой, как известно, стилизацию стянутой в одну фразу онегинской строфы: «...продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка».

Удачного Вам продолжения пути, дорогой Андрей Михайлович!

«Моя большая страна»

III Межрегиональный телевизионный фестиваль

Уже в третий раз ООО «Консалтинговое агентство Даллас и К^о» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям провело телевизионный Фестиваль «Моя большая страна».

Проводится он с целью привлечения внимания общественности и СМИ к теме сохранения и развития этнокультурного многообразия и традиций России, гармонизации межкультурных и межрелигиозных отношений, воспитания культуры межнационального общения, укрепления национального согласия и духовной общности народов России.

Более 250 заявок, объединенных идеей сохранения традиций, культуры и этнического многообразия от 100 региональных телекомпаний из 49 регионов страны поступило на Конкурс телевизионных работ. На этот раз, после Казани и Уфы, Фестиваль принимала Самара, собравшая в прошлом году наибольшее количество заявок.

«Для меня, как для телевизионщика и журналиста, очень важно, что у нашего Фестиваля есть своя ниша. Помимо того, что работы глубокие, серьезные, они еще очень добрые и позитивные, а это — то, чего, на самом деле, сейчас очень многим СМИ не хватает, региональным чуть менее, а вот федеральным точно не хватает добра и глубины. Очень приятно, что это всё есть в работах номинантов Конкурса, который проходит в третий раз и организован на очень высоком уровне», — отметил **Александр Александрович Малькевич**¹, который на предыдущих Фестивалях был участником, а на нынешнем возглавил Жюри.

В 2014 году Фестиваль «Моя большая страна» еще больше упрочнил свои позиции и доказал актуальность поставленных перед ним целей и задач. Это не удивительно, поскольку для проведения III Фестиваля сложился мощный состав Оргкомитета. Для всех участников и гостей Фестиваля личная встреча с его членами — это бесценный опыт и продуктивное сотрудничество.

«В последнее время начали очень много говорить о «русском мире». Где-то в глубинке России делалось то самое кино о том самом «русском мире», в котором мы живем, а в параллельном мире существовало мнение, что мы — составная часть Запада, и вот такой большой России надо «войти в игольное ушко» и стать Европой. На долгое время мы свернули шею и смотрели куда-то туда и очень долго с этой свернутой шеей жили. Этот Фестиваль возвращает понятие «русского мира», — отметил **Василий Иванович Антипов**².

Финал Фестиваля «Моя большая страна» проходил в Самаре в течение двух дней. Город принял у себя 24 номинанта из разных уголков нашей необъятной Родины — Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Ижевск, Махачкала, Челябинск, Владимир, Киров, Тамбов, Уфа и другие. Обширная география Фестиваля является значимым фактором эффективности состоявшегося мероприятия, поскольку Фестиваль носит межрегио-

нальный характер и ставит своей целью как привлечение к участию именно региональных телекомпаний, так и содействие их профессиональной деятельности.

«Мы знаем уровень работ региональных компаний. Жаль, что их работы остаются в тех регионах, где они созданы. Несмотря на обилие фестивалей, они редко выходят за рамки своих регионов, этим работам сложно попасть на федеральный канал», — рассказывает Владимир Станиславович Сеньюшкин³.

«Безусловно, те работы, которые выберет компания СТП «Контент» ОРТ, представляющая для региональных вещателей ту часть контента, которую они не могут купить себе сами, будут включены в эфир региональных партнеров», — добавил Игорь Витальевич Потоцкий⁴. — «Этот фестиваль для меня важен в трех отношениях. Первое — это один из самых важных телевизионных конкурсов, который в стране вообще есть. К сожалению, мы сегодня плохо знаем страну за пределами своих городов и регионов, а она стоит того, чтобы ее знать. То, что вы увидите в работах фестиваля, достойно быть показанным. Второе — то, что вы увидите здесь, — это настоящее документальное кино. Это работы очень разного уровня, 250 заявок — очень большой объем, среди них есть великолепные работы абсолютно мирового класса. Третье — миф о том, что есть федеральное телевидение, оно имеет все на свете, у него много денег, и есть региональные телевидения, которое всегда будет вторичным, — пора забыть навсегда, этот фестиваль еще одно тому подтверждение. Здесь есть работы, которые ни в чем не уступают и даже превосходят то, что мы видим на федеральных каналах. Это может быть одно из самых радостных сторон сегодняшнего события».

Гостям показали Самару, для журналистов была проведена пресс-конференция с членами Оргкомитета. В рамках Фестиваля также состоялось два мастер-класса, вызвавших большой интерес, поскольку на них была затронута актуальная тема «Освещение национальной тематики в СМИ». Гости узнали тонкости работы с темой межэтнических отношений, как сделать ее интересной и не дать повода к разжиганию межнациональной розни. Провел мастер классы Валерий Александрович Тишков⁵, для которого этнография является основной творческой темой.

«Мы много говорим о российском патриотизме, о российской идентичности, но чем его наполнять — местная идентичность, региональная, здесь должно быть не «или», а «и», где одно другого не исключает. Более того, без малой Родины не существует большой. То, чем мы занимаемся, в том числе служит этим целям. Наблюдается поворот, рост интереса к этно-тематике, интерес к разнообразию, к культурному отличию», — рассуждает И.В. Потоцкий.

После двух дней закрытых просмотров телевизионных работ номинантов Конкурса были определены победители Фестиваля «Моя большая страна». А для всех желающих был организован открытый просмотр работ, что позволило региональным телекомпаниям-номинантам критически оценить собственный уровень в сравнении с конкурентами.

«Я много смотрю регионального телевидения, отбираю работы для своих программ. Работы, представленные здесь, очень высокого профессионального уровня. Этот продукт очень качественный, очень хороший и часто неторопливый. Например, смотрим мы работы о природе Ямала, я вижу, что там ребята сидели и работали 2-3 месяца на вечной мерзлоте, искали сов, искали лягушек, животных, которые живут на этой речке. В этом нет суеты, но есть любовь к природе, к среде, в которой они живут. Вы знаете, для того, чтобы такой работой заниматься, — это должно быть образом жизни. В журналистской суете, где нужно прибежать, схватить и убежать, это сделать невозможно. Этого несуетливого взгляда на свою страну очень не хватает динамичным, бурлящим федеральным каналам, потому что мы живем на бегу. Вот эту интонацию размышления, созерцания, любви нужно возвращать, чтобы видеть мир. Мы не видим мира, едут люди в метро, ходят по городам, смотрят в этот экран, и у них там все мелькает — это взгляд чужими глазами. А работы, которые здесь представлены — это свои глаза, это не

однообразный взгляд, потому что каждый автор смотрит по-своему. Мне очень жалко, что то, о чем мы с вами говорим, вы только слушаете», — рассуждает **В.И. Антипов**.

Имена победителей были объявлены на финальной Церемонии награждения победителей Фестиваля «Моя большая страна» 29 октября 2014 года в ДК им. Пушкина, собравшем под своей крышей более 200 зрителей. На Церемонии присутствовали **Дмитрий Евгеньевич Овчинников** — вице-губернатор-руководитель Администрации Губернатора Самарской области, представители профильных департаментов Администрации Губернатора Самарской области, с гордостью принявшие Фестиваль на самарской земле и обозначившие мероприятие как знаковое для их области. Концертный зал ДК им. Пушкина украсил своим грандиозным выступлением Государственный Волжский хор.

Итак,

в номинации **«Культурная зарисовка»** победу одержала **ГУП УР «ТРК «УДМУР-ТИЯ»** (г. Ижевск) с работой *«Кто мы (Сны с того берега)»*;

в номинации **«Душа народа»** — **НП «Этнографическое бюро»** (г. Екатеринбург), работа *«Усть-Полуй»*;

в номинации **«Просто о сложном»** победила **ОТРК «ЮГРА»** (г. Ханты-Мансийск) с работой *«Земля Югорская»*;

главный приз в номинации **«Культура в лицах»** взяла **ООО «Киноvideостудия «Вятка»** (г. Киров), работа *«Вятские ящеры»*;

в номинации **«Наша история»** главный приз ушел **ГБУ «ТРК «Губерния»** (г. Самара), работа *«Очарованный странник. Асхат Зиганшин»*;

в номинации **«Стиль жизни»** победитель **Альтернативная Иркутская Студия Телевидения (АИСТ)** (г. Иркутск), работа *«Линия горизонта: «Монахи-отшельники»*;

номинация **«Одинаково разные»** — **ГБУ РД РГВК «Дагестан»** (г. Махачкала), работа *«Три грани холодного искусства»*;

и в номинации **«Маленькая страна»** главный приз достался **Телекомпании «МИР-ТВ»** (г. Владимир), работа *«Забятая святыня»*.

Поскольку членам Оргкомитета было непросто выбрать всего восемь победителей из большого числа номинантов, ими были учреждены Специальные номинации.

«Такое большое количество хороших, светлых, глубоких, позитивных работ, что нам пришлось в качестве почетной нагрузки вводить дополнительные призы Жюри», — заявил **А.А. Малькевич**.

Их получили:

Телекомпания «ВОЛГА» (г. Нижний Новгород) *за вклад в развитие регионального бренда*. Работа *«Нижний Новгород. Истории великие страницы»*;

ОАО «КРТК» (г. Сыктывкар) *за вклад в сохранение историко-культурного наследия*. Работа *«Кандинский. Путь к зырянам»*;

«Областное Телевидение» (г. Челябинск) *за достижения в области гуманитарной географии*. Работа *«Все Чудеса Урала»*;

ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, Детско-юношеский телеканал «Тамыр» (г. Уфа) *за уникальный вклад в развитие детского телевидения*. Работа *«Торнакай»*;

ГБУ «Московский государственный зоологический парк» (г. Москва) *за гуманистический подход к истории*. Работа *«Зоопарк с человеческим лицом»*;

Творческое объединение «РИСК-кинокомпания» (г. Москва) *за вклад в сохранение исторической памяти*. Работа *«Дольше жизни»*;

Компания «Фильм-медиа» (г. Москва) *за вклад в сохранение исторической памяти*. Работа *«Хроника летящего слона»*.

Гран-при специальной номинации достался **Компании СТП-Контент** (г. Москва) *за объединение региональных телевещателей* — работа *«К 200-летию М.Ю. Лермонтова»*.

Журналистами был задан вопрос о разном уровне технического оснащения компаний, принимавших участие в Конкурсе, по какому же принципу осуществлялся

отбор победителей. На это членами Оргкомитета было предложено вдуматься в названия номинаций... Они не имеют ничего общего с громкими фразами — «Лучший режиссер», «Лучший оператор», «Лучшая телекомпания» и т.д. Самое главное — это то, чего «большим» каналам не хватает — душа. А как раз серьезное глубокое кино регионального вещания делает не техника, делают люди в совсем небогатых местных телекомпаниях на устаревшем морально и физически оборудовании. Делают глубокие серьезные работы, у которых есть душа.

Напомним, участники Фестиваля, члены Оргкомитета и Организаторы с нетерпением ждут новой встречи в 2015 году. Пока остается загадкой, какой город России соберет номинантов пятого Межрегионального телевизионного фестиваля «Моя большая страна», но то, что Фестиваль состоится, нет никаких сомнений. Региональные «телевизионщики» уже сейчас с уверенностью могут начать подготовку новых конкурсных работ, а Организаторы надеются, что география мероприятия будет расширяться с каждым годом, качество конкурсных работ будет только расти, а число региональных телевизионных компаний увеличиваться. До новых встреч!

Ознакомиться с Победителями, их работами, посмотреть, как все проходило, можно на сайте Далласико.рф

¹ МАЛЬКЕВИЧ Александр Александрович, *Председатель Жюри фестиваля* — Генеральный директор ГТРК «Омск» (12 канал), член Правления Национальной Ассоциации телерадиовещателей России. В 2014 году вошел в Книгу рекордов России «за самый короткий срок создания регионального медиа-холдинга с нуля» («КЧР Медиа»). Заслуженный журналист Карачаево-Черкесской Республики, Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, Лауреат Национальной премии в области медиа-бизнеса «Медиа-менеджер России-2012» — «за реализацию успешных социально-значимых проектов на региональном телевидении», Номинант Национальной премии в области медиа-бизнеса «Медиа-менеджер России-2014» в категории «Региональные медиа-холдинги»

² АНТИПОВ Василий Иванович, *Член Оргкомитета* — Шеф-редактор Службы цикловых и тематических программ телеканала «Россия 1».

³ СЕНЮШКИН Владимир Станиславович, *Исполнительный директор Оргкомитета* — Исполнительный директор НП «Объединение Региональных Телекомпаний», политический обозреватель и ведущий программы «Якутия. День за днем» (г. Якутск), член экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей.

⁴ ПОТОЦКИЙ Игорь Витальевич, *Член Оргкомитета* — Генеральный директор СТП «Контент» ОРТ.

⁵ ТИШКОВ Валерий Александрович, *Председатель Оргкомитета* — Директор Института этнологии и антропологии РАН, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат государственной премии РФ, Действительный член РАН, Академик РАН, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Баланс беспредела

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Беспредел» я отложу до финала этой заметки. А сейчас — баланс:

Айседора Дункан и Марина Влади,
Вы спасения ради... увы... се ля ви...
У Сергея стакан, игла у Володи,
неформат европейской любви...

Так начинается стихотворение Кирилла Ковальджи, напечатанное в альманахе «Муза», выпуск 25-й; название цикла «Таинственна жизнь».

И еще как таинственна! Айседора и Марина — колдовской сцеп имен, баланс непредсказуемости, семейный неформат в жизни знаменитых поэтов.

Не хочу придираюсь к качеству строк, синтаксическая хромота второй вполне уравнивается щегольской рифмой в третьей: «Влади — Володи».

Цепляет меня куда больше — пара символов, обретших в нашей реальности анекдотическую живучесть. Стакан? Непременная вариация евшушенковского гимна поэзии: стакан в России больше, чем стакан. Игла? Чтобы не впутываться в наркоту, — анекдот про наследника престола, которому предсказали безбедное царствование, а он в ответ: «Я бы еще немного шил...»

Но возвращаюсь к «Сереже» и «Володе». То есть к Есенину и Высоцкому. К таинственному смыслу неформата их жизни.

Десятилетие назад я прочитал у Ковальджи в подаренной мне книге следующее откровение:

«Писатель — и нормальная жизнь? Как-то не по-русски...»

Впрочем, не десятилетие надо бы мне отсчитать, а еще на полста лет больше. К середине двадцатого века, когда я, недавний выпускник московского университетского филфака, впервые услышал имя и стихи недавнего выпускника московского Литинститута... В его имени певучее греческое окончание оперяло крутую устойчивость славянского корня... В биографии пережитая война оборачивалась то бессарабским, то румынским прифронтовым подданством и, наконец, увенчалась молдавским гражданством. Я, молодой журналист, часто ездил тогда в Кишинев, там мы и познакомились; жены наши, университетские однокашницы, облегчали общение... Стихов было много, я о них успел и написать тогда же, хотя смущало меня у Кирилла переполняющее строки взвешенное внимание к жизненным коллизиям, так что иной стих так и тянуло пересказать как убедительное мнение... Тогда ведь были в ходу заполошные страсти, мнения сшибались, а не взвешивались: какой там баланс! Или проку-

роры, или адвокаты накренившейся послесталинской системы и нависшей антисталинской перестройки! Кирилл не был ни с теми, ни с другими, он относил себя к «любопытным летописцам» жизни... Нормальной жизни. Как и я.

Теперь я возвращаюсь к этюду Кирилла из цикла «Мозаика» в книге «Обратный отсчет» 2003 года:

«...В России поэтов или убивают, или они сами себя приканчивают. Недаром Кюхельбекер в XIX веке в стихотворении "Участь русских поэтов" написал:

"Горька судьба поэтов всех времен; тяжеле всех судьба казнит Россию..."

А в XX веке подтвердил Волошин: "Темен жребий русского поэта..."

Трагическая традиция стократ увеличивает силу таланта.

Знаю, знаю...»

Многое знание — многая печаль?

Обратный отсчет таится подтекстом в стихах настоящего поэта, даже если он хотел бы «помешать трагедии осуществиться».

Как помешать?

Ответ из той же «Мозаики»:

«Жить, принимая все...»

А если поэтов убивают, и они знают, что гибель неотвратима? Если изначально и окончательно «Россия со счастьем в разводе»? И суждено таким заступницам, как Айседора и Марина, сцеплять имена, сияющие посмертно?

Обратный отсчет — к стихам, сложившимся когда-то у Кирилла, когда он обнаружил, что при переезде из Европы в Россию надо переставлять железнодорожные тележки:

«На границе вагоны меняют колеса — у России не та колея». Поразительные строчки — до сих пор помнятся!

Теперь — финал стихотворения, начатого именами Айседоры и Марины:

...Потому что Россия со счастьем в разводе,
В разладе, не в моде — зови, не зови...
Но бессмертье Сережи, бессмертье Володи —
В беспределе русской любви!

Понятно, *что* меня зацепило, завело, заело? Волшебное слово, заставляющее нашу нормальную повседневность взлетать в бесконечность, «обратным отсчетом» прозревать истоки и преодолевать границы, — наш роковой, спасительный, безудержный, безотчетный *беспредел*.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2014 ГОД

	№	Стр.
Юбилейное	IV,	3
ПРОЗА		
АНУФРИЕВА М. Карниз. <i>Роман</i>	III,	9
БАТАКОВА И. Масуд. <i>Рассказ</i>	VII,	119
БЕЛОЗЁРОВ А. Мой Аурел. <i>Маленькая ополченская повесть</i>	XII,	110
БУШКОВСКИЙ А. Как сплести канатик. <i>Рассказ</i>	VII,	108
БЕЙТС Герберт Эрнест. Время. <i>Рассказ. С английского.</i>		
<i>Перевод Д. Смирновой</i>	X,	140
ВАСИЛЕНКО А. Переменная облачность. <i>Повесть</i>	II,	5
ГРАТТ Г. Свинцовый дирижабль. <i>Повесть</i>	IV,	68
ГУЦКО Д. Палата «ноль». <i>Повесть</i>	I,	7
ДУЭЛЬ И. «У меня всё по-старому...».		
<i>Письма брата с войны</i>	V,	6
ЕВСЕЕВ Б. Письма слепым. <i>Рассказ</i>	IV,	54
ЕРМАКОВА А. Пластилин. <i>Роман</i>	I,	31
.....	II,	92
ЖЕЛЕЗЦОВ А. Дорога. <i>Триптих</i>	VI,	103
ЖИТИНКИН А. Житинский. <i>Маленький роман из длиннот</i>	XI,	7
ИЩЕНКО Д. Три рассказа	IV,	128
КАЛАУС Л. Цокольный этаж. <i>Повесть</i>	II,	60
КАЛМЫКОВ Д. Лот. <i>Рассказ</i>	XI,	162
КЛИМОВСКИ К. Отряд по спасению улиток. <i>Рассказ</i>	I,	152
КОВАЛЕВИЧ Г. Рассказы	XII,	150
КОСТЫРКО С. Дом. <i>Повесть</i>	XII,	55
КОТОВА И. Койко-жизнь. <i>Рассказ</i>	III,	162
КУЗНЕЦОВ И. Остров прокажённых. <i>Повесть</i>	V,	55
ЛЕТЦ Ю. Два рассказа	I,	107
МАКСИМОВА С. Колибри-блюз. <i>Венесуэльские хроники</i>	VII,	6
МАРК Г. Ведущий Альбинос. <i>Повесть</i>	X,	3
МЕЛАШВИЛИ Т. Считалка. <i>Повесть. С грузинского. Перевод А. Эбаноидзе</i>	IV,	10
МЕЛИХОВ А. Мой маленький Тадж-Махал. <i>Роман</i>	VI,	7
МУРАТХАНОВ В. Деревья. <i>Рассказ</i>	V,	109
НАГИМ Ф. Мужчины Рождества. <i>Повесть в рассказах</i>	XII,	9
НАУМЕНКО В. Смертельный номер. <i>Рассказ</i>	XI,	140
НАЧКЕБИА Д. Послание. <i>Рассказы. С абхазского. Перевод автора</i>	I,	133
ОДЕГОВ И. Пришельцы. <i>Цикл рассказов</i>	X,	110
ПРЕСТОН А. Пловец в пустыне. <i>Рассказ. С английского.</i>		
<i>Перевод Ю. Серебренниковой</i>	IX,	123
ПЬЕЦУХ В. Рассказы	V,	88
САМОЙЛОВ А. Две маленькие повести	III,	126
СЕНЧИН Р. Перед судами. <i>Из книги «Зона затопления»</i>	IV,	38
СЕРЕБРЯНСКИЙ Ю. Пражаки. <i>Повесть</i>	IX,	81
СКУЛЬСКАЯ Е. Снег пританцовывает на батуте. <i>Рассказы</i>	III,	104
СНЕГИРЁВ А. Строчка в октябре. <i>Рассказ</i>	XI,	46
ТИХОНОВА Л. Рассказы	I,	120
ФАЙЗ А. Дипломат. <i>Рассказ</i>	IV,	110
ХУРГИН А. Везде люди живут. <i>Два рассказа</i>	II,	49

ХУРГИН А. Рассказы разной длины	XI,	36
ЦЫГАЛЬСКАЯ И. Автопортрет. <i>Рассказ</i>	IV,	155
ЧЕМБАРЦЕВА В. Катинка. <i>Рассказ</i>	IV,	145
ШЕВЧЕНКО Г. Рассказы	XI,	132
ШПАКОВ В. Песни китов. <i>Роман</i>	IX,	7
.....	X,	39
.....	XI,	55
ЮРКЕВИЧ Е. Сарафанное радио. <i>Повесть</i>	IX,	129
ЯНЫШЕВ С. Творог и Масло. <i>Рассказ</i>	IV,	102

ПОЭЗИЯ

АСИМ З. Невидимое время. <i>Стихи</i>	V,	114
АУЗИНЬ И. Из ярких утр гербарий. <i>Стихи. С латышского.</i> <i>Перевод И.Цыгальской</i>	I,	27
БЕЛЕЦКИЙ Р. Удача. <i>Стихи</i>	IX,	120
БЕЛЛИ Джузеппе Джоакино. Картинки с натуры. <i>Римские сонеты.</i> <i>С итальянского. Перевод и вступительное слово Е.Солоновича</i>	X,	135
БЕРШИН Е. Там, где я родился. <i>Стихи</i>	V,	3
БУХАРАЕВ Р. Тень Тамерлана. <i>Булгарская поэма.</i> <i>Вступительная заметка и публикация Л.Григорьевой</i>	XI,	3
ВАСИЛЬЕВ С. Не суд людской. <i>Стихи</i>	X,	35
ВЕТЕР С ГУДЗОНА. <i>Антология современной русской поэзии Америки.</i> <i>Вступительная заметка Г.Климовой и А.Грицмана</i>	VI,	86
.....	VII,	89
ВЛАСОВ Г. Барабаны, флейты, гимны. <i>Стихи</i>	IX,	126
ЗАХАРОВА Е. И ты туда же. <i>Стихи</i>	II,	88
ИВАНТЕР А. И недописана страница. <i>Стихи</i>	V,	53
ИРТЕНЬЕВ И. В толпе сограждан. <i>Стихи</i>	II,	3
ИСМАИЛ М. В смене настроений. <i>Стихи. С азербайджанского.</i> <i>Перевод и вступительное слово М.Синельникова</i>	XII,	106
КАБАНОВ А. Из книги «Волхвы в планетарии». <i>Стихи</i>	VII,	3
КАБЫШ И. Пусть меня не ждут. <i>Стихи</i>	I,	3
КЕКОВА С. И истоптаны ягоды в точиле за городом. <i>Стихи</i>	IX,	3
КЛИМОВ-ЮЖИН А. Чем ближе друг к другу. <i>Стихи</i>	XII,	51
КОТОВА И. Всюду время. <i>Стихи</i>	VII,	116
КУЗНЕЦОВА И. ...как будто рене магритт. <i>Стихи</i>	V,	107
ЛОУРЕНС Дэвид Герберт. Баварские горечавки. <i>Стихи.</i> <i>С английского. Перевод А.Пустогарова</i>	XI,	150
МАМЛИНА Н. О сомнительных душах своих. <i>Стихи</i>	XI,	34
МАРУЩАК А. Обереги. <i>Стихи. С украинского. Перевод автора.</i> <i>Вступительная заметка Б.Евсеева</i>	III,	101
МЕЛАМЕД И. Последние стихи	VI,	115
МИДЯНКА П. Где лестница на небеса. <i>Стихи. С украинского.</i> <i>Перевод Н.Бельченко</i>	II,	47
МИЛЛЕР Л. Я из Москвы немногочисленной. <i>Стихи</i>	V,	85
НИКОЛАЕВА О. Средиземноморские песни. <i>Стихи</i>	VII,	3
ПОЛЯКОВА Н. Барабан счастья. <i>Стихи</i>	III,	159
ПОСТНИКОВА О. Крепкий прошив хребта. <i>Стихи</i>	IV,	107
ПОЭТ О ПОЭТЕ		
СОРОКИН А. Фантазер, мудрец, игрок. <i>Воспоминания об А.П.Межирове</i>	V,	158

ПУЧКОВ В. За пределами взгляда. Стихи	X,	106
РУМЯНЦЕВ Д. Без Логоса, без Аттиса, без Лотоса. Стихи	III,	3
РУСАКОВ Г. ...в отечестве грозном моём. Стихи	IV,	5
РУСАКОВ Г. Уже уход листвы совсем не за горами... Стихи.		
Из «Книги дождей»	XII,	3
САЛИМОН В. По дороге в город-сад. Стихи	III,	120
СОЛОНОВИЧ Е. ...летает Франческа. Стихи	I,	149
СУЧКОВА Н. Ход вещей. Стихи	II,	57
Третий открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии — 2014	XI,	125
ФАЛИКОВ И. Слушай классику — лес кипарисовый. Стихи	I,	115
ХЛЕБНИКОВ О. Заминка. Стихи	IV,	36
ШАПОВАЛОВ В. В сиротстве космической ночи. Стихи	IV,	65
ШЕВЧЕНКО Г. Уже случилось. Стихи	IX,	79
«ЭТОТ ОСТРОВ ПОЛОН ЗВУКОВ...». Голоса современной британской поэзии	XII,	130

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Поэзия

ЕВТУШЕНКО Е. Стихи и переводы	IV,	163
НИШНИАНИДЗЕ Ш. Песня об украинском перце и Тарасе Бульбе. С грузинского. Перевод Е.Евтушенко	IV,	165
КУЗНЕЦОВ Ю. Стихи и переводы	X,	144
АТАБАЕВ А. Стихи. С туркменского. Перевод Ю.Кузнецова	X,	148
КУШНЕР А. Стихи и переводы	VI,	161
АУЗИНЬ И. О напряжении. С латышского. Перевод А.Кушнера	VI,	165
ЛЕОНОВИЧ В. Стихи и переводы	II,	162
ТАБИДЗЕ Г.; НИШНИАНИДЗЕ Ш. Стихи. С грузинского. Перевод В.Леонovichа	II,	165
ЛИПКИН С. Стихи и переводы	XII,	171
МУХТАР А. Стихи. С узбекского. Перевод С.Липкина	XII,	176
ШОГЕНЦУКОВ А. Стихи. С кабардинского. Перевод С.Липкина	XII,	176
РЕВИЧ А. Стихи и переводы	XI,	171
БЭЭКМАН В.; ТРААТ М. Стихи. С эстонского. Перевод А.Ревича	XI,	179
САМОЙЛОВ Д. Стихи и переводы	V,	170
БОЦУ П.; ЗАДНИПРУ П. Стихи. С молдавского. Перевод Д.Самойлова	V,	173
СЛУЦКИЙ Б. Стихи и переводы	III,	167
ЭМИН Г. Стихи. С армянского. Перевод Б.Слуцкого	III,	172
ВААРАНДИ Д. Стихи. С эстонского. Перевод Б.Слуцкого	III,	173
СМЕЛЯКОВ Я. Стихи и переводы	VII,	155
ГРУБИЯН М. Море. С еврейского. Перевод Я.Смелякова	VII,	159
ТАРКОВСКИЙ А. Стихи и переводы	IX,	215
ЭМИН Г.; САГИЯН А. Стихи. С армянского. Перевод А.Тарковского	IX,	217
ЧУХОНЦЕВ О. Стихи и переводы	I,	164
СЕВАК П. Стихи. С армянского. Перевод О.Чухонцева	I,	169
ВАЦИЕТИС О. Стихи. С латышского. Перевод О.Чухонцева	I,	172

Критика

АБДУЛЛАЕВ Е. Дети «Детей». (Анатолий Рыбаков. «Дети Арбата»)	VII,	160
БАЛЛА О. Тридцать тысяч чемоданов. (Яан Кросс. «Полёт на месте») ...	II,	169
БЫКОВ Д. Знак беды и знак надежды. (Василь Быков. «Знак беды»)	I,	174
ГАНИЕВА А. Мир абрагов. (Чабуа Амирэджиби. «Дата Туташиа»)	VI,	166
ДАВЫДОВ Д. От мифа к любви. (Нодар Думбадзе. «Белые флаги»)	IV,	168

Дом на берегу Истории. (Юрий Трифонов. «Дом на набережной»)	
Д.БЫКОВ. Время Шулепы	V, 175
А.СНЕГИРЁВ. То самое окно	V, 178
ЕРМОЛИН Е. Ад где-то рядом. (Виталий Сёмин. «Нагрудный знак "OST"»)	XI, 180
ЛЕБЕДУШКИНА О. Небо над Ла-Маншем. (Гайто Газданов. «Полёт»)	XII, 177
ПУСТОВАЯ В. Путеводитель для чайников. (Булат Окуджава. «Путешествие дилетантов»)	X, 149
СЕНЧИН Р. Из тайных книг. (Андрей Платонов. «Чевенгур»)	III, 174
ШАРГУНОВ С. Как философствуют камнем. (Грант Матевосян. «Твой род»)	IX, 219

ПРОЗА.DOC

САВРАСОВА С. С чужого на свой и обратно. Записки переводчицы английской полиции	IX, 171
---	---------

СОБЫТИЯ. СУЖДЕНИЯ. СУДЬБЫ

БОГАЦКИЙ И. Полный камуфлет. Заметки геолога.	
Вступительная заметка Е.Попова	VII, 132
БРАЙСОН Б. Шекспир. Весь мир — театр. Главы из книги.	
С английского. Перевод А.Николаевской	X, 151
ОКЛЯНСКИЙ Ю. Уроки с репетитором, или Министр собственной безопасности. Авантюрная биография кабинетного человека	
.....	VI, 117

ПУБЛИЦИСТИКА

БОЖКОВ Н. Сказы хутора Сторожевое. (Страна Россия)	VI, 191
ЗАПОЛЬСКИХ В. Покатая глина. (Страна Россия)	I, 193
ИВАНИЦКАЯ Е. — МЕЛИХОВ А. Титаны и пузырьки. (Диалоги)	II, 188
КАГРАМАНОВ Ю. На подходе ко Второму Просвещению	I, 176
КАГРАМАНОВ Ю. Призрак Закона	VII, 193
МАХНО В. Зелёные собачьи дни. С украинского. Перевод Н.Бельченко ...	II, 200
МЕДВЕДКО Л. Неведомые перспективы. Неоконченная беседа с академиком Н.Шмелёвым. (Диалоги)	
.....	V, 205
ОГНЕВ И. Русская пустошь. (Страна Россия)	X, 196
Особенности русской судьбы. Обсуждение книги В.Никонова «Российская матрица»	
.....	XII, 187
ПЕРЕСЛЕГИН С. Вступительный сюжет: Серебряный век. (1914)	IX, 235
РУМЕР-ЗАРАЕВ М. Возвращение на землю.	
История о том, как один крестьянин сто горожан прокормил	III, 178
СЕВЕРИКОВА Н. Философ в битве за Москву	VI, 217
СТОЛЯРОВ А. Новая земля и новое небо	IV, 188
СТОЛЯРОВ А. Герой нашего времени	XI, 200

НАЦИЯ И МИР

АЛАВЕРДОВА Л. Ехали-ехали и куда же мы приехали?	
Социалистические Штаты Америки глазами эмигрантки	III, 208

АЛИЕВА А. Очерки былой и теперешней жизни крымской татарки из Узбекистана	VII,	163
АУЗИНЬ И. А как иначе? Из книги «Мир моей жизни». С латышского. Перевод и примечания И.Цыгальской.....	V,	180
ГУСЕЙНОВ Г. Русский язык в современном мире	I,	207
ДЖУМАЕВ А. Из культурной и научной жизни Центральной Азии. Разрозненные мысли и наблюдения	IV,	176
ДУМБАДЗЕ М. Папа, который остался по ту сторону решетки. С грузинского. Перевод В.Маловичко	IV,	171
ЗОРИН А. Табгха — далекая и близкая	VII,	176
МАЛАШЕНКО А. Взлетные огни аэродромов.....	XI,	187
ПАИН Э. Метаморфозы политической напряженности в России. От политических митингов к этническим бунтам	I,	220
ПАПЧЕНКО А. Мои соседи испанцы. (Глазами наших соотечественников)	II,	172
СОБОЛЕВА Я. Погружение в Германию. (Глазами наших соотечественников)	IX,	222
СЫРЫХ Н. Еще раз об Англии	VI,	168

КРИТИКА

АБДУЛЛАЕВ Е. Семиградье. Семь поэтических сборников 2013 года	III,	219
Бомжи на стройке литпамятников. Специфика момента. Заочный «круглый стол»: итоги 2013 года	I,	231
.....	II,	209
ГУСЕЙНОВ Ч. К вопросу о «русскости нерусских»	IV,	204
ЗУБАРЕВА В. Русское безружье. Полемиические заметки. (Нерусские русские)	V,	218
ЛЫШЕГА О. Паунд и Лоуренс. Фрагменты эссе «Флейта земли и флейта неба»	XI,	157
ТРОФИМОВИЧ Н. Не хочу числиться ни героем, ни жертвой. (Литература и жизнь)	VII,	212

ПОГРАНИЧЬЕ ЛИТЕРАТУРЫ

ЧХАИДЗЕ Е. «Русский имперский человек» в «провинции». Дискурс «Россия—Грузия» в книге Андрея Битова «Империя в четырех измерениях»	X,	214
--	----	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

БАЛЛА О. Опровергая иллюзию смерти. (Е.Водолазкин. «Лавр»)	VI,	220
РУДАЛЁВ А. Современный разночинец: от падения в пустоту до обретения знания. (Р.Сенчин. «Чего вы хотите?»)	IV,	225
ЧКОНΙΑ Д. Возвращение к себе. (А.Волос. «Возвращение в Панджруд»)	XII,	224

PRO (& CONTRA) КИНО

Второе небо Алексея Германа. О фильме «Трудно быть богом» БОРИСОВ В. Трудно быть богом на Майдане	XII,	182
БОССАРТ А. Кино в России больше чем кино?	XII,	184

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

АНАСТАСЬЕВ Н. О пользе цитирования. [На кн. А. Туркова «На последних вёрстах. Книги. Судьбы. Споры» (2014)]	XII,	238
АННЕНКОВ А. «Мы не сдали ни земли, ни небес, ни развалин...». [На кн. А. Ревича «А в небе ангелы летят» (2013)]	V,	223
АННИНСКИЙ Л. Свет и семья. [На кн. С. Семененко «Самостояние» (2013)]	XI,	226
БАЛЛА О. Звероуловлен буду. [На кн. А. Варламова «Мысленный волк» (2014)]	XI,	215
БАЛЛА О. Соработник творения. [На кн. А. Парщикова «Дирижабли» (2014)] ...	XII,	234
ВАСИЛЬКОВА И. «Это дело уже кружевное — характер пера...». [На кн. Е. Ключева «Музыка на Титанике» (2014)]	XII,	231
ВИКТОРОВИЧ В. «Да кто его отец?» [На кн. «Хроника рода Достоевских» под редакцией И. Л. Волгина (2012)]	V,	232
ГАБРИЭЛЯН Н. Палиндромы судьбы Глана Онаняна. [На кн. Г. Онаняна «Палиндромы судьбы» (2013)]	III,	244
ГЕРТМАН О. В зоне Божьего слуха. [На кн. М. Эпштейна «Религия после атеизма: Новые возможности теологии» (2013)]	VI,	226
КОТЮСОВ А. Бог, любовь, воздух и одиночество. [На кн. М. Кучерской «Плач по уехавшей учительнице рисования» (2014)]	VI,	232
КРЮКОВА Е. Смерть и воскрешение. [На кн. М. Ануфриевой «Медведь» (2012)]	V,	227
ЛЕБЕДЕВА В. Вавилон должен быть разрушен. [На кн. А. Грицмана «Поэт и город» (2014)]	XI,	224
ЛЕБЕДУШКИНА О. Странствие как анти-travel. [На кн. В. Голованова «К развалинам Чевенгура» (2013); М. Вилька «Путем дикого гуся» (2014); О. Ермакова «Вокруг света» (2014)]	III,	233
МИХАЙЛОВА М. Большая жизнь малого мира. [На кн. Дж. Гуарески «Малый мир. Дон Камилло» (2012)]	VI,	229
МОВЧАН Е. Новая антология и старинные сказки. [На кн. И. Бурсова «Шаги. Антология белорусской поэзии» (2011) и «Купальский клад. Волшебные сказки» (2012)]	V,	229
МОВЧАН Е. Изысканность и простота. [На кн. «А. Баяндур. Статьи, интервью, эссе» (2013)]	XI,	231
САФРОНОВА Е. Одеяло, нож, ласточка. [На кн. В. Муратханова «Узбекские слова» (2013)]	XI,	220
ТУРКОВ А. С расстрелянным сердцем... [На кн. А. Бушковского «Радуйся!» (2013)]	V,	225
ХЛЕБНИКОВ О. «В своей ежедневной стране». [На кн. Л. Газизовой «Люди февраля» (2013)]	III,	237
ШПАКОВ В. Альманах + альманах. [На «Паровозъ: Поэтический альманах-навигатор Союза российских писателей» (2013); «Лёд и пламень: Литературно-художественный альманах Союза российских писателей» (2013)]	III,	239

БРИТАНИЯ И РОССИЯ: ПОСЛЕ ИМПЕРИИ

Моя самая английская книжка	VIII,	3
Проза		
ПИМ Б. Замечательные женщины. <i>Роман. С английского.</i>		
<i>Перевод А. Комаринца</i>	VIII,	17
САФРОНОВА Е. Вдали от дома... <i>Рассказ</i>	VIII,	115
СИМКИН Л. Конец говорильни. <i>Рассказы-анекдоты</i>	VIII,	133
Поэзия		
ГЛУПОСТИХИЯ. <i>Стихи. С английского. Перевод В. Бабенко</i>	VIII,	95
двойной портрет		
ФЕЛЬДМАН Е. На среднерусском фоне. <i>Стихи</i>	VIII,	126
Дэвид Герберт Лоуренс; Роджер Макгаф; Нил Гейман. <i>Стихи.</i>		
<i>С английского. Перевод Е. Фельдмана</i>	VIII,	131
Круглый стол		
Россия XXI: жизнь по законам культуры	VIII,	142
Нация и мир		
АГАЕВ Э., ДЖУВАРЛЫ Т. От Майдана до Майдана. <i>Беседы с другом</i>	VIII,	165
Пересекающиеся параллели		
ЛУРЬЕ С. Судьба двух империй	VIII,	178
Публицистика		
ПЕРЕСЛЕГИН С. Интермедия 1: «Первая кровь». (1914)	VIII,	226
Критика		
БАЛЛА О. Империи: от рождения до смерти	VIII,	238
Эхо		
Кое-что о Лондоне. <i>Из старой тетради</i>	VIII,	254

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

ГАЛЕРЕЯ ТАТЬЯНЫ НАЗАРЕНКО		
КУЗНЕЦОВ П. Юдифь и Олоферн: кроваво-красный цвет	I,	247
НАЗАРЕНКО Т. Способность многогранного самовыражения	II,	245
НАЗАРЕНКО Т. Моя Айда Салахова	III,	248
НАЗАРЕНКО Т. Николай Баградович Никогосян	IV,	231
ЗАЙНУЛЛИНА Г. Да, турки — мы! Да — театралы!	VII,	223
«Моя большая страна». <i>Третий межрегиональный телефестиваль</i>	IX,	248
.....	XII,	243

ЭХО

Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ

Простор и наследие	I,	250
Беды и ответы	II,	251
Расцеп. Раздор. Разбор	III,	250
Полутени полураспада	IV,	233
Политика и этнос в объёмах современной истории	V,	236
Одиннадцать остроумий Черчилля о России	VI,	237
Портрет Дориана Уайльда	VII,	237
Скорлупчатая тьма	IX,	249
Исчерпание бытия?	X,	236
Горячий мир	XI,	235
Баланс беспредела	XII,	247

Summary

Our Golden Pages

This time they are given to the heartfelt lyrics of Semen LIPKIN and brilliant poetical translations performed by him.

Olga LEBEDUSHKINA is rereading Gaito GAZDANOV's novel «The Flight»

Sergej KOSTIRKO «The House»

«My house is my castle,» — the English say so and the whole world repeats it after them. These words are surely close to the protagonist of this long short story — first an ordinary guy, then the leader of the local criminal band, one of the real bosses of the town. His dream is to build such a house — a castle-house, a shelter from the troublesome outer world. And the dream comes true. But why more and more often he sees in his dreams the house burning down and he himself rushing away with relief in his old shabby car?

Poetry

We are glad to present the new poems by the wonderful poet, laureate of «The Poet» national prize Gennadij RUSAKOV, lyrics by Alexander KLIMOV-USZIN and a collection of poems by the famous Azerbaijan poet Mamed ISMAIL.

In conclusion of our cross-cultural year «Great Britain — Russia» we present a collection of modern Britain poetry composed and analyzed by Sasha DEGDALE. You'll hear the voices of poets from Scotland, Northern Ireland, Wales and other regions of Great Britain.

Farid NAGIM. The Men of Christmas

Christmas stories imply wonders. Or at least happy ends. Today's skeptical reader's mind does not much believe in them. Nevertheless wonders take place in it, that is in the skeptical reader's mind, too. At least Farid Nagim hopes so. Publishing his long short story we are inclined to share his hope.

Peculiarities of Russian Fortune

Nickolaj Berdyaev contended that for Russians themselves Russia remains an undiscovered mystery and the soul of Russia can't be covered with any doctrines. But in spite of the common believe that Russia can't be perceived by intellect our best thinkers still try to discover this mystery. One of such attempts — in this «round table» by correspondence: writers and scholars are discussing the book by Vyacheslav NIKONOV «Russian Matrix».

Under the heading «Pro (& contra) Cinema» — two points of view on Alexej GERMAN's film «It's Difficult to Be God». Alexej German himself explained the main conception of his film as follows: «To speak of politics this film is a warning. To everybody. To us as well».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

[дружбанародов.com](http://druzhbanarodov.com)

на его странице в Живом журнале

<http://drujba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzhba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»